МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. В. Вересаев

На японской войне



В. В. Вересаев

На японской войне

Записки



Москва
2022

УДК 94(47).083.4
ББК 63.3(2)531-68
В31

Вересаев, В. В.

В31 На японской войне. Записки / В. В. Вересаев. — Москва : Директ-Медиа, 2022. — 348 с.

ISBN 978-5-4499-2927-3

Очерки о Русско-японской войне 1904–1905 гг. принадлежат перу известного русского прозаика Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945), служившего врачом в полевом госпитале и являвшегося свидетелем и непосредственным участником многих событий. Автор описывает мобилизацию солдат, практически документально рассказывает о военных событиях и подробностях самых масштабных и крупнейших сражений этой войны. Особое внимание уделяется описанию тяжелой армейской жизни, патриотизму и самопожертвованию русских солдат. В записках повествуется и о настроениях в армии во время военных действий, наступившей революции, а также о бездарных и предательских действиях высших военных чинов.

По мнению критиков, очерки В. В. Вересаева относятся к числу самых правдивых и значительных произведений отечественной литературы о Русско-японской войне.

УДК 94(47).083.4
ББК 63.3(2)531-68

ISBN 978-5-4499-2927-3

I. Дома

Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темной ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целой эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящей медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.

Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.

Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своей ненужностью, — что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары, — это

дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: воина была ей не нужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.

Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных опоров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенной яркостью бросалось в глаза, — это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, — бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбой организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.

В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрой сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимн, раздалось «bis» — спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: «Гимн! Гимн!» Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».

В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.

Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, — и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства... Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, — и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.

В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющеюся рожей сек нагайкой маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос», — по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадной рожей, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоко-народном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом...

А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собой горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»... В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку

Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.

Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков», — на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Х. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.

Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.

— Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!

— Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!

Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения, трупы, трупы, трупы, — за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.

В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:

— Теперь еще больше пойдут податей брать!

В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали

прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухой ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, — полиция взломала его стол, достала паспорта призванных и всех их увела.

Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.

Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии, — нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми, на телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал:

— Сказано вам, в понедельник приходи!.. Ступай, расходись!

— Да как же это так в понедельник?.. Забрали нас, гнали, гнали: «Скорей! Чтоб сейчас же явиться!»

— Ну, вот, в понедельник и являйся!

— В понедельник! — Мужики отходили, разводя руками. — Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут — «приходи в понедельник». А нынче суббота.

— Нам к понедельнику и самим было бы способнее... А теперь где ж нам тут до понедельника ждать?

По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женой от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии:

— А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

— Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали.

Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, — японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио.

В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие.

Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, в штаб 72 пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Началась спешка, — шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собой взять, — никто не знал. Сшить полное обмундирование

в пять дней было трудно; пришлось торопить портных, платить втридорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала, и я поспешно, с первым же поездом, выехал в Тамбов.

Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами, я долго ездил по городу, пока в грязных меблированных комнатах на окраине города нашел свободный номер, дорогой и скверный.

Утром я пошел в штаб дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно было, что встречные солдаты и городовые делают тебе под козырек. Ноги путались в болтавшейся на боку шашке.

Длинные, низкие комнаты штаба были уставлены столами, везде сидели и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня направили к помощнику дивизионного врача.

— Как ваша фамилия?

Я сказал.

— Вы у нас в мобилизационном плане не значитесь, — удивленно возразил он.

— Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72 пехотной дивизии. Вот бумага.

Помощник дивизионного врача посмотрел мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом, оба долго копались в списках.

— Нет, нигде решительно вы у нас не значитесь! — объявил он мне.

— Значит, я могу ехать обратно? — с улыбкой спросил я.

— Подождите тут немного, я еще посмотрю.

Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса, — одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сюртуках с блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мне о невообразимой путанице,

которая здесь царствует, — никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься.

— Вста-ать!!! — вдруг повелительно прокатился по комнате звонкий голос.

Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик-генерал в очках и шутливо гаркнул:

— Здравия желаю!

В ответ раздался приветственный гул. Генерал прошел в следующую комнату.

Ко мне подошел помощник дивизионного врача.

— Ну, наконец, нашли! В 38 полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора, присутствие признало его больным. Вы вызваны на его место... Вот как раз ваш главный врач, представьтесь ему.

В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сюртуке, с почерневшими погонами коллежского советника. Я подошел, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать.

— Что делать?.. Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего.

День за днем шел без дела. Наш корпус выступал на Дальний Восток только через два месяца. Мы, врачи, подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах.

Среди призванных из запаса товарищей-врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям, — были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. Нас распределили по госпиталям, по лазаретам, по полкам, руководясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и

за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта.

Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. К каждой дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале — главный врач, один старший ординатор и три младших. Низшие должности были замещены врачами, призванными из запаса, высшие — военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видел редко: он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, д-ром Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка, вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом, отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. Было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь.

Через несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то Д-ру Султанову, а самому немедленно ехать в Харбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное: Мутин уж сформировал здесь свой госпиталь, все устроил, — и вдруг это перемещение. Но, конечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма: в Харбин Мутину не ехать, он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на Дальний Восток; по приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, осунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пустить себе пулю в лоб. Он взял отпуск и поехал в Москву искать правды. У него были кое-какие связи, но добиться ему ничего не удалось: в Москве Мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать.

Мутин воротился к своему разбитому корыту — полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов. Был это стройный господин лет за сорок, с бородкой клинышком и седеющими волосами, с умным, насмешливым лицом. Он умел легко заговаривать и разговаривать, везде сразу становился центром внимания и ленивым, серьезным голосом ронял остроты, от которых все смеялись. Султанов побыл в городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору.

Вскоре стало известно, что из четырех сестер милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Д-р Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов — большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале, в качестве сестер милосердия, едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира.

Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли, вытягивались друг перед другом. Все казалось странным и чуждым.

На моей одежде были серебряные пуговицы, на плечах — мишурные серебряные полоски. На этом основании

всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мной и говорить какие-то особенные, нигде больше не принятые слова: «так точно!», «никак нет!», «рад стараться!» На этом же основании сам я был обязан проявлять глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красной подкладкой и вдоль штанов тянулись красные лампасы.

Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад.

Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был д-р Васильев, тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь, уехавший в Москву д-р Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно-вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почета, которыми вдруг оказался окруженным.

Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач (пользующийся правами командира части) входил в канцелярию, офицер-смотритель обыкновенно командовал сидящим писарям: «Встать!» Когда вошел Васильев, смотритель этого не сделал.

Васильев нахмурился, отозвал смотрителя в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарям встать. Смотритель пожал плечами.

— Это — только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, волен нет!

— Извините-с! Раз я исправляю должность главного врача, вы это по закону обязаны делать!

— Я такого закона не знаю!

— Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток под арест.

Офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему, как было дело. Пригласили д-ра Васильева. Генерал, начальник его штаба и два штаб-офицера разобрали дело и порешили: смотритель был обязан крикнуть: «встать!» От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй.

Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал д-ру Васильеву:

— Вы видите, я генерал. Я служу уж почти сорок лет, поседел на службе, — и до сих пор ни разу еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу, временно, на несколько дней получили власть, — и уж поспешили использовать эту власть в полнейшем ее объеме.

В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат. Рассказывали, что военный министр Сахаров сильно враждует с Куропаткиным и нарочно, чтобы вредить ему, посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий.

Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом; он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок, — жалкий какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на заседание комиссии, которая осматривала солдат, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самых ранних призывов; перед глазами бесконечной вереницей проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных вен. Председатель комиссии, бравый кавалерийский полковник, морщился и жаловался, что очень много «протестованных». Меня, напротив, удивляло, скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не «протестуют». По окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии:

— Мы тут без вас признали одного негодным к службе. Посмотрите, — можно его освободить? Сильнейшее varicocele.

Ввели солдата.

— Спусти штаны! — резко, каким-то особенным, подозревающим голосом сказал дивизионный врач. — Эге! Это-то? Пу-устяки! Нет, нет, освободить нельзя!

— Ваше высокородие, я совсем ходить не могу, — угрюмо заявил солдат.

Старичок вдруг вскипел.

— Врешь! Притворяешься! Великолепно можешь ходить!.. У меня, брат, у самого еще больше, а вот хожу!.. Да это пустяки, помилуйте! — обратился он к врачу. — Это у большинства так... Мерзавец какой! Сукин сын!

Солдат одевался, с ненавистью глядя исподлобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги.

— Иди как следует! — заорал старик, бешено затопав ногами. — Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!

Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел.

В полках старшие врачи, военные, твердили младшим, призванным из запаса:

— Вы незнакомы с условиями военной службы. Относитесь к солдатам построже, имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты.

Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобой на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было, врач раскричался на солдата и прогнал его. Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются, один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Врач спросил, что с ним.

— Ноги болят. Только болезнь нутряная, снаружи не видно, — сдержанно и угрюмо ответил солдат.

Врач исследовал, — оказалось полное отсутствие коленных рефлексов. Разумеется, освободили и этого солдата.

Вот они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врач «не был знаком с условиями военной службы».

Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы, слабосильные команды, через один-два месяца — сами никуда

уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казне, — эвакуировались обратно в Россию.

Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: «Пускай под суд отдают, — все равно помирать!» Вечером за лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных.

С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поручиков. Газеты писали, что победы японцев в горах неудивительны, — они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется четырнадцатилетними мальчиками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали: «Лук согнулся, тетива напряглась до крайности, — и скоро смертоносная стрела со страшной силой полетит в самое сердце врага».

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только, как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира.

В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в

булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки.

Однажды зашел я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. Начальник дивизии напутствовал уходящих речью; он говорил, что прежде всего нужно почитать бога, что мы с богом начали войну, с богом ее и кончим. Раздался звонок, пошло прощание. В воздухе стояли плач и вой женщин. Пьяные солдаты размещались в вагонах, публика совала отъезжающим деньги, мыло, папиросы.

Около вагона младший унтер-офицер прощался с женой и плакал, как маленький мальчик; усатое загорелое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались от плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков, баба качалась от рыданий, и ребенок на ее руке качался, как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы от несшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. И глаза жадно останавливались на набитых в вагоны людях: сколько из них воротится? сколько ляжет трупами на далеких залитых кровью полях?

— Ну, садись, полезай в вагон! — торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе с качающимся на руке ребенком.

— Разве солдат может плакать? — строго и упрекающе говорил фельдфебель.

— Ма-атушка ты моя ро-одненькая!.. — тоскливо выли бабьи голоса.

— Отходи, отходи! — повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять приливала назад, и жандармы опять теснили ее.

— Чего стараетесь, продажные души? Аль не жалко вам? — с негодованием говорили из толпы.

— Не жалко? Нешто не жалко? — поучающе возражал жандарм. — А только так-то вот люди и режутся, и режут. И под колеса бросаются. Нужно смотреть.

Поезд двинулся. Вой баб стал громче. Жандармы оттесняли толпу. Из нее выскочил солдат, быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки. Вдруг, как из земли, перед солдатом вырос комендант. Он вырвал у солдата бутылку и ударил ее о плиты. Бутылка разлетелась вдребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губу.

— Не имеешь права бутылку разбивать! — крикнул он на офицера.

— Что-о?

Комендант размахнулся и изо всей силы ударил солдата по лицу. Неизвестно откуда, вдруг появилась стража с ружьями и окружила солдата.

Вагоны двигались все скорее, пьяные солдаты и публика кричали «ура!». Безобразная жена унтер-офицера покачнулась и, роняя ребенка, без чувств повалилась наземь. Соседка подхватила ребенка.

Поезд исчезал вдали. По перрону к арестованному солдату шел начальник дивизии.

— Ты что это, голубчик, с офицерами вздумал ругаться, а? — сказал он.

Солдат стоял бледный, сдерживая бушевавшую в нем ярость.

— Ваше превосходительство! Лучше бы он у меня столько крови пролил, сколько водки... Ведь нам в водке только и жизнь, ваше превосходительство!

Публика теснилась вокруг.

— Его самого офицер по лицу ударил. Позвольте, генерал, узнать, — есть такой закон?

Начальник дивизии как будто не слышал. Он сквозь очки взглянул на солдата и раздельно произнес:

— Под суд, в разряд штрафованных — и порка!.. Увести его.

Генерал пошел прочь, повторив еще раз медленно и раздельно:

— Под суд, в разряд штрафованных — и порка!

II. В пути

Отходил наш эшелон.

Поезд стоял далеко от платформы, на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный вой женщин прорезывались бойкие переборы гармоники, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиной к его подножью, сидел мужик с провалившимся носом, в рваном зипуне, и жевал хлеб.

Наш смотритель, — поручик, призванный из запаса, — в новом кителе и блестящих погонах, слегка взволнованный, расхаживал вдоль поезда.

— По ваго-онам! — раздался его надменно-повелительный голос.

Толпа спешно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающийся, пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке, приник к ним долго, крепко; больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы; наконец, оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся, широкобородым мужиком. В воздухе, как завывание вьюги, тоскливо переливался вой женщин, он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался.

— Бабы! Прочь от вагонов! — грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда.

Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русой бородкой.

— Баб наших, ваше благородие, вы гнать не смеете! — резко сказал он. — Вам над нами власть дадена, на нас и кричите. А баб наших не трогайте.

— Верно! Над бабами вам власти нету! — зароптали другие голоса.

Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит, и более мягким голосом сказал:

— Запирай двери, поезд сейчас пойдет!

Раздался кондукторский свисток, поезд дрогнул и начал двигаться.

— Ура! — загремело в вагонах и в толпе.

Среди рыдающих, бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами, мелькнуло безносое лицо мужика в рваном зипуне; из красных глаз мимо дыры носа текли слезы, и губы дергались.

— Ур-ра-а!!! — гремело в воздухе под учащавшийся грохот колес. В переднем вагоне хор солдат нестройно запел «Отче наш». Вдоль пути, отставая от поезда, быстро шел широкобородый мужик с блаженным красным лицом; он размахивал руками и, широко открывая темный рот, кричал «ура».

Навстречу кучками шли из мастерских железнодорожные рабочие в синих блузах.

— Вертайтесь, братцы, здоровы! — крикнул один. Другой взбросил фуражку высоко в воздух.

— Ура! — раздалось в ответ из вагонов.

Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высоко поставленного, маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал «ура», его профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди и здания остались позади, он махал фуражкой телеграфным столбам и продолжал кричать «ура».

В наше купе вошел смотритель. Он был смущен и взволнован.

— Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры: говорят, вчера солдаты убили в дороге полковника Лукашева. Они пьяные стали стрелять из вагонов в проходившее стадо, он начал их останавливать, они его застрелили.

— Я это иначе слышал, — возразил я. — Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами, они еще тут говорили, что убьют его в дороге.

— Да-а... — Смотритель помолчал, широко открытыми глазами глядя перед собою. — Однако нужно быть с ними поосторожнее...

В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали «ура», а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.

Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. Как будто службу какую-то исполнял. Солдаты толпились вокруг.

Длинный и вихрастый, в ситцевой рубашке, заправленной в брюки, Сучков станет, хлопнет в ладоши и, присев, пойдет под гармонику. Движения медленные и раздражающе-вялые, тело мягко извивается, как будто оно без костей, ноги, болтаясь, вылетают вперед. Потом он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге, тело все так же извивается, и странно, — как он, насквозь пьяный, удерживается на одной ноге? А Сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами, — и опять вылетают вперед болтающиеся ноги, и надоедливо-вяло извивается словно бескостное тело.

Кругом посмеиваются.

— Ты бы, дядя, повеселее!

— Слышь, земляк! Ступай за ворота! Наплачься раньше, а потом пляши!

— Есть одна колено, его только и показывает! — махнув рукою, говорит ротный фельдшер и отходит прочь.

Как будто и самого Сучкова начинает выводить из себя вялость его движений, бессильных разразиться лихой пляской. Он вдруг остановится, топнет ногой и яростно заколотит себя кулаками в грудь.

— Ну-ка, еще по грудям стукни, что у тебя там звенело? — смеется фельдфебель.

— Буде плясать, оставь на завтра, — сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны.

Но иногда, — нечаянно, сама собою, — вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска. Помост трещал под каблуками, сильные тела изгибались, приседали, подпрыгивали, как мячики, и в выжженную солнцем степь неслись безумно-веселые уханья и присвисты.

На Самаро-Златоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса; он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом. Поднялась суета, бледный смотритель взволнованно выстраивал перед вагонами команду, «кто в чем есть», — так приказал корпусный. Самых пьяных убрали н дальние вагоны.

Генерал перешел через рельсы на четвертый путь, где стоял наш эшелон, и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад.

Увы! На перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал Сучков! Он плясал и вызывал плясать с собой кокетливую, полногрудую горничную.

— Ты что ж, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?

Горничная, посмеиваясь, ушла в толпу, Сучков бросился за нею.

— Ну, чертовка, ты у меня смотри! Я тебя заметил!..

Смотритель обомлел.

— Убрать его, — грозно прошипел он другим солдатам.

Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался. Корпусный и начальник штаба молча смотрели со стороны.

Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушел в свой вагон.

Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеком по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю.

— Его высокопревосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов, все представлялись в полном порядке! Только у вас вся команда пьяна.

— Г. полковник, ничего нельзя с ними поделать.

— Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания.

— Не помогает. Читают и все-таки пьют.

— Ну, а тогда... — Полковник выразительно махнул по воздуху стеком. — Попробуйте... Это великолепно помогает.

Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста о полной отмене телесных наказаний.

Мы «перевалили через Урал». Кругом пошли степи. Эшелоны медленно ползли один за другим, стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего полтораста — двести верст.

Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение, — но люди знали, что едут умирать, чем же их было устрашить? Смерть — так ведь и без того смерть; другое

наказание, — какое-нибудь, все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены.

Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и... курит папироску.

— Это что такое? Ты — унтер-офицер! — не знаешь, что в строю нельзя курить?..

— Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мне не курить? — спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироской. И ясно, он именно добивается, чтоб его отдали под суд.

У нас в вагоне шла своя однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо «младших» врачей, ехали в двух соседних купе: старший ординатор Гречихин, младшие ординаторы Селюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли в шахматы.

Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках; рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Интеллигентного в нем было мало, шутки его были циничны, мнения пошлы и банальны.

За Давыдовым по пятам всюду следовал смотритель, офицер-поручик, взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Рассказывали, что, благодаря большой протекции, ему удалось избежать строя и попасть в смотрители госпиталя. Был это полный, красивый Мужчина лет под тридцать, — туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. Отношения с главным врачом у него были великолепные. На будущее он смотрел мрачно и грустно.

— Я знаю, с войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода там плохая, непременно заражусь тифом или дизентерией. А то под хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю.

Ехали с нами еще аптекарь, священник, два зауряд-чиновника и четыре сестры милосердия. Сестры были простые, малоинтеллигентные девушки. Они говорили «колидор», «милостивый государь», обиженно дулись на наши невинные шутки и сконфуженно смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотрителя.

На больших остановках нас нагонял эшелон, в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии. Из вагона своей красивою, лениво-развалистой походкой выходил стройный д-р Султанов, ведя под руку изящно одетую, высокую барышню. Это, как рассказывали, — его племянница. И другие сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них увивались штабные офицеры.

До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды, рано утром, во время стоянки, наш главный врач съездил в город, купил сена, овса. Фураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелоном и эшелоном Султанова. Из окна выглянул только что проснувшийся Султанов. По платформе суетливо шел Давыдов. Султанов торжествующе указал ему на фураж.

— А у меня вот уж есть овес! — сказал он.

— Та-ак! — иронически отозвался Давыдов.

— Видите? И сено.

— И сено? Великолепно!.. Только я все это прикажу сейчас грузить в мои вагоны.

— Как это так?

— Так. Потому что это я купил.

— А-а... А я думал, мой смотритель. — Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице: — Ну, что ж, пойдем на вокзал кофе пить!

Сотни верст за сотнями. Местность ровная, как стол, мелкие перелески, кустарник. Пашен почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копны и небольшие стожки. Но больше лугов нескошенных; рыжая, высохшая на корню трава клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник, он рассказывал: рабочих рук нет, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну; луга гибнут, пашни не обработаны.

Однажды под вечер, где-то под Каинском, наш поезд вдруг стал давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись с встречным поездом. Подобные тревоги случались то и дело: дорожные служащие были переутомлены сверх всякой меры, уходить им не позволялось под страхом военного суда, вагоны были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались вагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки.

Мы вышли наружу. Впереди перед нашим поездом виднелся другой поезд. Паровозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась кочковатая, заросшая осокой поляна; вдали, меж кустов, темнели копны сена.

Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу, — от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена.

— Эй! Бросьте сено! — крикнул я.

Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания.

— Нет уж! Добежали, — теперь сено наше!

Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель.

— Сейчас же бросить сено, слышите?! — грозно заорал я.

Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон.

— Черт знает, что такое! Здесь уж, у своих, начинается мародерство! И как бесцеремонно, — у всех на глазах!

— Да ведь тут сену цена грош, оно все равно сгниет в копнах, — неохотно возразил главный врач.

Я удивился:

— То есть, как это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник: сено, напротив, очень дорого, косить его некому; интендантство платит по сорок копеек за пуд. А главное, ведь это же мародерство, этого в принципе нельзя допускать.

— Ну, да! Ну, да, конечно! Кто ж об этом спорит? — поспешно согласился главный врач.

Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший каш разговор, со сдержанной усмешкой заметил мне:

— Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше, — за сено не платить.

Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад: главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене; он воротился в вагон довольный и сияющий.

— Купил сейчас овес по сорок пять копеек! — с торжеством сообщил он.

Меня удивило, — неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей? Теперь его восторг становился мне более понятным.

На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это им. Попадается собака, — они подхватываю! ее и водворяют на вагоне-платформе между фурами; через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ: в сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка; вокруг нее подозрительно толкутся наши солдаты, поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет, солдаты ныряют под вагоны, в одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое.

— Живого человека стащат и спрячут! — весело говорит мне сидящий на откосе солдат.

Как-то вечером, на станции Хилок, я вышел из поезда, спрашиваю мальчика, нельзя ли где купить здесь хлеба.

— Там на горе еврей торгует, да он заперся.

— Отчего?

— Боится.

— Чего же боится?

Мальчик промолчал. Мимо шел солдат с чайником кипятку.

— Если днем тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим! — на ходу объяснил он мне.

На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп из кур, взявшихся неизвестно откуда, то палили свинью, будто бы задавленную нашим поездом.

Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. Худой, высокий и испитой хохол Кучеренко, остряк нашей команды, дурачился на полянке у поезда. Он напялил на себя какую-то рогожу, шатался,

изображая пьяного. Солдат, смеясь, столкнул его в канаву. Кучеренко повозился там и полез назад; за собой он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки.

— Каспада, сичас путит мусика!.. Пашалста, нэ мэшайт! — объявил он, изображая из себя иностранца.

Вокруг толпились солдаты и обитатели станционного поселка. Кучеренко, с рогожей на плечах, возился над своим цилиндром, как медведь над чурбаном. С величественно-серьезным видом он задвигал около цилиндра рукою, как будто вертел воображаемую ручку шарманки, а хрипло запел:

Зачем ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о!
Того, кто... уээ! Трр... Трр... завлекся... Трррр...

Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали: станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику.

— Каспада, пошалуйтэ пэдному тальянскому мусиканту за труды.

Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. Кучеренко в недоумении покрутил над камнем головой и швырнул его в спину убегавшему Сметанникову.

— По вагонам! — раздалась команда. Поезд свистнул, солдаты стремглав бросились к вагонам.

На следующей остановке они варили на костре суп: в котле густо плавали куры и утки. Подошли две наших сестры.

— Не желаете ли, сестрицы, курятинки? — предложили солдаты.

— Откуда она у вас?

Солдаты лукаво посмеивались.

— Музыканту нашему за труды подали!

Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо.

— Ничего нехорошего! Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, три дня уж горячей пищи не дают, на станциях ничего не купишь, хлеб невыпеченный. С голоду, что ли, издыхать?

— Мы что! — заметил другой. — А вон кирсановцы, так те целых две коровы стащили!

— Ну, вот представь себе: у тебя, скажем, дома одна корова; и вдруг свои же, православные, возьмут ее и сведут! Разве бы не обидно было тебе? То же вот и здесь: может быть, последнюю корову свели у мужика, он теперь убивается с горя, плачет.

— Э!.. — Солдат махнул рукой. — А у нас нетто мало плачут? Везде плачут.

Когда мы были под Красноярском, стали приходить вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец — обычное сообщение об отступлении «в полном порядке». Жадно все хватались за газеты, вчитывались в телеграммы, — дело было ясно: мы разбиты и в этом бою, неприступный Ляоян взят, «смертоносная стрела» с «туго натянутой тетивы» бессильно упала на землю, и мы опять бежим.

Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное.

Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, десяток раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов, зал был полон офицерами. Против

нас сидел высокий, с впалыми щеками штабс-капитан, рядом с ним молчаливый подполковник.

Штабс-капитан громко, на всю залу, говорил:

— Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнью своей никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются. И все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И интендантство думает об этом же.

Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то препирался с буфетчиком необъятно-толстый, пьяный капитан.

— А у нас что? — продолжал штабс-капитан. — Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат, — в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!

— И забраковать нельзя, — поддержал его наш главный врач. — Товар не перегорелый, не гнилой.

— Да. А в первый же дождь подошва под ногой разъезжается... Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, — может такой солдат победить или нет?

Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш смотритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко от этих громких, небоящихся

речей и стал возражать: вся суть в том, как сшит сапог, а товар интендантства прекрасный, он сам его видел и может засвидетельствовать.

— И как хотите, господа, — своим полным, Самоуверенным голосом заявил смотритель. — Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух, — и во всяких сапогах разобьешь врага.

— Босой, с ногами в язвах, не разобьешь, — возразил штабс-капитан.

— А дух хорош? — с любопытством спросил подполковник.

— Мы сами виноваты, что нехорош! — горячо заговорил смотритель. — Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему идея нужна! Идея, — скажите, пожалуйста! И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях, его дело без разговора идти и умирать.

Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших.

— Нет, господа, вы мне вот что скажите, — вдруг вмешался он. — Ну, как, — как я буду брать сопку?!

Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот.

Позади остались степи, местность становилась гористою. Вместо маленьких, корявых березок кругом высились могучие, сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала средь темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые, в сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги.

Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов

людей и лошадей; платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными.

До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чая и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце вповалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон; он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в тысячу двести человек; в нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний; были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди.

Уже в пути мы приметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их «малиновой командой». Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи. Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, — не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска; «кипяток бесплатно».

— Давай кипятку!

— Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали.

Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.

Иногда дождутся, чаще нет и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам. Пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно: песни

все были арестантские, однообразно-тягучие, тупо-равнодушные, и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них.

Напрасно, напрасно в тюрьме я сижу,
Напрасно на волю святую гляжу.
Погиб я, мальчишка, погиб навсегда!
Годы за годами проходят лета...

В третьем часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток, ледокол «Байкал» подошел к берегу. По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарно «малиновая команда». Обвешанные мешками, с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с угрюмыми, сосредоточенными лицами; слышался незнакомый, гортанный говор.

Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули вправо, потом влево — и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода; было непонятно, где же она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдали мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно-вздрагивающих лошадей, внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в пароход вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты.

Они шли бесконечной вереницею, в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, держа в руках винтовки прикладами к земле. В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку на возвышении стоял какой-то инженер и, выходя из себя, кричал:

— Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ах, с-сукины дети! Иди вперед, чего стоишь?!

И солдаты, с понуренными головами, напирали. И следом шли, шли все новые, — однообразные, серые, угрюмые, как будто стадо овец.

Все было погружено, прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез, — и сразу стало понятно, где кончались помосты, и начиналось тело парохода. Плавко подрагивая, мы понеслись в темноту.

В пароходном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением; и каюты были уютные, теплые. Пришел поручик в фуражке с белым околышем, ведший «малиновую команду». Познакомились. Он оказался очень милым господином.

Мы вместе поужинали. Легли спать, кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шанцер.

— Викентий Викентьевич, вставайте! Не пожалеете! Давно вас хотел разбудить. Теперь, все равно, через двадцать минут приходил.

Я вскочил, умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат; он спал, привалившись головой к мешку, скорчившись под шинелью, с посиневшим от стужи лицом.

Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые, серые волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась выпуклою. По ту сторону озера нежно голубели далекие горы. На пристани, к которой мы подплывали, еще горели огни, а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы эти казались густо закопченными, и боры на них — шершавою, взлохмаченной сажей, какая бывает в долго не чищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и боры.

Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у пароходной трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде, по всей палубе, лежали, скорчившись под шинелями, солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно, ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, жались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться.

Ледокол медленно подплыл к пристани, вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, где кончается пароход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами.

Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками.

— Ах, подлецы! Чего они толкутся?.. Да идите вы, сукины дети (так-то вас и так-то)! Чет стали?.. Эй, ты! Куда ящик с патронами несешь? Сюда с патронами!

Медленной бесконечной вереницей мимо двигались солдаты. Прошел, внимательно глядя вперед, пожилой татарин с слегка отвисшей губой и опущенными вниз углами губ; прошел скуластый, бородатый пермяк с изрытым оспой лицом. Все выглядели совсем как мужики, и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же ушедшая в себя, как будто застывшая под холодным ветром, дума. Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рвавшийся с озера ледяной ветер.

Совсем рассвело. Над тусклым озером бежали тяжелые, свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу, с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муку лицами.

Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смирный провизор, а совсем как лихой казак.

— Вы откуда, ребята? — спросил он солдат, сидевших кучкой у фундамента станции.

— Казанские... Есть Уфимские, Самарские... — неохотно ответил маленький, белобрысый солдат. На его груди, из-под повязанного через плечо полотнища палатки, торчал огромный ситный хлеб.

— Из Тимохинской волости есть, Казанской губернии?

Солдат просиял.

— Да мы тимохинские!

— Да ну?

— Ей-богу!.. Вот тоже он тимохинский!

— Каменку знаете?

— Н-нет... Никак нет! — понравился солдат.

— А Левашово?

— А как же! Мы туда на базар ездим! — с радостным удивлением отозвался солдат.

И с любовным, связывающим друг друга чувством они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кроваво-смертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена, как знакомые.

В зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался, — не имеет права взять дров. Его корили и ругали.

— Ну, и Сибирь ваша проклятая! — в негодовании говорили солдаты. — Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел!

— Какая это моя Сибирь, я сам из России, — огрызался заруганный сторож.

— Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено. Возьмем, да и затопим!

Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию: солдатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами.

Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно: и вагоны полагается топить только с 1-го октября.

— Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? — в негодовании спросил главный врач.

— Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить.

— Виноват, вы, кажется, обмолвились! Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?

— Что ж, пошлите на высочайшее имя! — любезно усмехнулся комендант и повернул спину.

Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен, все жались друг к другу в своих холодных шинелях, с мрачными, посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров; на запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек; но их теперь по закону тоже не полагалось давать.

До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь, по Забайкальской дороге, мы почти все время стояли. Стояли по пяти, по шести часов на каждом разъезде; проедем десять верст, — и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что, когда вагон начинал колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущение чего-то необычного; спохватишься, — уж опять стоим. Впереди, около станции Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась загражденною.

Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать, — ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение трех-четырех суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по девять, по десять копеек.

Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по местечку и Христа-ради просили жителей продать им хлеба.

На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон с строевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри, говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный.

— Как тебя звать? — угрожающе спросил подполковник.

— Лебедев.

— Второй роты?

— Так точно!

— Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдеж! Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы, что не доели, за окошко кидали... Где ж я вам возьму?

— Это мы понимаем, что тут хлеба нельзя достать, — возразил солдат. — А мы вчера ваше высокоблагородие просили, можно было на два дня взять... Ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим.

— Молчать! — гаркнул подполковник. — Еще слово скажешь, велю тебя арестовать!.. По вагонам! Марш!

И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны.

— Издыхай, значит, с голоду! — весело сказал один.

Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат, — бледные, озлобленно-задумчивые.

Чаще стали встречные санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжелораненые, — с восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось веяние того ужасного и грозного, что творилось там.

Спросил я одного раненого офицера, — правда ли, что японцы добивают наших раненых? Офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами.

— А наши не добивают? Сколько угодно! Особенно казаки. Попадись им японец, — по волоску всю голову выщиплют.

На приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанной ногою, с Георгием на халате. У него было широкое добродушное мужицкое лицо. Он участвовал в знаменитой стычке у Юдзятуня, под Вафангоу, когда

две сотни сибирских казаков обрушились лавой на японский эскадрон и весь его перекололи пиками.

— Кони у них добрые, — рассказывал казак. — А вооружение плохое, никуда негоже, одни шашки да револьверы. Как налетели мы с пиками, — они все равно, что безоружные, ничего с нами не могли поделать.

— Ты скольких заколол?

— Троих.

Он, с его славным, добродушным лицом, — он был участником этой чудовищной битвы кентавров!.. Я спросил:

— Ну, а как, когда колол, — ничего в душе не чувствовал?

— Первого неловко как-то было. Боязно было в живого человека колоть. А как проколол его, он свалился, — распалилась душа, еще бы рад десяток заколоть.

— А небось жалеешь, что ранен? Рад бы еще с япошкой подраться, а? — спросил наш письмоводитель, зауряд-чиновник.

— Нет, теперь о том думать, как ребятишек прокормить...

И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснели и налились слезами.

На одной из следующих станций, когда отходил шедший перед нами эшелон, солдаты, на команду «по вагонам!», остались стоять.

— По вагонам, слышите?! — грозно крикнул дежурный по эшелону.

Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад.

— Не поедем дальше. Будет!

Явился начальник эшелона, комендант. Сначала они стали кричать, потом начали расспрашивать, в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Солдаты никаких претензий не предъявили, а твердили одно:

— Не желаем дальше ехать! — Их увещевали, говорили о послушании, о начальстве.

Солдаты отвечали: — С начальством нашим, дай срок, мы еще разделаемся!

Восьмерых арестовали. Остальные сели в вагоны и поехали дальше.

Поезд шел мимо диких, угрюмых гор, пробираясь вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось, кашляни, — и все это рухнет на поезд. Лунной ночью мы проехали за станцией Карымской мимо обвала. Поезд шел по наскоро сделанному новому пути. Он шел тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задеть за нависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда. Ветхие вагоны поскрипывали, паровоз пыхтел редко, как будто задерживая дыхание. По правую сторону из холодной, быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучи щебня.

Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрел я на этот наскоро, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно-убогой, как будто дикарями проложенной дороги.

Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе. В голове стояли рассказы встречных раненых, оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся там. Было темно, по небу шли высокие тучи, порывами дул сильный, сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром, их стволы поскрипывали. Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме.

Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженые головы солдат. В вагонах пели. С разных сторон

неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое.

Вы спите, милые герои,
Друзья, под бурею ревущей,
Вас завтра глас разбудит мой,
На славу и на смерть зовущий…

Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки «Ермака» слабели, их покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская песня из другого вагона.

Взгляну, взгляну в эту миску,
Две капустинки плывут,
А за ними поочередно
Плывет стадо черваков...

Из оставшегося позади вагона протяжно и грустно донеслось:

За Русь святую погибая...
А тягучая арестантская песенка рубила свое:
Брошу ложку, сам заплачу.
Стану хлеба хоть глодать.
Арестант ведь не собака.
Он такой же человек.

Через два вагона вперед вдруг как будто кто-то крякнул от сильного удара в спину, и с удалым вскриком во тьму рванулись буйно-веселящие «Сени». Звуки крутились, свивались с уханьями и присвистами; в могучих мужских голосах, как быстрая змейка, бился частый, дробный, серебристо-стеклянный звон, — кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня бешено-веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру.

Шел я назад, — и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки «Ермака». Пришел встречный товарный поезд, остановился. Эшелон с певцами двинулся. Гулко отдаваясь в промежутке между поездами, песня звучала могуче и сильно, как гимн.

Сибирь царю покорена,
И мы недаром в свете жили...

Поезда остались позади, — и вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне, песня зазвучала тускло и развеялась в холодной, ветряной тьме.

Утром просыпаюсь, — слышу за окном вагона детски-радостный голос солдата:

— Тепло!

Небо ясно, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь, под теплым ветерком колышется сухая, порыжелая трава. Вдали отлогие холмы, по степи маячат одинокие всадники-буряты, виднеются стада овец и двугорбых верблюдов. Денщик смотрителя, башкир Мохамедка, жадно смотрит в окно с улыбкой, расплывшеюся по плоскому лицу с приплюснутым носом.

— Мохамед, чего это ты?

— Вэрблуд! — радостно и конфузливо отвечает он, охваченный родными воспоминаниями.

И тепло, тепло. Не верится, что все эти дни было так тяжело, и холодно, и мрачно. Везде слышны веселые голоса. Везде звучат песни...

Все обвалы мы миновали, но ехали так же медленно, с такими же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть в Харбине, но все еще ехали по Забайкалью.

Китайская граница была уже недалеко. И в памяти оживало то, что мы читали в газетах о хунхузах, об их звериноходной жестокости, о невероятных муках, которым они

подвергают захваченных русских. Вообще, с самого моего призыва, наиболее страшное, что мне представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о них по душе проходил холодный ужас.

На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Невдалеке виднелось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими, коричневыми лицами. По земле ползали голые, бронзовые ребята, женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач сторговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же ее зарезать.

Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас.

— Чего они ждут? Скажи, чтобы поскорее резали, а то наш поезд уйдет! — обратился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по-бурятски.

— Они, ваше благородие, конфузятся. По-русски, говорят, не умеем резать, а по-бурятски конфузятся.

— Не все ли нам равно! Пусть режут, как хотят, только поскорее.

Буряты встрепенулись. Они прижали к земле ноги и голову овцы, молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась, ее ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки бурята ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукой под ребрами, пузыри внутренностей хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задергалась сильнее и хрипло заблеяла. Старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукой узкую, мягкую морду овцы. Молодой

бурят сдавил сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца в последний раз дернулась, ее ворочавшиеся светлые глаза остановились. Буряты поспешно стали снимать шкуру.

Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастны и равнодушны, женщины смотрели и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль: вот совсем так хунхузы будут вспарывать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий. Я, улыбаясь, сказал это товарищам. Все нервно повели плечами, у всех как будто тоже уж мелькнула эта мысль.

Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. В свирепом сладострастии баши-бузука, упивающемся муками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие, полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки, — смотрящие и не видящие... Брр!..

Наконец мы прибыли на станцию Маньчжурия. Здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы «перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи Китайской».

Тянулись все те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжей травою. Но на каждой станции высилась серая кирпичная башня с бойницами, рядом с ней длинный сигнальный шест, обвитый соломою; на пригорке — сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые.

В Маньчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по этому маршруту; поезд стоял на станциях

положенное число минут и шел дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды.

Ехали мы теперь вместе с султановским госпиталем.

Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, другой — хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно-циничной откровенностью. Сообщил он своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно, по предложению нашего корпусного командира; служба была удобная; он числился младшим врачом полка, — но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки; исполнить поручение можно было в неделю, командировка же давалась на шесть недель; он получит протоны, суточные, и живет себе на месте, не ходя на службу; а потом в неделю исполнит поручение. Воротится, несколько дней походит на службу, — и новая командировка. А другие врачи полка, значит, все время работали за него!

Султанов больше сидел в своем купе с племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженным обожанием и уходом, весь госпиталь в ее глазах как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспело кофе и чтоб ему были к бульону пирожки. Когда Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьезным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все вокруг смеялись от его острот и рассказов.

Две другие сестры султановского, госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет тридцати, приятельница султановской племянницы. Красиво-тягучим голосом она говорила

о Баттистини, Собинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне. Была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к Другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями; в ней чувствовался бесенок. Солдаты ее очень любили, она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими. Наши сестры совсем стушевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них с скрытой враждой.

На станциях появились китайцы. В синих куртках и штанах, они сидели на корточках перед корзинами и продавали семечки, орехи, китайские печения и лепешки.

— Э, нада, капитан? Сьемячка нада?

— Липьёска, пьят копэк десьятка! Шибко саладка! — свирепо вопил бронзовый, голый по пояс китаец, выкатывая разбойничьи глаза.

Перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата, потом прикладывали руку к виску, подражая нашему отданию «чести», кланялись и ждали подачки. Кучка китайцев, оскалив сверкающие зубы, неподвижно и пристально смотрела на румяную Веру Николаевну.

— Шанго (хорошо)? — с гордостью спрашивали мы, указывая на сестру.

— Эге! Шибко шанго!.. Карсиво! — поспешно отвечали китайцы, кивая головами.

Подходила Зинаида Аркадьевна. Своим кокетливым, красиво-тягучим голосом она, смеясь, начинала объяснять китайцу, что хотела бы выйти замуж за их дзянь-дзюня. Китаец вслушивался, долго не мог понять, только вежливо кивал головой и улыбался. Наконец понял.

— Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хочу мадама дзянь-дзюнь?! Не-е, это дело не брыкается!

На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону с строевыми солдатами ленивой походкой подошел офицер и крикнул:

— Эй, вы, черти! Пошлите ко мне взводного.

— Не черти, а люди! — сурово раздался из глубины вагона спокойный голос.

Стало тихо. Офицер остолбенел.

— Кто это сказал? — грозно крикнул он.

Из сумрака вагона выдвинулся молодой солдат. Приложив руку к околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, он ответил медленно и спокойно:

— Виноват, ваше благородие! Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие!

Офицер слегка покраснел; для поддержания престижа выругался и ушел, притворяясь, что не сконфужен.

Однажды вечером в наш поезд вошел подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями, за маленьким столиком, играли в винт. Кругом стояли и смотрели.

Подполковник подсел и тоже стал смотреть.

— Скажите, пожалуйста, — в Харбин мы приедем вовремя, по маршруту? — спросил его д-р Шанцер.

Подполковник удивленно поднял брови.

— Вовремя?.. Нет! Дня на три, по крайней мере, запоздаете.

— Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно.

— Ну, вот скоро сами увидите! Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами наместника Алексеева,

да еще один — поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, наместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит... Что там только делается! Лучше уж не говорить.

Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу.

— Что же делается?

Подполковник помолчал и глубоко вздохнул.

— Видел на днях сам, собственными глазами: в маленьком, тесном зальце, как сельди в бочке, толкутся офицеры, врачи; истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный моцион! Изволите видеть, наместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале!

Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба.

— Есть у меня приятель, корнет приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках, приезжает в Ляоян, обращается в интендантство за ячменем для лошадей. «Без требовательной ведомости мы не можем выдать!» А требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка! Он говорит: «Помилуйте, да я уж почти два месяца и полка своего не видел, у меня ни гроша нет, чтоб заплатить вам!» Так и не дали. А через неделю очищают Ляоян, и этот же корнет с своими драгунами жжет громадные запасы ячменя!.. Или под Дашичао: солдаты три дня голодали, от интендантства на все

запросы был один ответ: «Нет ничего!» А при отступлении раскрывают магазины и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем! Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный. Ходят голодные, оборванные... Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал!.. Японцы прямо кричат: «Эй, вы, босяки! Удирайте!..» Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда, — чтоб восстал Китай.

— Китай? Что же это поможет?

— Как что? Идея будет!.. Господа, ведь идеи у нас никакой нет в этой войне, вот в чем главный ужас! За что мы деремся, за что льем кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тем более солдат. Как же при этом можно переносить все то, что солдат переносит?.. А восстанет Китай, — тогда все сразу станет понятно. Объявите, что армия обращается в казачество маньчжурской области, что каждый получит здесь надел, — и солдаты обратятся в львов. Идея появится!.. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут... А мы — мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего!.. Влезли в чужую страну, неизвестно для чего, да еще миндальничаем. Раз уж начали подлость, то нужно делать ее вовсю, тогда в подлости будет хоть поэзия. Вот, как англичане: возьмутся за что, — все под ними запищит.

В узком купе одиноко горела свечка на карточном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника, с торчащими кверху кончиками, сердито топорщились и шевелились. Наш смотритель опять коробился от этих громких небоящихся речей и опасливо косился по сторонам.

— Кто побеждает в бою? — продолжал подполковник. — Господа, ведь это азбука: побеждают сплоченные между собой люди, зажженные идеей. Идеи у нас нет и

не может быть. А правительство со своей стороны сделало все, чтоб уничтожить и сплоченность. Как у нас составлены полки? Выхвачено из разных полков по пяти-шести офицеров, по сотне-другой солдат, и готово, — получилась «боевая единица». Мы, видите ли, хотели перед Европой яичницу сварить в цилиндре: вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия... А как у нас раздаются здесь ордена! Все направлено к тому, чтоб убить всякое уважение к подвигу, чтоб вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры, они прошли страду целого ряда боев. Среди них ходит ординарец наместника (их у него девяносто восемь человек!) и раздает белье. А в петлице у него — Владимир с мечами. Его спрашивают: «Вы за что это Владимира получили, за раздачу белья?»

Когда подполковник ушел, все долго молчали.

— Во всяком случае, характерно! — заметил Шанцер.

— И врал же он, боже ты мой! — с ленивой усмешкой сказал Султанов. — Всего вероятнее, наместник обошел его самого каким-нибудь орденом.

— Что много врал, это несомненно, — согласился Шанцер. — Хотя бы даже уж в этом: если в Харбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно?

Назавтра проснулись мы, — наш поезд стоит. Давно стоит? Уж часа четыре. Стало смешно: неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника?

Оно сбылось. Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах не поенные... Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара.

Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как пограничник: поезда наместника загораживают в Харбине пути, наместник запретил свистеть по ночам паровозам, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о наместнике Алексееве тоже со злобой и насмешкою.

— Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда наготове, чтоб в случае чего первым удрать.

Дни тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъезде верст за шестьдесят от Харбина. Но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц, воздух сухо серебрился. Над Харбином громоздились темные тучи, поблескивали зарницы.

И тишина, тишина кругом... В поезде спят. Кажется, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке, и все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать: как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно!

Ночью я несколько раз просыпался. Изредка слышалось сквозь сон напряженное колыхание вагона, и опять все затихало. Как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперед и не мог.

Назавтра в полдень мы были еще за сорок верст от Харбина.

Наконец приехали е Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простоим.

— Не больше двух часов! Вы без пересадки едете прямо в Мукден.

А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню... Через два часа нам сказали, что мы поедем около двенадцати часов ночи, потом, — что не раньше шести часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил,

что все пути сильно загромождены эшелонами, и мы выедем не раньше, как послезавтра.

И почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгой, несомневающейся в себе сказкой о том, что все идет, как нужно.

Просторный новый вокзал бледно-зеленого цвета, в стиле модерн, был, действительно, занят наместником и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню, — обратиться за справками было не к кому. При любом научном съезде, где собираются всего одна-две тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков.

Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этой же властью. Если не ошибаюсь, даже «офицерские этапы», лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4–5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер; по рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало

много врачей, вызванных из запаса «в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии, — и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях, между койками больных.

В Харбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия. О Куропаткине отзывались хорошо. Он импонировал. Говорили только, что он связан по рукам и по ногам, что у него нет свободы действий. Было непонятно, как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом. О наместнике все отзывались с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нем. Среди неслыханно-тяжкой страды русской армии он заботился лишь об одном, — о собственных удобствах. К Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду, во всем ставил ему препятствия, во всем действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах. Куропаткин ввел для лета рубашки и кители цвета хаки, — наместник преследовал их и требовал, чтоб в Харбине офицеры ходили в белых кителях.

Особенно же все возмущались Штакельбергом. Рассказывали о его знаменитой корове и спарже, о том, как в бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным поездам; две роты солдат заняты были в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом, — в поезде находилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.

— В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди? — спрашивал я офицеров.

— Какие... Вот, Мищенко разве... Да нет, что он! Кавалерист по недоразумению... А, вот, вот: Стессель! Говорят, львом держится в Артуре.

Шли слухи, что готовится новый бой. В Харбине стоял тяжелый, чадный разгул; шампанское лилось реками, кокотки делали великолепные дела. Процент выбывавших в бою офицеров был так велик, что каждый ждал почти верной смерти. И в дико-пиршественном размахе они прощались с жизнью.

Через двое суток мы двинулись дальше на юг.

Кругом тянулись тщательно обработанные поля с каоляном и чумизой. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрестках дорог серели кумирни-часовенки, издали похожие на ульи.

Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Все как будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловещее, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, поэтому менее ужасным, несущим строгое, торжественное настроение.

III. В Мукдене

Приехали. Конец пути!.. По маршруту мы должны были прибыть в десять утра, но приехали во втором часу дня. Поезд наш поставили на запасный путь, станционное начальство стало торопить с разгрузкой.

Застоявшиеся, исхудалые лошади выходили из вагонов, боязливо ступая на шаткие сходни. Команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгружались часа три. Мы тем временем пообедали на станции, в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно-густые тучи мух шумели в воздухе, мухи сыпались в щи, попадали в рот. На них с веселым щебетаньем охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала.

За оградой перрона наши солдаты складывали на землю мешки с овсом; главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошел офицер, ординарец штаба нашей дивизии.

— Здравствуйте, доктор!.. Приехали?

— Приехали. Где нам прикажете стать?

— А вот я вас поведу. Для этого и выехал.

Часам к пяти все было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, тяжело громыхала артиллерия. Вдали синел город, кругом на биваках курились дымки.

Мы проехали версты три.

Навстречу, в сопровождении вестового, скакал смотритель султановского госпиталя.

— Господа, назад!

— Как назад? Что за пустяки! Нам ординарец из штаба сказал, — сюда.

Подъехали наш смотритель и ординарец.

— В чем дело?.. Сюда, сюда, господа, — успокоительно произнес ординарец.

— Мне в штабе старший адъютант сказал, — назад, к вокзалу, — возразил смотритель султановского госпиталя.

— Что за черт! Не может быть!

Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперед, в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего вечера, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный, холодный ветер.

Смотритель воротился один.

— Да, говорит: назад, в Мукден, — сообщил он. — Там полевой медицинский инспектор укажет, где стать.

— Может быть, опять придется возвращаться. Подождем тут, — решил главный врач. — А вы съездите к медицинскому инспектору, спросите, — обратился он к помощнику смотрителя.

Тот помчался в город.

— Начинается бестолочь... Что? Я вам не говорил? — зловеще произнес товарищ Селюков, и он как будто даже был рад, что его предсказание сбывается.

Длинный, тощий и близорукий, он сидел на вислоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе повода обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья.

— Тпру-у-у! — угрожающе протянул он, тараща чрез очки близорукие глаза. Но лошадь все-таки подошла к повозке, отдернула поводья и стала есть.

Шанцер, вечно веселый и оживленный, рассмеялся.

— Смотрю я на вас, Алексей Иванович... Что вы будете делать, когда нам придется удирать от японцев? — спросил он Селюкова.

— Черт ее, не слушается почему-то лошадь, — в недоумении сказал Селюков. Потом его губы, обнажая десны,

изогнулись в сконфуженную улыбку. — Что буду делать! Как увижу, что близко японцы, — слезу с лошади и побегу, больше ничего.

Солнце садилось, мы всё стояли. Вдали, на железнодорожной ветке, темнел роскошный поезд Куропаткина, по платформе у вагонов расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и иззябшие, сидели у дороги и, у кого был, жевали хлеб.

Наконец, помощник смотрителя приехал.

— Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает.

— А черти бы их всех взяли! — сердито выругался главный врач. — Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам, всю ночь здесь в поле мерзнуть?

Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Прищурив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду.

— Здорово, детки! — весело крикнул он.

— Здра... жла... ваш... сди...ство!!! — гаркнула команда.

Коляска, мягко качаясь на рессорах, покатила дальше. Селюков вздохнул.

— «Детки»... Лучше бы позаботился, чтобы деткам не мотаться без толку целый день.

Вдоль прямой дороги, шедшей от вокзала к городу, тянулись серые каменные здания казенного вида. Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптанных бороздах валялись сухие стебли каоляна, под развесистыми ветлами чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал разузнавать сам, куда нам двигаться или что делать.

Темнело, было холодно и неприютно. Солдаты разбивали палатки. Селюков, иззябший, с красным носом и щеками, неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели.

— Эх, хорошо бы теперь в Москве быть, — вздохнул он. — Напиться бы чайку, поехать на «Евгения Онегина».

Главный врач воротился.

— Завтра мы развертываемся, — объявил он. — Вот за дорогой два каменных барака. Сейчас там стоят госпитали 56 дивизии, завтра они снимаются, а мы становимся на их место.

И он пошел к обозу.

— Что нам здесь делать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся с врачами, — предложил Шанцер.

Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флигельке сидело за чаем человек восемь врачей. Познакомились. Сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их.

У них вытянулись лица.

— Вот так-так!.. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго.

— А вы давно здесь?

— Как давно! Всего четыре дня назад приняли бараки.

Высокий и плотный врач, в кожаной куртке с погонами, разочарованно свистнул.

— Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же? — спросил он. — Вы понимаете, при нас это будет уж пятая смена за месяц!

— Вы, товарищ, разве не этого госпиталя?

Он поднял ладонь и пожал плечами.

— Какое там! Это бы счастье было! Мы, — я и вот трое товарищей, — мы занимаем идеальнейше собачью должность. «Командированные в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Вот нами и распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведовал палатой в девяносто коек. Вдруг, с месяц назад, получаю

от полевого медицинского инспектора Горбацевича предписание, — немедленно ехать в Янтай. Говорит мне: «Возьмите с собой всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять дней». Поехал, приезжаю в Мукден, — оказывается, Янтай уже отдан японцам. Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трех товарищей, — и делаем мы ввосьмером работу, для которой довольно трех-четырех врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся; так что, можно сказать, прикомандированы к этому зданию, — засмеялся он.

— Но что же вы, заявляли о вашем положении?

— Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбацевичу. «Вы здесь нужны, подождите!» А у меня одна смена белья; вот кожаная куртка, и даже шинели нет: месяц назад какие жары стояли! А теперь по ночам мороз! Просился у Горбацевича хоть съездить в Харбин за своими вещами, напоминал ему, что из-за него же сижу здесь раздетый. «Нет, нет, нельзя! Вы здесь нужны!» Заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке!

Ночь мы промерзли в палатках. Дул сильный ветер, из-под полотнищ несло холодом и пылью. Утром напились чаю и пошли к баракам.

Возле бараков уж расхаживали, в сопровождении главных врачей, два генерала; один, военный, был начальник санитарной части Ф. Ф. Трепов, другой генерал, врач, — полевой военно-медицинский инспектор Горбацевич.

— Чтоб сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите? — властно и настойчиво сказал военный генерал.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

Я вошел в барак. В нем все стояло вверх дном. Госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам, от бивака подъезжал наш обоз.

— А вы теперь куда? — спросил я врачей, которых мы сменяли.

— Где-то за городом, в трех верстах, приказано стать в фанзах.

Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена! Смена всего, кроме стен, коек и... больных! С больных снимали белье, из-под них вытаскивали матрацы; сняли со стен рукомойники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника смотрителя купить чумизной соломы, а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился, — этот обед мы купили у уходящего госпиталя.

Вошел один из врачей, «прикомандированных к зданию», и озабоченно сказал:

— Господа, вы торопите с обедом, к часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале.

— Скажите, в чем тут вообще будет заключаться наше дело?

— Видите, с позиций и из окрестных частей сюда направляют больных и раненых, вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с такими билетиками. Тут имя, звание больного, диагноз... Да, господа, самое важное! — спохватился он, и его глаза юмористически засмеялись. — Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз «легкомысленно». По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных будете ставить диагнозы «дизентерия» и «брюшной тиф». Имейте в виду, что «санитарное состояние армии

великолепно», что дизентерии у нас совсем нет, а есть «энтероколит», брюшной тиф возможен, как исключение, а вообще все — «инфлуэнца».

— Хорошая эта болезнь — инфлуэнца, — весело засмеялся Шанцер. — Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел!

— Спасительная болезнь... Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов; ну, потом мы им обленили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что брюшной тиф мы распознать умеем, а только...

Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина первого.

— Что же вы, господа, не собираете больных для эвакуации? К часу они обязательно должны быть на вокзале.

— Запоздали с обедом. Когда поезд уходит?

— Уходит-то он в шесть вечера, а только Трепов сердится, если опоздают хоть на четверть часа... Скорей, скорей, ребята, кончай обед! Кто пешком на вокзал назначен, собирайся к выходу!

Больные жадно доедали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных.

Наконец, эвакуируемая партия была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрацы. В двери постоянно ходили, окна плохо закрывались; по огромной палате носился холодный сквозняк. На койках без матрацев лежали худые, изможденные солдаты и кутались в шинели.

Из угла с злобною, сосредоточенной ненавистью на меня смотрели из-под шинели черные, блестящие глаза.

Я подошел. На койке у стены лежал солдат с черной бородой и глубоко ввалившимися щеками.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил я.

— Час целый прошу воды попить! — ожесточенно ответил он.

Я сказал проходившей сестре милосердия. Она развела руками.

— Он уже давно просит. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать, — кругом дизентерия, а кипяченой нету. В кухне были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю, он их вынул и увез. А у нас еще не купили.

В приемную прибывали все новые партии больных. Солдаты были изможденные, оборванные, во вшах; некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчея, некогда и негде было присесть.

Пообедал я на вокзале. Воротился, прохожу через приемную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая — в шерстяном чулке, напитанном черной кровью; разрезанный сапог лежит рядом.

— Ваше благородие, явите милость, перевяжите!.. Полчаса здесь лежу.

— А что с тобой?

— Ногу переехало зарядным ящиком, как раз на камне.

Вошел наш старший ординатор Гречихин с сестрой милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленною, добродушной улыбкой, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача.

— Вот, придется пока хоть так перевязать, — вполголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами. — Обмыть нечем: аптекарь не может приготовить раствора сулемы, — воды нет кипяченой... Черт знает, что такое!..

Я вышел. Навстречу мне шли два прикомандированных врача.

— Сегодня вы дежурите? — спросил меня один.

— Я.

Он, подняв брови, с улыбкой оглядел меня и покачал головою.

— Ну, смотрите! Налетите на Трепова, может выйти неприятность. Как же это вы без шашки?

Что такое? Без шашки? Ребяческим шутовством пахнуло от вопроса о какой-то шашке среди всей этой бестолочи и неурядицы.

— А как же! Вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке.

— Ну, нет, он теперь этого уж не требует, — примирительно заметил другой. — Понял, что врачу шашка мешает при перевязках.

— Не знаю... Меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки.

А кругом шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладных суден для слабых больных.

— Так скажите же смотрителю.

— Говорили несколько раз. Но ведь вы знаете, какой он. «Спросите у аптекаря, а если у него нет, — у каптенармуса». Аптекарь говорит, — у него нет, каптенармус — тоже.

Отыскал я смотрителя. Он стоял у входа в барак с главным врачом. Главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным, довольным лицом говорил смотрителю:

— Сейчас узнал, — справочная цена на овес — 1 р. 85 к.

Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы все давно уже знали его историю с овсом. По дороге, в Сибири, он купил около тысячи пудов овса по сорок пять копеек, привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким образом он сразу наживал больше тысячи рублей.

Я сказал смотрителю о мыле и об остальном.

— Я не знаю, спросите у аптекаря, — ответил он равнодушно и даже как будто удивляясь.

— У аптекаря нету, это должно быть у вас.

— Нет, у меня нету.

— Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался, — аптекарь прекрасно знает все, что у него есть, а вы о своем ничего не знаете.

Смотритель вспыхнул и заволновался.

— Может быть!.. Но, господа, я не могу. Откровенно сознаюсь, — не могу и не знаю!

— Как же это узнать?

— Нужно пересмотреть все укладочные книжки, найти, в какой повозке что лежит... Идите, посмотрите, если угодно!

Я взглянул на главного врача. Он притворялся, что не слышит нашего разговора.

— Григорий Яковлевич! Скажите, пожалуйста, чье это дело? — обратился я к нему.

Главный врач забегал глазами.

— В чем дело?.. Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь.

Вечерело. Сестры, в белых фартуках с красными крестами, раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки — совсем не те скучные, неинтересные сестры, какими они были в дороге.

— Викентий Викентьевич, вы одного сейчас черкеса приняли? — спросила меня сестра.

— Одного.

— А с ним лег его товарищ и не уходит.

На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, черными, горящими глазами смотрел на меня.

— Ты болен? — спросил я его.

— Нэ болэн! — вызывающе ответил он, сверкнув белками.

— Тогда тебе нельзя тут лежать, уходи.

— Нэ пайду!

Я пожал плечами.

— Чего это он? Ну, пускай пока полежит... Ложись на эту конку, пока она не занята, а тут ты мешаешь своему товарищу.

Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до последней крошки съел хлеб. Потом вдруг встал и низко поклонился сестре.

— Спасыбо тэбе, сестрыца! Два дня ничево нэ ел!

Накинул на плечи свой алый башлык и ушел.

Кончился день. В огромном темном бараке тускло светилось несколько фонарей, от плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечки; одни офицеры лежа читали, другие разговаривали и играли в карты.

В боковой комнате наши пили чай. Я сказал главному врачу, что необходимо исправить в бараке незакрывающиеся окна. Он засмеялся.

— А вы думаете, это так легко сделать? Эх, не военный вы человек! У нас нет сумм на ремонт помещений, нам полагаются шатры. Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет, госпиталь только что сформирован. Надо подавать рапорт по начальству о разрешении ассигновки...

И он стал рассказывать о волоките, с какой связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе «начетов», сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить...

В одиннадцатом часу ночи в барак зашел командир нашего корпуса. Весь вечер он просидел в султановском госпитале, который развернулся в соседнем бараке. Видимо, корпусный счел нужным для приличия заглянуть кстати и в наш барак.

Генерал прошелся по бараку, останавливался перед неспящими больными и равнодушно спрашивал: «Чем болен?» Главный врач и смотритель почтительно следовали за ним. Уходя, генерал сказал:

— Очень холодно в бараке и сквозняк.

— Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство! — ответил главный врач.

— Велите исправить.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

Когда генерал ушел, главный врач рассмеялся.

— А если начет сделают, он, что ли, будет за меня платить?

Следующие дни была все та же неурядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрацы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за пятьдесят от барака стояло четыре отхожих места, они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наше. (До Лаоянского боя оно служило, кажется, казармой для пограничников) Внутри отхожих мест была грязь, стульчаки сплошь были загажены кровавой слизью дизентериков, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил: они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить.

Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали на санитарные поезда. Много являлось офицеров; жалобы большинства их были странны и неопределенны, объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, и никто бы не подумал, что это больные.

И все настойчиво просили эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И еще более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях.

А рядом — совсем противоположное. Пришел один сотник уссуриец, молодой, загорелый красавец с черными усиками. У него была сильная дизентерия, нужно было его эвакуировать.

— Ни за что!.. Нет, доктор, вы уж, пожалуйста, как-нибудь подправьте меня здесь.

— Здесь неудобно, — ни диэты нельзя провести подходящей, и помещение неважное.

— Ну, уж я как-нибудь. А то скоро бой, товарищи идут в дело, а я вдруг уеду... Нет, лучше я уж здесь.

Был вечер. В барак быстро вошел сухощавый генерал с рыжей бородкой. Дежурил доктор Селюков. Пуча близорукие глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами.

— Сколько у вас больных? — сухо и резко спросил его генерал.

— Сейчас около девяноста.

— Скажите, вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеете быть в ней?

— Не знал... Я из запаса.

— Ах, вы из запаса! Вот я засажу вас на неделю под арест, тогда не будете из запаса! Вы знаете, кто я?

— Нет.

— Я инспектор госпиталей. Где ваш главный врач?

— Он уехал в город.

— Ну, так старший ординатор, что ли... Кто тут его заменяет?

Сестры побежали за Гречихиным и шепнули ему, чтоб он снял фуражку. К генералу подлетел один из прикомандированных и, вытянувшись в струнку, отрапортовал:

— Ваше превосходительство! В 38 полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров, 84 нижних чина!..

Генерал удовлетворенно кивнул головой и обратился к подходящему Гречихину:

— Что у вас тут за безобразие! Больные лежат в шапках, сами врачи в шапках разгуливают... Не видите, что тут иконы?

Гречихин огляделся и кротко возразил:

— Икон нет.

— Как нет? — возмутился генерал. — Почему нет? Что это за беспорядок!.. И вы тоже, подполковник! — обратился он к одному из больных офицеров. — Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами тоже лежите в фуражке!.. Почему ружья и мешки солдат при них? — снова накинулся он на Гречихина.

— Нет цейхгауза.

— Это беспорядок!.. Вещи везде навалены, винтовки, — не госпиталь, а толкучка какая-то!

Генерал шел дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково-распекающие речи сыпались непрерывно.

При выходе он встретился с входившим к нам корпусным командиром.

— Завтра я беру у вас оба мои госпиталя, — сообщил корпусный, здороваясь с ним.

— Как же, ваше высокопревосходительство, мы здесь останемся без них? — совсем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор: он был только генерал-майор, а корпусный — полный генерал.

— Я уж не знаю. Но полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции.

После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра.

Генералы ушли. Мы стояли возмущенные: как все было бестолково и нелепо, как все направлялось не туда, куда нужно! В важном, серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела, и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки... Прикомандированные, глядя на нас, посмеивались.

— Странные вы люди! Ведь на то и начальство, чтоб кричать. Что же ему без этого делать, в чем другом проявлять свою деятельность?

— В чем? Чтоб больные не мерзли под сквозняками, чтобы не было того, что позавчера творилось здесь целый день.

— Вы слышали? Завтра будет то же самое! — вздохнул прикомандированный.

Пришли два врача из султановского госпиталя. Один был сконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распек всех, и там пригрозил дежурному врачу арестом. Дежурный стал ему рапортовать: «Имею честь сообщить вашему превосходительству...» — Что?! Какое вы мне имеете право сообщать? Вы мне должны рапортовать, а не «сообщать»! Я вас на неделю под арест!

Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интендантстве, а раньше был... иркутским полицмейстером! В той мрачной, трагической юмористике, которой насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить

о нем, теперь же отмечу только: главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору, — человеку, совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному; инспектором госпиталей был бывший полицмейстер, — и что удивительного, если врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше «инспектировал» улицы и трактиры города Иркутска?

Назавтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос:

— Послушайте, вы! Передайте вашему смотрителю, чтобы перед госпиталем были вывешены флаги. Сегодня приезжает наместник.

Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна: к соседнему бараку взволнованно шел медицинский инспектор Горбацевич. Селюков стоял у крыльца и растерянно оглядывался.

— Это он к вам так обращался? — удивился я.

— Ко мне... Черт ее, так был поражен, даже не нашелся, что ответить.

Селюков хмуро пошел к приемной.

Вокруг барака закипела работа. Солдаты мели улицу перед зданием, посыпали ее песком, у подъезда водружали шест с флагами красного креста и национальным. Смотритель находился здесь, он был теперь деятелен, энергичен и отлично знал, где что достать.

В комнату вошел Селюков и сел на свою кровать.

— Ну, и начальства же тут, — как нерезаных собак! Чуть выйдешь, сейчас налетишь на кого-нибудь... И не различишь их. Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферт стоит в красных лампасах, я было хотел к нему с рапортом, смотрю, он передо мной вытягивается, честь отдает... Казак, что ли, какой-то...

Он тяжко вздохнул.

— Нет, я лучше уж согласен мерзнуть в палатках. А тут, видно, начальства больше, чем нас.

Вошел Шанцер, немножко сконфуженный, задумчивый. Он был сегодня дежурным.

— Не знаю, как поступить... Я велел убрать с коек два матраца, совсем загажены, на них лежали дизентерики. Пришел главный врач: «Оставить, не сменять! Других матрацев нет». Я ему говорю: все равно, пусть новый больной уж лучше ляжет на доски; придет, может быть, просто истомленный голодом и усталостью, а у нас заразится дизентерией. Главный врач отвернулся от меня, обращается к палатным служителям: «Не сметь матрацев сменять, поняли?» — и ушел... Боится, — придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрацев.

А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мерзко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле. Вдали серел наш барак, — чистенький, принарядившийся, с развевающимися флагами; а внутри — дрожащие под сквозняком больные, загаженные, пропитанные заразой матрацы... Скверная, нарумяненная мещанка в нарядном платье и в грязном, вонючем белье.

Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина, как царь, больше, чем как царь; все движение на железной дороге было для него остановлено; стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снарядами, спешившие на юг к предстоявшему бою. Больные прибывали к нам без конца; заняты были все койки, все носилки, не хватало и носилок; больных стали класть на пол.

Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые, которых мы принимали. В бурках и алых башлыках, они сидели и лежали с смотрящими

исподлобья, горящими черными глазами. И среди на поднявших приемную больных солдат, — серых, скучных и унылых, — ярким, тянущим к себе пятном выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеянных воздухом боя и опасности.

Привезли и их офицера, сотника, раненного в руку. Оживленный, с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли семнадцать людей и тридцать лошадей. «Но мы им за это тоже лихо отплатили!» — прибавил он с гордой усмешкой.

Все толпились вокруг и расспрашивали, — врачи, сестры, больные офицеры. Расспрашивали любовно, с жадным интересом, и опять все кругом, все эти больные, казались такими тусклыми рядом с ним, окруженным ореолом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавец уссуриец, так упорно не хотевший уезжать с дизентерией.

Пришел от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. Офицер согласился, и его унесли от нас в Красный Крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме больных.

Больные... В армии больные — это парии. Так же они несли тяжелую службу, так же пострадали, — может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненый. Но все относятся к ним пренебрежительно и даже как будто свысока: они такие неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его: когда в госпитале больные, оно почти совсем не заглядывает. Санитарные поезда, принадлежащие не военному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных; нередко бывали случаи, стоит такой поезд неделю,

другую и все ждет раненых; раненых нет, и он стоит, занимая путь; а принять больных, хотя бы даже и незаразных, упорно отказывается.

Рядом с нами, в соседнем бараке, работал султановский госпиталь. Старшей сестрой Султанов назначил свою племянницу, Новицкую. Врачам он сказал:

— Вы, господа, Аглаю Алексеевну не назначайте на дежурство. Пусть дежурят три младшие сестры.

Работы сестрам было очень много; с утра до вечера они возились с больными. Новицкая лишь изредка появлялась в бараке: изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату.

Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело. Щеголяя красным крестом и белизной своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашел я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени, и красиво-усталым голосом говорила:

— Измаялась я!.. Весь-то день на ногах!.. А температура у меня повышенная, сейчас мерила — тридцать восемь. Боюсь, не тиф ли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить, такой строгий! Придется за меня подежурить бедненькой Настасье Петровне.

Настасья Петровна была четвертая сестра их госпиталя, смирная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкой на ужин к корпусному командиру.

Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом. Вся работа по госпиталю легла на нее и смирную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему

в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурой в 40. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. Старший ординатор был тот самый д-р Васильев, который еще в России чуть не засадил под арест офицера-смотрите-ля и который на днях так «строго» запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался, как на горничную, и сказал ей, что, если она хочет бить баклуши, то незачем было сюда ехать.

В нашем госпитале к четырем штатным сестрам прибавилось еще две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш эшелон в Харбине, все время плакала, была полна горем и думала о своем муже. Другая работала в одном из тыловых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем, для этого она отказалась от жалованья, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего.

Была она широкоплечая девушка лет двадцати пяти, стриженая, с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног.

Из штаба нашего корпуса пришел приказ: обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Сахотаза, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными, на кого их бросить? На смену нам должны были прийти госпитали другой дивизии нашего корпуса, но поезд наместника остановил на железной дороге все движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить!

Опять все в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, собирались выламывать в кухне котлы.

— Позвольте, как же это? — удивился Гречихин. — Мы не можем бросить больных на произвол судьбы.

— Я должен исполнить приказание своего непосредственного начальства, — возразил главный врач, глядя в сторону.

— Обязательно! Какой тут даже может быть разговор! — пылко вмешался смотритель. — Мы приданы к дивизии, все учреждения дивизии уже ушли. Как мы смеем не исполнить приказания корпусного командира? Он наш главный начальник.

— А больных так прямо и бросить?

— Мы за это не отвечаем. Это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить.

— Ну, как бы там ни было, а мы больных здесь не бросим, — заявили мы.

Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей; к тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока нас кто-нибудь не сменит.

Возникал вопрос: для чего опять пойдет вся эта ломка, выламливание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных? Раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а прибывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг? Но все понимали, что этого сделать невозможно: в соседнем госпитале был доктор Султанов, была сестра Новицкая; с ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться; пусть уж лучше больная «святая скотинка» поваляется сутки на голых досках, не пивши, без врачебной помощи.

Но вот чего совершенно было невозможно понять: уже в течение месяца Мукден был центром всей нашей армии; госпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном изобилии; и тем не менее санитарное начальство никак не умело или не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя; оно довольствовалось тем, что хватало за полы проезжие госпитали и водворяло их в свои бараки впредь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели все это нельзя было устроить иначе?

Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали, мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина; в ней открылась щелочка; мы заглянули в нее и увидели: колесики, валики, шестерни, все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это — случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна?

На юге тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинался бой на Шахе.

IV. Бой на Шахе

Из Мукдена мы выступили рано утром походным порядком. Вечером шел дождь, дороги блестели легкою, скользкой грязью, солнце светило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на юге глухо и непрерывно перекатывался гром пушек.

Мы ехали верхом, команда шла пешком. Скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженая сверхштатная сестра ехала не с сестрами, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках и высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительное впечатление, — в мужском костюме выглядела прелестным мальчиком; теперь были хороши и ее широкие плечи, и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали ее «сестра-мальчик».

Главный врач спросил встречного казака, как проехать в деревню Сахотаза, тот показал. Мы добрались до реки Хуньхе, перешли через мост, пошли влево. Было странно: по плану наша деревня лежала на юго-запад от Мукдена, а мы шли на юго-восток. Сказали мы это главному врачу, стали убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, самоуверенный и скупой, Давыдов ответил, что доведет нас сам лучше всякого китайца. Прошли мы три версты по берегу реки на восток; наконец Давыдов и сам сообразил, что идет не туда, и по другому мосту перешел через реку обратно.

Всем уж стало ясно, что заехали мы черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы два часа назад перешли на ту сторону.

— Теперь как, ваше благородие, опять на этот мост своротим? — иронически спрашивали нас солдаты.

Главный врач подумал над планом и решительно повел нас на запад.

То и дело происходили остановки. Несъезженные лошади рвались в стороны, опрокидывали повозки; в одной фуре переломилось дышло, в другой сломался валек. Останавливались, чинили.

А на юге непрерывно все грохотали пушки, как будто вдали вяло и лениво перекатывался глухой гром; странно было думать, что там теперь ад и смерть. На душе щемило, было одиноко и стыдно; там кипит бой; валятся раненые, там такая в нас нужда, а мы вяло и без толку кружимся здесь по полям.

Посмотрел я на свой браслет-компас, — мы шли на северо-запад. Все знали, что идут не туда, куда нужно, я все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать, что видит свою неправоту.

К вечеру вдали показались очертания китайского города, изогнутые крыши башен и кумирен. Влево виднелся ряд казенных зданий, белели дымки поездов. Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех: это был Мукден!.. После целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баракам.

Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне.

Солдаты разбивали палатки, жгли костры из каолина и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе. Вежливо улыбающийся хозяин-китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажена развесистыми тополями; желтели скирды каоляна, чумизы и риса, на гладком току шла молотьба. Хозяин рассказывал, что в Мукдене у него есть

лавка, что свою семью — жену и дочерей — он увез туда: здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков...

На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах, с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил:

— «Хорошо говорить».

«Хорошо говорить»... Надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и, глядя на тихо-вежливого хозяина, становилось понятно.

Мы поднялись с зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солдаты с озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей: был мороз, они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться.

Главный врач встретил знакомого офицера, расспросил его насчет пути и опять повел нас сам, не беря проводника. Опять мы сбивались с дороги, ехали бог весть куда. Опять ломались дышла, и несъезженные лошади опрокидывали возы. Подходя к Сахотазе, мы нагнали наш дивизионный обоз. Начальник обоза показал нам новый приказ, по которому мы должны были идти на станцию Суятунь.

Двинулись разыскивать станцию. Переехали по понтонному мосту реку, проезжали деревни, переходили вброд вздувшиеся от дождя речки. Солдаты, по пояс в воде, помогали лошадям вытаскивать увязшие возы.

Потянулись поля. На жнивьях по обе стороны темнели густые копны каолян и чумизы. Я ехал верхом позади обоза. И видно было, как от повозок отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И еще бежали, и еще, на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его:

— Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?

Он как будто не понял.

— То есть, что именно?

— Вот это таскание снопов с китайских полей.

— Ишь, подлецы! — равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал фельдфебелю: — Нежданов, скажи им, чтоб перестали!.. Вы, пожалуйста, Викентий Викентьевич, следите, чтоб этого мародерства не было, — обратился он ко мне тоном плохого актера.

Впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы. Главный врач тихой рысцой поехал прочь.

Воротился посланный вперед фельдфебель.

— Что раньше забрали, то был комплект, а это уж сверх комплекта! — улыбаясь, объяснил он запрещение главного врача. На верху каждого воза светлело по кучке золотистых снопов чумизы...

К вечеру мы пришли к станции Суятунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили санитарные поезда, в сумерках на юге замелькали вдали огоньки рвавшихся шрапнелей. С жутким, поднимающим чувством мы вглядывались в вспыхивавшие огоньки и думали: вот, теперь начинается настоящее...

Назавтра нам приказано было перейти на другую сторону железной дороги и стать в деревне Сяо-Кии-Шинпу, за полверсты от станции...

Наш обоз стал на большом квадратном огороде, обсаженном высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь д-ра Султанова находился в той же деревне; они пришли еще вчера и стали биваком недалеко от того места, где устраивались мы.

При выезде из Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение с его врачами. Для вещей четырех младших врачей и смотрителя с его помощником полагается отдельная казенная повозка; главному же врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двух упряжных лошадей. Повозки и лошадей Султанов себе не купил, деньги положил в карман, а вещи свои велел уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили смотрителя снять с повозки вещи главного врача. Доложили Султанову. Он вышел из себя, кричал на врачей и смотрителя, как на денщиков, топал ногами, грозил посадить всех под арест и велел сейчас же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены, собирались писать на главного врача рапорт. Но к кому он пойдет, этот рапорт? Сначала — к начальнику дивизии, покладистому старику, не желающему ссориться с сильными, а дальше — к командиру корпуса, покровителю Султанова. И — русские люди — врачи удовольствовались тем, что поворчали и повозмущались «промеж себя».

Вообще Султанов резко изменился. В вагоне он был неизменно мил, остроумен и весел; теперь, в походе, был зол и свиреп. Он ехал на своем коне, сердито глядя по сторонам, и никто не смел с ним заговаривать. Так тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первым долгом отыскивалась удобная, чистая фанза для главного врача и сестер, ставился самовар, готовился обед. Султанов обедал, пил чай и опять становился милым, изящным и остроумным.

Наш главный врач и смотритель как-никак заботились о команде. Правда, солдаты ночевали на морозе под летними шинелями, но полушубков нигде еще в армии не было. Солдаты наши, по крайней мере, были сыты, и для этого делалось все. В султановском же госпитале о команде никто не заботился. Весь состав как будто существовал только для

того, чтобы холить и лелеять д-ра Султанова с сестрами. Команда зябла, голодала; ей предоставлялось жить, как угодно. Она роптала, но Султанов относился к этому с наивно-циничным добродушием. Однажды старший ординатор Васильев обратился к нему с жалобой на одного солдата команды; он, Васильев, отдал какое-то распоряжение, а солдат в лицо ему ответил:

— Только распоряжаться умеют! Кормить не кормят, ночь дрожи на морозе, а распоряжение исполняй!

Султанов брезгливо поморщился. Дело случилось вечером, когда он пообедал и был в хорошем расположении духа.

— Э, оставьте вы их, бог с ними!.. Ведь, в сущности, они совершенно правы. Мы едем верхом, они идут пешком. Приедем, — первым делом отыщем себе фанзу, закажем себе обед и самовар. А они устали и голодны. Вот послал им мяса искать, — не нашли ничего, а нам на бифштексы удалось достать... Если бы мы вместе с ними шли пешком, голодали и зябли, тогда бы они и приказания наши исполняли...

Прошел день, другой, третий. Мы были в полном недоумении. По всему фронту бешено грохотали пушки, мимо нас проходили транспорты с ранеными. А приказа развернуться наши госпитали не получали; шатры, инструменты и перевязочные материалы мирно лежали, упакованные в повозках. На железнодорожных разъездах стояли другие госпитали, большей частью тоже неразвернутые. Что все это значит? Шли слухи, что из строя выбыло уж двадцать тысяч человек, что речка Шахе алеет от крови, а мы кругом, десятки врачей, сидели сложа руки, без всякого дела.

Бой был в разгаре и шел очень недалеко от нас. То и дело доносилась спешная ружейная трескотня. По дорогам двигались пехотные части и артиллерийские парки, сновали

запыленные казаки. Делалось какое-то огромное, общее, близкое всем дело, все были заняты, торопились, только мы одни были бездеятельны и чужды всему. Мы ездили на позиции, наблюдали вблизи бой, испытывали острое ощущение пребывания под огнем; но и это ощущение несло с собой оскоминный, противный привкус, потому что глупо было лезть в опасность из-за ничего.

Наша команда недоумевала. Как и мы, она испытывала то же сиротливое ощущение вынужденного бездельничества. Солдаты ходили за околицу смотреть на бой, жадно расспрашивали проезжих казаков, оживленно и взволнованно сообщали нам слухи о ходе боя.

Однажды к смотрителю пришли три солдата из нашей команды и заявили, что желают перейти в строй. Главный врач и смотритель изумились: они нередко грозили в дороге провинившимся солдатам переводом в строй, они видели в этом ужаснейшую угрозу, — и вдруг солдаты просятся сами!..

Все трое были молодые, бравые молодцы. Как я писал, в полках нашего корпуса находилось очень много пожилых людей, удрученных старческими немощами и думами о своих многочисленных семьях. Наши же госпитальные команды больше, чем наполовину, состояли из молодых, крепких и бодрых солдат, исполнявших сравнительно далеко не тяжкие обязанности конюхов, палатных надзирателей и денщиков. Распределение шло на бумаге, а на бумаге все эти Ивановы, Петровы и Антоновы были совсем одинаковы.

Смотритель пробовал отговорить солдат, потом оказал, что передаст их просьбу в штаб. Особенно изумлялся их желанию наш письмоводитель, военный зауряд-чиновник Брук, хорошенький и поразительно-трусливый мальчик.

— Ведь тут же гораздо спокойнее! — доказывал он. — А там что? Убьют тебя, семья останется.

— Чего там! У меня всего жена только. Убьют — за другого выйдет.

Говорил стройный парень с сиплым, застуженным голосом, бывший гренадер. Лицо у него было строгое и ушедшее в себя, как будто он вглядывался во что-то в своей Душе, — во что-то большое и важное.

— А если ранят тебя? Оторвет тебе обе ноги, останешься на всю жизнь калекою?

— Ну, что ж!.. — Он помолчал и медленно прибавил: — Может быть, я желаю пострадать.

Брук с недоумением взглянул на него.

— Строй — святое дело! — заметил другой солдат.

— А наше дело еще святее! — фальшивым голосом возразил Брук. — Помогать раненым братьям, облегчать уходом и лаской их ужасные страдания...

— Нет, тут что! Одна канитель! Вон, там стрельба, другие дерутся, а мы что? Никому на нас и смотреть неохота. Даже на смотрах, — генерал какой, али и сам царь: «ну, это нестроевщина!» — и едут мимо.

29 сентября пальба особенно усилилась. Пушки гремели непрерывно, вдоль позиций как будто с грохотом валились друг на друга огромные шкапы. Снаряды со свистом уносились вдаль, свисты сливались и выли, как вьюга. Непрерывно трещал ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центр. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы, спрашивали, не знаем ли мы, где такой-то штаб. Мы не знали. Солдат в унылой задумчивости пожимал плечами.

— Как же быть теперь? С спешным донесением послан от командира, с утра езжу, и никто не может сказать.

И он вяло ехал дальше, не зная куда.

Под вечер мы получили из штаба корпуса приказ: обоим госпиталям немедленно двинуться на юг, стать и развернуться у станции Шахе. Спешно увязывались фуры, запрягались лошади. Солнце садилось; на юге, всего за версту от нас, роями вспыхивали в воздухе огоньки японских шрапнелей, перекатывалась ружейная трескотня. Нам предстояло идти прямо туда.

Султанов, сердитый и растерянный, сидел у себя в фанзе и искал на карте станцию Шахе; это была следующая станция по линии железной дороги, но от волнения Султанов не мог ее найти. Он злобно ругался на начальство.

— Это черт знает, что такое. По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за восемь верст от позиции, а нас посылают в самый огонь!

Было, действительно, непонятно, что могут делать наши госпитали в том аду, который сверкал и грохотал вдали. Мы, врачи, дали друг другу свои домашние адреса, чтобы, в случае смерти, известить близких.

Рвались снаряды, трещала ружейная перестрелка. На душе было жутко и радостно, как будто вырастали крылья, и вдруг стали близко понятны солдаты, просившиеся в строй. «Сестра-мальчик» сидела верхом на лошади, с одеялом вместо седла, и жадными, хищными глазами вглядывалась в меркнувшую даль, где все ярче вспыхивали шрапнели.

— Неужели мы опять будем плутать и не попадем, куда нужно? — волновалась она. — Господа, убедите главного врача, чтобы он нанял проводника.

— Днем плутали, — то ли еще будет ночью! — зловеще произнес Селюков и вздохнул. — А лошади несъезженные, пугливые. Первый снаряд упадет, они весь обоз разнесут вдребезги.

Мы двинулись к железной дороге и пошли вдоль пути на юг. Валялись разбитые в щепы телеграфные столбы, по

земле тянулась исковерканная проволока. Нас нагнал казак и вручил обоим главным врачам по пакету. Это был приказ из корпуса. В нем госпиталям предписывалось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе (предполагалось, что мы уж там) и воротиться на прежнее место стоянки к станции Суятунь.

Оживленно и весело все повернули назад. Только сестра-мальчик была огорчена и готова плакать от досады; она все обертывалась назад и горящими, жалеющими глазами поглядывала в шумевшую боем даль.

Мы разбили палатки, поужинали. Вечер был теплый и тихий-тихий. Темная дымка окутывала небосклон, звезды мутно светились. Бой не замолкал. Ночью разразилась гроза. Яростно гремел гром, воздух резали молнии. А снаряды по-прежнему со свистом неслись в темную даль; грохотали пушки, перебиваясь с грохотом грома; лихорадочно трещал ружейный огонь пачками. Небо и земля свились и крутились в грохочущем, сверкающем безумии. Под проливным дождем по дороге шли вперед темные колонны солдат, и штыки струистыми огнями вспыхивали под молниями.

И опять прошел день, и другой, и третий. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это, наконец, забыли о нас, что ли? Но нет. На станции Угольной, на разъездах, — везде стояли полевые госпитали и тоже не развертывались. Врачи зевали, изнывали от скуки, играли в винт...

Пошли дожди, мы перебрались из палаток в китайскую фанзу. Жили тесно и неуютно. Здесь же в уголке помещались сестры; на ночь они завешивались от нас платками. Заходили из султановского госпиталя врачи и сестры, кроме племянницы Султанова Новицкой; она безвыходно сидела в своей фанзе. Зато очень часто забегала Зинаида Аркадьевна. Изящно одетая, кокетничая своим белоснежным фартуком

с красным крестом, она рассказывала, что тогда-то у них обедал начальник такой-то дивизии, тогда-то заезжал «наш милый Леонид Николаевич (корпусный командир)». Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москве и глубоко вздыхала.

— Господи, с каким бы я сейчас удовольствием поела паштета из кур! — говорила она своим изученно-красивым, протяжным голосом. — Так безумно хочется есть!

Селюков мрачно возражал:

— Ну, это пока не так страшно. Вот когда вам безумно захочется черного хлеба, это так.

— Да, паштета. Паштета и шампанского, — мечтательно говорила Зинаида Аркадьевна.

Заходил разговор, что, по слухам, госпитальных врачей и сестер собираются командировать на перевязочные пункты.

— Ну, вы меня не попугаете: я фаталистка! — замечала Зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со смехом рассказывали, как разволновалась при этих слухах Зинаида Аркадьевна и Новицкая, как заявили, что пусть не воображают, — с какой стати они поедут под снаряды?

Зинаида Аркадьевна прощается и уходит. В уголке, в полумраке, сидит наша старшая сестра.

— Ах, я с вами и не здоровалась, здравствуйте! — любезно восклицает Зинаида Аркадьевна.

— Мы люди маленькие, нас можно не заметить, — сдержанно отвечает сестра.

— Напротив! Вы так всегда одеты по форме, в апостольниках, в форменных платьях, вас сразу можно заметить. Не то, что мы, революционерки, — мило возражает Зинаида Аркадьевна...

Однажды утром, проснувшись, я услышал за окнами русские и китайские крики, главный врач торопливо кричал:

— Держи, держи их!

Я выскочил наружу. Смотритель стоял у ворот и возмущенно повторял:

— Черт знает, черт знает, что такое!

Наискосок, по грядам каолина, бежали куда-то главный врач, несколько наших солдат, китайцы и старая китаянка, хозяйка нашей фанзы. Я пошел за ними.

От китайских могил скакали прочь два казака, вкладывая на скаку шашки в ножны. Наши солдаты держали за руки бледного артиллериста, перед ним стоял главный врач. У конической могилы тяжело хрипела худая, черная свинья; из-под левой лопатки текла чернеющая кровь.

— Ах-х ты, с-сукин сын! — возмущенно говорил главный врач. — Арестовать его!

Двинулись назад. Китайцы понесли издыхающую свинью. Подошел смотритель, столпилась наша команда.

— Ты какой части? — строго спросил главный врач.

— 12 артиллерийской бригады, — ответил арестованный. На испуганном, побледневшем лице рыжели усики и обильные веснушки, пола шинели была в крови. — Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить: это не я, я только мимо шел... Вот, извольте посмотреть! — Он вынул из ножен и показал свою шашку. — Изволите видеть, крови нету.

— А откуда на ней глина? Ты зачем шашку вынимал?

— Они просили подсобить.

— Кто они такие?

— Не могу знать.

— Ну, один под суд и пойдешь... Арестовать его! Аркадий Николаевич, напишите о нем бумагу, — обратился Давыдов к смотрителю.

— Ваше высокоблагородие, прикажите идти, меня их благородие капитан Веревкин ждут.

— Подождет. Это он, что ли, воровать тебя посылал?.. Подлецы этакие! Хуже разбойников! Не знаете, что китайцы мирное население, что их запрещено грабить?

Зарезанная свинья лежала у ворот, вокруг толпились наши солдаты.

— Э, сухая какая. Стоило возиться! — протянул Кучеренко. — Кабы сытая была!

Все с сочувствием поглядывали на арестованного. Его увели. Солдаты расходились.

— Великолепно, так и надо! — нарочно громко говорил я. — Другим наука будет!

— «Наука»... А как нам не воровать? — угрюмо возразил солдат-конюх. — Все бы лошади с голоду подохли, костра бы не из чего было развести. Ведь вон лошади рисовую солому едят, — все это ворованное. Лошадям по два гарнца овса выдают, разве лошадь с этого будет сыта? Все передохнут.

— И пускай передохнут! — сказал я. — Вам-то что? Это — дело начальства. Ваше дело только кормить лошадей, а не добывать фураж.

Солдат усмехнулся.

— Да-а!.. А вой, когда в походе возы в реке застряли, нас всех в воду погнали лошадям подсоблять. Сколько народу лихорадку получили! Почему? Силы у лошадей не было!.. Нет, ваше благородие, это вы все неправильно. Не побреешь, — не поешь.

— Вон, старший врач антилеристу грозится, под суд отдам, — заметил другой. — А нам что говорил? Тащите, говорит, ребята, что хотите, только чтобы я не видел. Почему же он нас не грозится под суд отдать?

— Ему прямой расчет, чтоб мы воровали... А попадись-ка я, например, вон тому капитану, который антилериста послал. Тоже сейчас скажет: ах ты, разбойник, сукин сын! Не знаешь, что это мирные жители?.. Под суд!

Солдаты засмеялись, а я молчал, потому что они были правы.

Наш хозяин, молодой китаец с красивым, загорелым лицом, горячо благодарил главного врача за заступничество, принес ему в подарок пару роскошно вышитых китайских туфлей. Давыдов смеялся, хлопал китайца по плечу, говорил: «шанго» (хорошо), а вечером, как нам рассказал письмоводитель, попросил хозяина подписать свою фамилию под одной бумажкою; в бумажке было написано, что нижеподписавшийся продал нашему госпиталю столько-то пудов каолинового зерна и рисовой соломы, деньги, такую-то сумму, получил сполна. Китаец побоялся и стал отказываться.

— Ну, ты не свою фамилию напиши, а какую-нибудь другую, это все равно, — сказал главный врач.

На это китаец согласился и получил в награду рубль, а канцелярия наша обогатилась «оправдательным документом» на 617 рублей 35 копеек (круглых цифр фальшивые документы не любят)...

Первого октября мы получили приказ спешно развернуться и приготовиться к приему раненых. Весь день шла работа. Устанавливались три огромных шатра, набивались соломой матрацы, устраивалась операционная, аптека.

Назавтра под вечер, под проливным дождем, привезли первый транспорт раненых. Промокших, дрожащих и окровавленных, их вынимали из тряских двуколок и переносили в шатры. Наши солдаты, истомившиеся бездельем, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали раненых, укладывали в носилки и переносили в шатры.

Внесли солдата, раненного шимозою; его лицо было, как маска из кровавого мяса, были раздроблены обе руки, обожжено все тело. Стонали раненые в живот. Лежал на соломе молодой солдатик с детским лицом, с перебитой

голенью; когда его трогали, он начинал жалобно и капризно плакать, как маленький ребенок. В углу сидел пробитый тремя пулями унтер-офицер; он три дня провалялся в поле, и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, унтер-офицер оживленно рассказывал, как их полк шел в атаку на японскую деревню.

— Из деревни стрельбы не слыхать. Командир полка говорит: «Ну, ребята, струсил япошка, удрал из деревни! Идем ее занимать». Пошли цепями, командиры матюкаются, — «Равняйся, подлецы! Не забегай вперед!» Ученье устроили; крик, шум, на нас холоду нагнали. А он подпустил на постоянный прицел да как пошел жарить... Пыль кругом забила, народ валится. Полковник поднял голову, этак водит очками, а оттуда сыплют! «Ну, ребята, в атаку!», а сам повернул коня и ускакал...

Наши солдаты жадно слушали и ахали.

— Бегут все кругом, я упал... Рядом земляк лежит. Попробует подняться, — опять падает... «Брат, — говорит, — подними меня!» — «Что же мне делать? Я и сам валяюсь»...

В шатрах стоял полумрак, тускло горели фонари. Отовсюду шли стоны и оханья. Сестры поили раненых чаем. Мы подбинтовывали промокшие кровью повязки; где было нужно, накладывали новые. Бинты вышли. Я послал за бинтами в аптеку палатного надзирателя; он воротился и доложил, что аптекарь без требования не отпускает. Я попросил сходить в аптеку сестру и сказать, что требование я напишу потом, а чтоб сейчас поскорее отпустили бинтов. Сестра сходила и, удивленно пожав плечами, сообщила, что без требования аптекарь отказывается выдать.

Что такое?.. Наш аптекарь был человек редко-неинтеллигентный, пьянчужка, но производил впечатление очень милого и добродушного парня. Что с ним такое случилось?.. Впоследствии мы узнали его ближе: аптека была для

него как будто центральным механизмом мира, в ее священней ходе ничего нельзя было изменить ни на волос. Обыкновенно смирный и угодливый, в аптеке Михаил Михайлович пьянел от высоты своего положения; а когда он был пьяный — все равно, от водки или от сознания важности своей аптеки — он становился заносчив и величествен. Я пошел к нему сам.

— Михаил Михайлович, голубчик, что это вы тут бунтуете? Пожалуйста, отпустите скорей бинтов, там раненые истекают кровью.

— Потрудитесь написать требование, — сухо ответил он, поджав губы.

— Да что вам, не все равно, когда требование будет написано, сейчас или потом? Третий раз к вам приходится обращаться за одним и тем же!

— Я ничего не знаю. Я могу что-либо отпускать из аптеки только по требованию. — И в его голосе звучало холодное злорадство русского чиновника, чувствующего за собой право сделать пакость.

— Тьфу ты, черт! Ну, дайте поскорее бумаги, я сейчас напишу.

— Лишней бумаги у меня нет, возьмите у старшего ординатора. Я сам получаю бумагу по требованию, я обязан давать в ней отчет... Да-с, теперь шутки кончены!..

Пришлось прибегнуть к помощи главного врача, чтоб умерить его слишком серьезное отношение к делу.

До поздней ночи мы возились с ранеными. Сделали две ампутации. У одного артиллериста извлекли из крестца дистанционную трубку шрапнели — широкий медный конус, разбивший крестец и разорвавший прямую кишку. Ночью подошел новый транспорт раненых. Вдали грохотали пушки, темное небо, как зарницами, вспыхивало отсветами от выстрелов. Везде кругом стонали окровавленные,

иззябшие люди. Солдат, которому пуля пробила щеки и челюсти, сидел с черной от крови бородой и отхаркивал тянущуюся кровавую слюну. Над головой наклонившегося врача равномерно тряслись скрюченные пальцы дрожащих от боли рук, слышались протяжные всхлипывания.

— Ой, кормильцы мои!..

А вдали все блистали отсветы грохочущих выстрелов, и странно было вспомнить, как тянулась душа к грозной красоте того, что творилось там. Не было там красоты, все было мерзко, кроваво-грязно и преступно.

Утром пришло распоряжение, — всех раненых немедленно эвакуировать на санитарные поезда. Для чего это? Мы недоумевали. Немало было раненых в живот, в голову, для них самое важное, самое необходимое — покой. Пришлось их поднимать, нагружать на тряские двуколки, везти полторы версты до станции, там опять разгружать, переносить на санитарный поезд...

Наши госпитали начали работать. И была наша работа еще бессмысленнее, чем прежнее безделье.

С перевязочных пунктов привозили раненых. Мы клали их в шатры, подбинтовывали тех, у кого повязки промокли; смотря по времени дня, кормили обедом или поили чаем, к вечеру нагружали всех на двуколки и отвозили на станцию. Для чего была нужна эта остановка у нас за полверсты от станции для раненых, уже проехавших пять-шесть верст? Часто бывало, что мы только осматривали привезенных раненых в их двуколках и своей властью в тех же двуколках отправляли дальше на станцию. Главный врач не возражал против этого, только усиленно требовал, чтоб провозимые раненые записывались у нас в книге и отправлялись дальше с нашими билетиками.

На станции мы грузили раненых в санитарные поезда.

Подходил поезд, сверкавший царским великолепием. Длинные белые вагоны, зеркальные стекла; внутри весело, чисто и уютно; раненые, в белоснежном белье, лежат на мягких пружинных матрацах; везде сестры, врачи; в отдельных вагонах — операционная, кухня, прачечная... Отходил этот поезд, бесшумно качаясь на мягких рессорах, — и ему на смену с неуклюжим грохотом становился другой, сплошь состоявший из простых товарных вагонов. Откатывались двери, раненых с трудом втаскивали в высокие, без всяких лестничек, вагоны и клали на пол, только что очищенный от навоза. Не было печей, не было отхожих мест; в вагонах стояли холод и вонь. Тяжелые больные ходили под себя; те, кто мог, вылезал из вагона и ковылял к отхожему месту станции. Поезд давал свисток и, дернув изо всей силы вагоны, начинал двигаться. Раненые тряслись на полу, корчились, стонали и проклинали. Сообщения между вагонами не было; если открывалось кровотечение, раненый истекал кровью раньше, чем на остановке к нему мог попасть врач поезда[1].

Вот что рассказывает в «Русском Враче» (1905, № 5) д-р Б. Козловский об эвакуации раненых во время боя на Шахе:

Эвакуируемые жестоко страдали от холода, тем более, что они также не были еще снабжены никакой теплой одеждой, и только некоторые из них могли получить в Мукдене теплые китайские одеяла и халаты, далеко, впрочем, недостаточные. Чтобы согреться, эвакуируемые в некоторых вагонах раскладывали костры (подложив кирпичи и т. п.); но это, разумеется, было исключением. Поезда большей частью отправлялись совершенно необорудованные, без кухонь, без свечей, без всякой сортировки

[1] По произведенным подсчетам, во время боя на Шахе в санитарных поездах было перевезено около трех тысяч раненых, в теплушках около тридцати тысяч.

больных и почти без медицинского персонала. Так, один поезд пришел в Харбин только с комендантом (офицером) и одной сестрой. Были поезда, шедшие все ночи во мраке вследствие недостатка свечей и следовавшие несколько станций без всякого медицинского персонала, который назначен был только в Телине. Не лучше было и с питанием больных. Приходилось кормить эвакуируемых в пути на военно-продовольственных пунктах, но здесь происходил целый ряд недоразумений: то неопытный комендант не отправлял вовремя телеграммы, то поезд опаздывал на много часов, а в результате больные нередко по двое суток не получали горячей пищи и голодали в холодных, нетопленных вагонах. Чем ближе к Харбину, тем больше усиливалась закупорка пути и тем больше мерзли и голодали эвакуируемые.

В том же «Русском Враче» (№ 14) приведен рассказ одного врача, относящийся ко времени Ляоянского боя:

Ночью он услыхал раздавшиеся из одного закрытого наглухо вагона стоны. Открыв вагон, он увидел там раненного в голову (в бессознательном состоянии), сорвавшего с себя повязку; раненый стоял у форточки товарного вагона, доставал из раны пальцами кусочки размозженного мозга и рассматривал их при свете луны, а на полу в темноте лежали раненные в живот с начавшимся уже воспалением брюшины и на каждый толчок вагона отвечали громкими стонами и проклятиями. От испражнений, делаемых под себя, в вагоне стояла вонь; духота и жажда усиливали страдания несчастных. По-видимому, стоны эвакуируемых донеслись и до Петербурга: в двадцатых числах августа проехали лица, собиравшие материал об эвакуации, и в результате явились доклад и попытки улучшить эвакуацию.

Ко времени боя на Шахе, как мы видели, «попытки» эти еще не увенчались успехом, все шло по-прежнему. А вот что происходило в заседании Телинского медицинского общества уже в январе 1905 года, незадолго до Мукденского боя.

Было выслушано сообщение Н. В. Рено о перевозке раненых и больных в теплушечных поездах. Докладчица в ярких красках описала мытарства, испытываемые перевозимыми в этих поездах больными, и указала на угнетающее положение сопровождающего эти поезда медицинского персонала, почти бессильного в борьбе с той массой неудобств, которые представляют эти поезда в настоящем своем виде. — При обмене мнений, в котором приняли участие и инженеры, выяснилось, что, несмотря на год войны, для улучшения этих поездов почти ничего не сделано, хотя улучшения эти возможны при не особенно больших затратах и местными средствами железнодорожных мастерских. Для всестороннего обсуждения мероприятий, необходимых в целях удовлетворительного оборудования приспособлений теплушечных санитарных поездов, общество избрало комиссию, в работах которой любезно согласились принять участие и инженеры. Собранный комиссией фактический материал, а также составленный инж. Савкевичем проект переделки вагона были, по постановлению общества, пересланы глазному начальнику санитарной части армии. На неожиданных результатах этого представления, — добавляет референт, — я нахожу неудобным здесь останавливаться. («Русский врач», 1905 г. № 25)

Результат же был очень простой. От начальника санитарной части, генерала Ф. Ф. Трепова, в ответ пришел запрос: на каком основании существует Телинское медицинское общество? Ответили, что на основании устава, утвержденного начальником тыла, генералом Назаровым, для Харбинского медицинского общества, Телинское же представляет собой его филиальное отделение. (Замечу, что о существовании Телинского общества Трепову было известно давно: Общество уже раньше писало ему о необходимости устроить в Телине изоляционное помещение для заразных больных, но ответа не удостоилось.) Последовала вторая бумага от начальника санитарной части: власть генерала Надарова на Телин не распространяется. Этим дело и закончилось.

Вокруг нас, — у станций, у разъездов, — везде стояли полевые госпитали. Одни из них все еще не получали приказа развернуться. Другие, как и наши, были развернуты. Издалека белелись огромные парусиновые шатры с светло-зелеными гребнями, флаги с красным крестом призывно трепыхались под ветром.

— Вы что, собственно, делаете? — опрашивал я врачей этих госпиталей.

— Что делаем? Записываем проезжающих раненых, — с усмешкой отвечали врачи. — То и дело телеграммы: «Немедленно всех эвакуировать»... Записанные ставятся на довольствие. А на довольствие каждого нижнего чина полагается шестьдесят копеек в сутки, на довольствие офицера— рубль двадцать копеек. Смотрители ходят и потирают руки.

Так работали госпитали в нашей местности. А в мукденских каменных бараках, которые мы сдали госпиталям другой дивизии нашего корпуса, в это время происходило вот что.

В бараки непрерывно прибывали раненые. Как будто прорвало какую-то плотину. Везли. Шли пешком. Приходили пешком раненые в живот. Во все двери валили люди в окровавленных повязках. В одном из бараков было триста мест, в другом — сто восемьдесят. Теперь в каждый из них набилось больше тысячи раненых. Не хватало не только коек, — давно уж не хватало соломы и циновок, не хватало места под кровлею. Раненые лежали на полу между коек, лежали в проходах и сенях бараков, наполняли разбитые около бараков госпитальные шатры. И все-таки места всем не хватало. Они лежали под открытым небом, под дождем и холодным ветром, окровавленные, трясущиеся и промокшие, и в воздухе стоял какой-то дрожащий, сплошной стон от холода.

«Прикомандированные» врачи, которые при нас без дела толклись в бараках, теперь все были разосланы Горбацевичем по полкам; они уехали в одних шведских куртках, без шинелей: Горбацевич так и не позволил им съездить в Харбин за их вещами. Всю громадную работу в обоих мукденских бараках делали теперь восемь штатных ординаторов. Они бессменно работали день и ночь, еле стоя на ногах. А раненых все подносили и подвозили.

На кухнях не хватало котлов. Сколько их было, во всех наварили супу, рассчитывая, что проголодавшиеся раненые будут хотеть есть. Но большинство прибывших просило пить, а не есть; они отворачивались от теплого, соленого супа и просили воды. Воды не было: кипяченой негде было приготовить, а сырой не решались давать, потому что кругом свирепствовала дизентерия и брюшной тиф.

Что же делали эти мукденские бараки?

Они — они тоже «эвакуировали», и только. И было это еще курьезнее, чем у нас. Эвакуировали они не только раненых, привезенных непосредственно с позиций. Шедшие с юга санитарные теплушечные поезда останавливались в Мукдене, раненых выгружали, переносили в бараки, а назавтра снова тащили на вокзал, грузили в теплушки и отправляли дальше на север, Можно было думать, что какой-то злобный дьявол нарочно устраивает все это, чтобы повеселиться на безмерные людские муки. Но нет, Дьявол был не злобный и не имел, охоты веселиться; был он с сухою, бесстрастной бумажной душою, с деловито-суетливым взглядом и полагал, что делает самое настоящее дело.

То и дело в бараки приходили телеграммы от военно-медицинского начальства: немедленно эвакуировать четыреста человек, немедленно эвакуировать семьсот человек... Охваченное каким-то непонятным, безумным бредом, начальство думало только об одном: поскорее забросить раненых как можно дальше от позиций. Бой на Шахе

не кончился отступлением армий, — все равно! Он мог кончиться отступлением, — и вот тяжко раненных, которым нужнее всего был покой, целыми днями нагружали, выгружали, таскали с места на место, трясли и перетряхивали в двуколках и теплушках.

По окончании боя Куропаткин с чувством большого удовлетворения телеграфировал военному министру для доклада царю:

Во время боев с 25 сентября по 8 октября из района боевых действий маньчжурской армии вывезено в Мукден, а отсюда эвакуировано в тыл: раненых и больных офицеров — 945, нижних чинов — 31 111. Эвакуация столь значительного числа раненых исполнена в такой короткий срок, благодаря энергии, распорядительности и совместной дружней работе чинов санитарного и медицинского ведомства.

Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка в этих адских двуколках и теплушках. Больные с полостными ранами гибли от них, как мухи. Счастлив был тот раненный в живот, который дня три-четыре провалялся на поле сражения неподобранным: он лежал там беспомощный и одинокий, жаждал и мерзнул, его каждую минуту могли загрызть стаи голодных собак, — но у него был столь нужный для него покой; когда его подобрали, брюшные раны до известной степени уже склеились, и он был вне опасности.

Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукденских бараков на свой риск отделили часть барака под полостных раненых и не эвакуировали их. Результат получился поразительный: все они, двадцать четыре человека, выздоровели, только один получил ограниченный перитонит, один — тонный плеврит, и оба поправились.

Под конец боя бараки посетил наместник и раздавал раненым солдатам Георгиев. По уходе наместника все хохотали, а его адъютанты сконфуженно разводили руками и признавались, что, собственно говоря, всех этих Георгиев следовало бы отобрать обратно.

Идет наместник, за ним свита. На койке лежит бледный солдат, над его животом огромный обруч, на животе лед.

— Ты как ранен?

— Значит, иду я, ваше высокопревосходительство, вдруг ка-ак она меня саданет, прямо в живот! Не помню, как, не помню, что...

Наместник вешает ему георгин. Но кто же была эта она? Шимоза? О, нет: обозная фура. Она опрокинулась на косогоре и придавила солдата-конюха. Порохового дыма он и не нюхал.

Получили Георгия солдаты, раненные в спину и в зад во время бегства. Получили больше те, которые лежали на виду, у прохода. Лежавшие дальше к стенам остались ненагражденными. Впрочем, один из них нашелся; он уже поправлялся, и ему сказали, что на днях его выпишут в часть. Солдат пробрался меж раненых к проходу, вытянулся перед наместником и заявил:

— Ваше высокопревосходительство! Прикажите выписать меня в строи, желаю еще послужить царю и отечеству.

Наместник благосклонно оглядел его.

— Это пусть доктора решают, когда тебя выписать. А пока — вот тебе.

И повесил ему на халат георгин.

Теперь пришлось поверить и слышанным мной раньше рассказам о том, как раздавал наместник Георгиев; получил Георгия солдат, который в пьяном виде упал под поезд и потерял обе ноги; получил солдат, которому его товарищ разбил в драке голову бутылкой. И многие в таком роде.

В течение боя, как я уж говорил, в каждом из бараков работало всего по четыре штатных ординатора. Кончился бой, схлынула волна раненых, — и из Харбина на помощь врачам прибыло пятнадцать врачей из резерва. Делать теперь им было решительно нечего.

Начальство за время боя в бараки не заглядывало, — теперь снова оно зачастило. Снова пошли распекания, угрозы арестом и бестолковые, противоречащие друг другу приказания.

Является Горбацевич.

— Что это такое?! Шинели больных валяются на кроватях!

— Нет цейхгауза, ваше превосходительство.

— Так вбейте гвоздики над каждой кроватью, пусть висят на гвоздиках.

Вбили. Является Трепов.

— Что это тут за цейхгауз? Чего вы этих шинелей понавешали? Загородили весь свет, набиваете пыль и заразу!

— Так приказал полевой медицинский инспектор.

— Сейчас же убрать!

Инспектор госпиталей Езерский — у этого было свое дело. Дежурит только что призванный из запаса молодой врач. Он сидит в приемной за столом и читает газету. Вошел Езерский, прошелся по палатам раз, другой. Врач посмотрел на него и продолжает читать. Езерский подходит и спрашивает:

— Сколько у вас больных?

— Больных?.. Можно сейчас посмотреть, — благодушно заявляет врач и тянется к книге, куда записывают больных.

— Скажите, пожалуйста: вы вот видите, по палатам ходит совсем чужой человек. А вы на это даже не обращаете внимания и продолжаете читать газету. Может быть, я сумасшедший?

Врач поднял брови, оглядел генерала и чуть пожал плечом: дескать, на вид как будто незаметно.

Генерал рассвирепел, стал кричать. Врач сообразил, что перед ним какое-то начальство, встал и вытянулся.

— Под арест на семь суток!

Вошел ординатор; с рукой к козырьку, говорит генералу:

— Простите, ваше превосходительство, в этом виноваты мы. Товарищ только что прибыл из запаса, военных правил не знает, а мы его не обучили.

— Что? Заступаться? Под арест на трое суток!

В Мукдене шла описанная толчея. А мы в своей деревне не спеша принимали и отправляли транспорты с ранеными. К счастью раненых, транспорты заезжали к нам все реже. Опять все бездельничали и изнывали от скуки. На юге по-прежнему гремели пушки, часто доносилась ружейная трескотня. Несколько раз японские снаряды начинали ложиться и рваться близ самой нашей деревни.

У нас расхворалась одна из штатных сестер, за ней следом — сверхштатная, жена офицера. В султановском госпитале заболела красавица Вера Николаевна. У всех трех оказался брюшной тиф; они захватили его в Мукдене, ухаживая за больными. Заболевших сестер эвакуировали на санитарном поезде в Харбин...

Наша деревня с каждым днем разрушалась. Фанзы стояли без дверей и оконных рам, со многих уже сняты были крыши; глиняные стены поднимались среди опустошенных дворов, усеянных осколками битой посуды. Китайцев в деревне уже не было. Собаки уходили со дворов, где жили теперь чужие люди, и — голодные, одичалые — большими стаями бегали по полям.

В соседней деревушке, в убогой глиняной лачуге, лежала больная старуха-китаянка; при ней остался ее сын. Увезти ее он не мог: казаки угнали мулов. Окна были выломаны

на костры, двери сняты, мебель пожжена, все запасы отобраны. Голодные, они мерзли в разрушенной фанзе. И вдруг до нас дошла страшная весть: сын своими руками зарезал больную мать и ушел из деревни.

Воротился из Мукдена наш хозяин. Увидел свою разграбленную фанзу, ахнул, покачал головою. Со своей ужасною, любезно-вежливой улыбкой подошел к вывороченной двери погреба, спустился, посмотрел и вылез обратно. Неподвижное лицо не выражало ничего.

Под вечер китаец сидел с фельдшером на стволе дерева, срубленного нами на его огороде. Любопытствующим голосом он спрашивал фельдшера:

— Ходя (приятель), твоя мадама ю (у тебя жена есть)?

— Ю (есть), — отвечает фельдшер.

— Маленька ю? — спрашивал китаец и показывал рукой на пол аршина от земли.

— И ребята есть.

Фельдшер вздохнул и задумался. А китаец тихим, бесстрастным голосом рассказывал, что у него тоже есть «мадама» и трое ребят, что все они живут в Мукдене. А Мукден, как мухами, набит китайцами, бежавшими и выселенными из занятых русскими деревень. Все очень вздорожало, за угол фанзы требуют по десять рублей в месяц, «палка» луку стоит копейку, пуд каоляна — полтора рубля. А денег взять негде.

Он сидел понурившись, исхудалый, с ровно-смуглым, молодым цветом кожи на красивом лице. Фельдшер дал ему кусок черного хлеба. Китаец жадно закусил хлеб своими кривыми зубами.

От колодца прошел наш кашевар с четырехугольным черным ведром в руках.

— А, ходя! Здравствуй! — весело крикнул он китайцу.

Китаец приветливо кивнул в ответ.

— Длиаст! — И с вежливо-любезной улыбкой указал рукой на ведро.

— Что? Твое ведро?

— Моя! — улыбнулся китаец.

— Как это ты, ходя, сюда в деревню пробрался? — спросил фельдшер. — У нас тут всех китаев выселили. Пойдешь назад, попадешься казакам, — кантрами тебе сделают.

— Моя не боиса! — равнодушно ответил китаец.

На вечерней заре он ушел из деревни, и больше мы его уж не видели.

За ужином главный врач, вздыхая, ораторствовал:

— Да! Если мы на том свете будем гореть, то мне придется попасть на очень горячую сковородку. Вот приходил сегодня наш хозяин. Должно быть, он хотел взять три мешка рису, которые зарыл в погребе; а их уж раньше откопала наша команда. Он, может быть, только на них и рассчитывал, чтобы не помереть с голоду, а поели рис каши солдаты.

— Позвольте! Вы это знали, как же вы это могли допустить? — спросили мы.

Главный врач забегал глазами.

— Я это только что сам узнал.

— Только вы один во всем этом и виноваты, — резко сказал Селюков. — Вот, недалеко от нас дивизионный лазарет: смотритель собрал команду и объявил, что первого же, кто попадется в мародерстве, он отдаст под суд. И мародерства нет. Но, конечно, он при этом покупает солдатам и припасы, и дрова.

Воцарилось «неловкое молчание». Денщики с неподвижными лицами стояли у дверей, но глаза их смеялись.

— Вообще нет ничего более позорного и безобразного, чем война! — вздохнул главный врач.

Все молчали.

— Я верю, что со временем Европа получит от Востока жестокое возмездие, — продолжал главный врач.

Деликатный Шанцер не выдержал и заговорил о желтой опасности, об известной картине германского императора.

После ужина денщики, посмеиваясь, сообщили нам, что про мешки с рисом главный врач знал с самого начала; солдатам, откопавшим рис, он дал по двугривенному, а рисом этим кормит теперь команду.

Тот дивизионный лазарет, о котором упомянул Селюков, представлял собой какой-то удивительный, светлый оазис среди бездушно черной пустыни нашего хозяйничанья в Маньчжурии. И причиной этого чрезвычайного явления было только то, что начальник лазарета и смотритель были элементарно честными людьми и не хотели наживаться на счет китайцев. Мне пришлось быть в деревне, где стоял этот лазарет. Деревня имела необычайный, невероятный вид: фанзы и дворы стояли нетронутые, с цельными дверями и окнами, со скирдами хлеба на гумнах; по улицам резвились китайские ребятишки, без страха ходили женщины, у мужчин были веселые лица. Кумирня охранялась часовым. По улицам днем и ночью расхаживали патрули и, к великому изумлению забиравшихся в деревню чужих солдат и казаков, беспощадно арестовывали мародеров.

И какое же зато было там у китайцев отношение к русским! Мы часто целыми днями сидели без самого необходимого, — там был полный избыток во всем: китайцы, как из-под земли, доставали русским решительно все, что они спрашивали. Никто там не боялся хунхузов, глухой ночью все ходили по деревне безоружные.

О, эти хунхузы, шпионы, сигнальщики! Как бы их было ничтожно мало, как бы легко было с ними справляться, если бы русская армия хоть в отдаленной мере была той

внешне и морально дисциплинированной армией, какой ее изображали в газетах лживые корреспонденты-патриоты.

Бой постепенно, незаметно затихал. Две огромные волны раскатились, сшиблись и теперь медленно оттекали обратно. Обе армии за небольшими изменениями остались на своих местах. Реже и глуше грохотали пушки, все меньше шло раненых. Русские и японцы сидели друг против друга в залитых дождями окопах, шагах в трехстах расстояния, и стыли по колено в воде, скорчившись за брустверами. Кто неосторожно выглядывал, сейчас же получал в голову пулю. В госпитали теперь повалили больные с бронхитами, ревматизмами и лихорадками.

К нам забежала оживленная Зинаида Аркадьевна и сообщила, что отобрание у японцев шестнадцати орудий и взятие «сопки с деревом» решено раздуть в грандиозную победу и приступить к переговорам о мире. Слух этот стал распространяться. Некоторые офицеры сдержанно замечали:

— Самый благоприятный момент для мира. Позиции мы удержали, к переговорам приступим не как побежденные...

Другие возмущались.

— Как? Вполне ясно, в войне наступает перелом. До сих пор мы всё отступали, теперь удержались на месте. В следующий бой разобьем япошек. А их только раз разбить, — тогда так и побегут до самого моря. Главная работа будет уж казакам... Войск у них больше нет, а к нам подходят все новые... Наступает зима, а японцы привыкли к жаркому климату. Вот увидите, как они у нас тут зимой запищат!

Большинство офицеров насчет зимы соглашалось, но в общем молчало и не высказывалось.

От бывших на войне с самого ее начала я не раз впоследствии слышал, что наибольшей высоты всеобщее настроение достигло во время Ляоянского боя. Тогда у всех была

вера в победу, и все верили, не обманывая себя; тогда «рвались в бой» даже те офицеры, которые через несколько месяцев толпами устремлялись в госпитали при первых слухах о бое. Я этого подъема уже не застал. При мне все время, из месяца в месяц, настроение медленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый намек, чтобы удержать остаток веры.

Раньше говорили, что японцы — природные моряки, что мы их будем бить на суше; потом стали говорить, что японцы привыкли к горам, что мы их будем бить на равнине. Теперь говорили, что японцы привыкли к лету, и мы будем их бить зимою. И все старались верить в зиму.

V. Великое стояние: октябрь — ноябрь

Однажды вечером оба наши госпиталя получили из штаба корпуса приказ: немедленно передвинуться из деревни Сяо-Кии-Шинпу на запад, в деревню Бейтайцзеин. Когда этот приказ был получен, племянница Султанова, Новицкая, почему-то чрезвычайно обрадовалась. У них сидел адъютант из штаба корпуса; провожая его, она вся сияла и просила передать корпусному командиру ее «большое, большое спасибо».

Деревня Бейтайцзеин была всего за две версты от деревни, где мы стояли. Наутро наш госпиталь двинулся. В султановском госпитале только еще начинали укладываться; Султанов пил в постели кофе.

Наш главный врач забрал с собой из фанзы все, что можно было уложить на возы, — два стола, табуретки, четыре изящных красных шкапчика; в сенях велел выломать из печки большой котел. На наши протесты он заявил:

— Здесь все равно все разграбят. А я им потом возвращу.

Приехали мы в Бейтайцзеин. Деревня была большая, в две длинных улицы, но совершенно опустошенные. Фанзы стояли без крыш, глиняные стены зияли черными квадратами выломанных на топку окон и дверей. Только на одной из улиц тянулся ряд больших богатых каменных фанз, совершенно нетронутых. У ворот каждой фанзы стояло по часовому.

— Эти фанзы заняты кем-нибудь? — опросил часового главный врач.

— Так точно!

— Кто в них стоит?

— Штаб корпуса стоял. Вчера он перешел вон в ту деревню, теперь будет стоять 39 полевой подвижной госпиталь (султановский).

— А от кого же этот караул поставлен?

— От штаба корпуса.

Так... дело начинало выясняться. Мы обошли всю деревню. После долгих поисков помощник смотрителя нашел на одном дворе, рядом с султановскими фанзами, две убогих, тесных и грязных лачуги. Больше поместиться было негде. Солдаты располагались биваком на огородах, наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагой прорванные окна.

Мы пошли посмотреть фанзы, охранявшиеся для Султанова. Помещения были чистые, просторные и роскошные. Караульные рассказали нам, что перед въездом сюда корпусного командира целая рота саперов три дня отделывала эти помещения. Теперь стало понятно, почему так обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса; и стало также понятно это бессмысленное передвижение госпиталей всего за две версты. В прежней деревне весь персонал султановского госпиталя теснился, как и мы, в одной фанзе, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникал невероятный вопрос: неужели сотни людей так легко перебрасываются с места на место по мановению одного тонкого белого пальчика сестры Новицкой? Впоследствии мы не раз имели случаи убедиться, какая волшебно-огромная сила заключалась в этом пальчике.

Денщики ввели воз с нашими вещами во дворик и стали вносить в вычищенные ими фанзы вещи. К соседним фанзам подъехал султановский обоз. В воротах нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхом на белой лошади.

— Послушайте, это чьи тут вещи, ваши? — крикнул он д-ру Гречихину.

— Да.

— Потрудитесь убрать их. Это все наши фанзы.

— Ваши вон они, фанзы. Нам никто не говорил, что эти заняты.

— Ну, вот я вам и говорю... Эй, вы! Не вносить вещей! — крикнул Султанов нашим денщикам.

Мы с Шанцером стояли у ворот. Шанцер, всегда удивительно равнодушный к тому, как устроиться, с веселым любопытством оглядывал Султанова. К воротам поспешно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна.

Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера:

— Это наши фанзы, вы не имели права их занимать; генерал нам их оставил, тут стоял наш караул... Вы думали, что раньше приехали, так все можете захватить!..

Она взволнованно сыпала словами; слышалось только быстрое, злобное: «те-те-те-те-те!» И вдруг в ней исчезла вся ее изящная медленность, перед глазами суетливо металось противное, вульгарное существо, с маленькой головкой и злобным, индюшечьим лицом.

— Что вы ко мне обращаетесь? Мне до всего этого нет решительно никакого дела, — брезгливо ответил Шанцер, пожав плечами.

— Ведь правда, Лапочка, при чем же тут Моисей Григорьевич? — сдержанно заметила Зинаида Аркадьевна.

Новицкая осеклась, и обе они поспешили к своим фанзам.

Пришел наш главный врач. Он приказал денщикам продолжать вносить вещи в фанзу. Султанов своим ленивым, небрежным голосом обратился к нему:

— Гораздо лучше, поделим деревню пополам. Нам эта улица, вам — та.

— Покорно вас благодарю! Не хотите ли наоборот? — ответил Давыдов, еле сдерживая негодование. — В тех фанзах я бы, по крайней мере, постеснялся поместить даже собак.

Наконец, все как будто уладилось. Мы устраивались в своей фанзе, распаковывали вещи. Вдруг на нашем дворе появилась Зинаида Аркадьевна с унтер-офицером, начальником караула. Она суетливо ходила по двору и все осматривала.

— Здесь был полевой телеграф? Так эта фанза тоже наша! Как же ты им не сказал?

— Мне, барышня, было приказано охранять только те фанзы.

— Нет, и эту, не выдумывай, пожалуйста! Мне сам генерал сказал, сам все показывал... Какой же ты начальник караула? Я на тебя пожалуюсь корпусному командиру!

Она ушла с ним в калитку к своим фанзам. Через минуту унтер-офицер, приложив руку к козырьку, подошел к Давыдову, следившему за водружением госпитальных шатров.

— Ваше высокоблагородие, прикажите очистить ваши фанзы, — почтительно оказал он. — А то я буду отвечать перед их высокопревосходительством.

Главный врач вспыхнул.

— Скажи твоему высокопревосходительству, — произнес он резко и раздельно, — что я насильно занял эти фанзы. Пошел прочь!

От Султанова прибежал другой солдат и заявил, что вышло недоразумение, что Султанову довольно его фанз. Шанцер был в восхищении от ответа нашего главного врача.

— Великолепно! Великолепно! — повторял он. — За этот ответ ему можно многое простить!

Султановцы устроились с полным комфортом. Сам Султанов, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себе по отдельному просторному помещению, отдельное помещение получили четыре младших врача, отдельное — хозяйственный персонал. Мы все вповалку разместились на глиняных лежанках двух наших тесных, грязных фанз.

Вечером перед султановскими воротами стояла коляска корпусного командира и шарабан его адъютанта, привезшего Султанову приглашение на ужин к корпусному. Вышел Султанов, вышли разрядившиеся, надушенные Новицкая и Зинаида Аркадьевна; они сели в коляску и покатили в соседнюю деревню.

На дворе стоял под ружьем солдат-повар, испортивший к султановскому обеду пирожное.

Для больных у нас разбили шатры. Но по ночам бывало уж очень холодно. Главный врач отыскал несколько фанз, Попорченных меньше, чем другие, и стал отделывать их под больных. Три дня над фанзами работали плотники н штукатуры нашей команды.

Помещения были готовы, мы собирались перевести в них больных из шатров. Вдруг новый приказ: всех больных немедленно эвакуировать на санитарный поезд, госпиталям свернуться и идти — нам в деревню Суятунь, султановскому госпиталю — в другую деревню. Все мы облегченно вздохнули: слава богу! будем стоять отдельно от Султанова!

Утром на заре мы двинулись. Весь наш корпус переводился с правого фланга в центр. По дорогам сплошными массами тянулись пехотные колонны, обозы, батареи и парки. То и дело происходили остановки...

Мы пришли в деревню Суятунь. Она лежала за четверть версты на восток от станции. Деревня, по-обычному, была полуразрушена, но китайцев еще не выселили. Над низкими глиняными заборами повсюду мелькали плоские цепы и обмотанные черными косами головы: китайцы спешно обмолачивали каолян и чумизу.

Нам, младшим врачам, удалось найти маленькую, брошенную китайцами фанзу, где мы поселились отдельно. Это было, как светлое избавление, — не видеть перед собой постоянно главного врача и смотрителя...

К ночи пошел дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить кханы — широкие лежанки, тянувшиеся вдоль стен фанзы. Едкий дым каоляновых стеблей валил из трещин лежанок, валил назад из топки; от вмазанного в сенях котла шел жирный чад и мешался с дымом. Болела голова. Дождь хлестал в рваные бумажные окна, лужи собирались на грязных подоконниках и стекали на кханы.

У нас сидел заблудившийся офицер-стрелок, застигнутый ночью и непогодою. Ош пил чай с ромом и рассказывал, что слухи о мире оказались неверными, что решено воевать дальше. А идет суровая зима, а полушубков все не высылают. Стрелки у них рады уж тому, что недавно получили назад шинели: летом, ввиду их тяжести и стоявших жаров, шинели были отобраны. В армии нет ни снарядов, ни припасов. Харбинский склад снарядов весь исчерпан, приходится рассчитывать только на подвоз из России. Страна опустошена, фанзы разрушены; через два-три месяца не будет ни жилищ, ни дров, ни фуражу. Повторится двенадцатый год, только мы будем в роли французов.

Ветер бил дождем в рваные бумажные окна, было холодно, сыро и угарно.

Наш главный врач, смотритель со своим помощником и письмоводитель целыми днями сидели теперь в канцелярии. Считали деньги, щелкали на счетах, писали и подписывали. В отчетности оказалось что-то неладное, концы с концами не сходились.

К нам иногда забегали помощник смотрителя Давид Соломонович Брук и письмоводитель Иван Александрович Брук. Они были родные братья, евреи, оба зауряд-чиновники. Младший, Иван, очень хорошенький и очень трусливый мальчик, был крещеный. Спать он всегда ложился с револьвером, ужасно боялся хунхузов, больше же всего боялся попасть в строй.

— То есть, вы понимаете! Ведь у нас там форменный грабеж! — взволнованно рассказывал он нам. — Фальшивые счета, воровство, подложные ведомости... И представьте себе, они меня от всего хотят устранить! Я — делопроизводителе, а составить отчетную ведомость на фураж главный врач приглашает делопроизводителя соседнего полка!

И он сидел, бледный, с бегающими глазами, со злобно-унылой складкой на губах.

— Но только пусть попробуют. У меня на них есть один документик. Давыдов дал китайцу три рубля, чтобы он подписался под счетом в 180 рублей, а тот по-китайски написал: «три рубля получил»; мни это другой китаец перевел... Пусть попробуют! Но только вы понимаете, какие они подлецы! Сейчас в строй меня переведут! И они отлично знают, что я этого боюсь...

С позиций в нашу деревню пришел на стоянку пехотный полк, давно уже бывший на войне. Главный врач пригласил к себе на ужин делопроизводителя полка. Это был толстый и плотный чинуша, как будто вытесанный из дуба; он дослужился до титулярного советника из писарей. Наш главный врач, всегда очень скупой, тут не пожалел денег и усердно угощал гостя вином и ликерами. Подвыпивший гость рассказывал, как у них в полку ведется хозяйство, — рассказывал откровенно, с снисходительной гордостью опытного мастера.

— Из обозных лошадей двадцать две самых лучших мы продали и показали, что пять сбежало, а семнадцать подохло от непривычного корма. Пометили: «протоколов составлено не было». Подпись командира полка... А сейчас у нас числится на довольствии восемнадцать несуществующих быков.

Главный врач враждебно покосился на смотрителя.

— Видите? — раздраженно сказал он. — А наши существовавшие три быка не были записаны на довольствие!

Делопроизводитель рассказывал долго. Главный врач и смотритель жадно слушали его, как ученики — талантливого, увлекательного учителя. После ужина главный врач велел обоим Брукам уйти. Он и смотритель остались с гостем наедине.

Младший Брук зашел к нам, унылый и злой, с серо-зеленым лицом.

— Пусть теперь пришлют за мною, ни за что не приду! — повторял он, в задумчивости бегая глазами.

Он взял фонарик и ушел на другой конец деревни, в гости к сестрам.

— Дурень этакий! — смеялся Шанцер. — Он думает, его устраняют, прячутся от него, чтобы с ним не делиться. А не сообразит, что делиться с ним все равно не станут; боятся они его, фитюльку! А устраняют просто потому, что не нужен: что он понимает в этом серьезном деле?..

Часа через два главный врач, смотритель и гость перешли пить чай из фанзы главного врача в помещение хозяйственного персонала; оно было в той же фанзе, где жили мы, врачи, и отделялось от нас сенями. За чаем пошли уже общие разговоры. Слышался громкий, полный голос смотрителя, сиплый и как будто придушенный голос главного врача.

— Порт-Артур во всяком случае продержится еще с полгода. Скоро прибудет шестнадцатый корпус, тогда, бог даст, маньчжурская армия перейдет в наступление.

Мы прислушивались и посмеивались. Шанцер возмущался прямо эстетически.

— И что им, ворам, до наступления маньчжурской армии?! Как они могут об этом говорить и смотреть друг другу в глаза?.. И я не понимаю: ведь вот Давыдов каж-

дый месяц посылает жене по полторы, по две тысячи рублей: она же знает, что жалованья он получает рублей пятьсот. Что он ей скажет, если жена спросит, откуда эти деньги? Что будет делать, если об этом случайно узнают его дети?

— Наивный вы человек! — вздохнул Селюков и стал раздеваться.

В первом часу «очи, когда мы уже были в постелях, к нам зашел старший Брук, помощник смотрителя. Только Шанцер сидел за столом и писал письма. Часа полтора Брук рассказывал Шанцеру о сегодняшних беседах, и оба они хохотали, сдерживаясь, чтобы не разбудить Селюкова и Гречихина.

— Но вы понимаете! — рассказывал Брук. — Слушаю я их — форменное сборище каких-то темных личностей, мошенников! За каждый из их поступков полагается по нескольку лет Сибири! И этот делопроизводитель — опытнейший жулик, и важный такой! Не зауряд-чиновник, как мы, а титулярный советник.

— Ха-ха-ха!.. Восемнадцать несуществующих быков на довольствии! — покатывался Шанцер.

— Вчера мне Давыдов говорит: «Вы слышали про госпитали, которые сменили нас в Мукдене? За время боя через них прошло десять тысяч раненых. Если бы нас тогда оставили в Мукдене, мы с вами были бы теперь богатыми людьми»... Я ему говорю: да-а, мы с вами...

Шанцер хохотал.

— Нет, батенька, в самом деле, чего же вы-то смотрите? Они себе набивают карманы, а вы зеваете?

— А сегодня мне Давыдов говорит: плохо дело, во всем у нас перерасход, как-то мы сведем концы с концами!

И оба они хохотали, сдерживали хохот и говорили друг другу: «тише, разбудим!».

— Мне жинка моя перед отъездом говорила, — юмористически задумчиво сказал Брук: — смотри, Давид, не подписывай фальшивых счетов, не попади под суд. Только воротись цел, а деньги на хлеб всегда заработаешь.

— Вы еще ни одного фальшивого счета не написали?

Брук с плутовато-огорченным видом вздохнул.

— Один заставили написать. В Мукдене уж очень много говорили про овес главного врача. Чтоб зажать рот Султанову, он продал ему триста пудов по 1 руб. 40 коп., а мне велел написать счет на 1 руб. 80 коп. Я было отказался, мне Давыдов сказал: «Ну что вам стоит! Не все равно? Отчего не оказать любезность Султанову?..» А Султанов тоже мошенник порядочный. Штабу нашей дивизии очень был нужен овес, Султанов ему перепродал сто пудов. «Давыдов, — говорит, — вы знаете, какой гешефтмахер, содрал с меня по 1 руб. 80 коп. — ну, а я вам, себе в убыток, уступлю по 1 руб. 60 коп.».

— Да, батенька, въехали вы в грязную историю!

— Но вы понимаете, я не думал, что братишка мой такой жулик! Он всем этим возмущен только потому, что его отстраняют от дележки!..

Брук скорбно задумался. Шанцер хохотал, сдерживаясь, чтобы не было слышно.

С позиций то и дело доносилась пушечная канонада. Происходили частичные наступления, ночные атаки, иногда разносилась весть, что начинается новый бой. Солдаты мерзли в окопах. По ночам морозы доходили до 8–9°. Лужи замерзали. Полушубков все еще не было, хотя по приказу главнокомандующего они должны были быть доставлены к 1 октября. Солдаты поверх шинелей надевали китайские ватные халаты светло-серого цвета: вид солдат был смешон и странен, японцы из своих окопов издевались над ними.

Офицеры с завистью рассказывали, какие хорошие полушубки и фуфайки у японцев, как тепло и практично одеты захватываемые пленные.

В конце октября полушубки, наконец, пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали с ними всего на месяц: в русско-турецкую войну полушубки прибыли в армию только в мае[2].

Дней через пять после прихода в Суятунь нам приказано было развернуться. Поставили мы три наших госпитальных шатра, но в них было холодно, как в леднике, больные и раненые зябли. Опять принялись за отделку фанз.

Раненых привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они с сильно запущенными ревматизмами. бронхитами, дизентерией, ноги у всех были опухшие от долгого и неподвижного сидения в окопах. Больных отправляли в госпитали с большой неохотою; солдаты рассказывали: все сплошь страдают у них поносами, ломотой в суставах, кашель бьет непрерывно; просится солдат в госпиталь, полковой врач говорит: «Ты притворяешься, хочешь удрать с позиций». И отправляли больного в госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилках.

---

[2] Впрочем, как впоследствии выяснилось, особенно гордиться было нечего: большое количество полушубков пришло в армию даже не в мае, а через год после заключения мира. «Новое Время» сообщало в ноябре 1906 года: «В Харбин за последнее время продолжают прибывать как отдельные вагоны, так и целые поезда грузов интендантского ведомства, состоящих главным образом из теплой одежды. Грузы эти были отправлены из России в действующую армию еще во время стояния последней на Шахе, но до сих пор где-то блуждали».

Однажды вечером в нашу деревню пришел с позиций на отдых пехотный полк. Солнце село, запад был ярко-оранжевый, на мокрой земле уже лежала темнота. Ряды черных фигур в косматых папахах, с иглами штыков, появлялись на невысоком холме, вырезывались на огне зари, спускались вниз и тонули во мраке; над черным горизонтом двигались дальше только черные папахи и острый лес винтовок. Солдаты шли странным, шатающимся шагом, и непрерывный кашель вился над полком. Это был сплошной сухо-прыгающий шум, никогда я не слышал ничего подобного! И мне стало понятно: ведь всех этих солдат, всех сплошь, нужно положить в госпиталь; если отправлять заболевающих, то от полка останется лишь несколько человек. И вот, значит, сиди в окопах больной, стынь, мокни, пока хватает сил, а там уходи калекой на всю жизнь. И в этом чувствовалась жуткая, но железно-последовательная логика; если людей бросают под вихрь буравящих насквозь пуль, под снаряды, рвущие тело в куски, то почему же останавливаться перед безвозвратно ломающей болезнью? Мерка только одна, — годен ли еще человек в дело. А дальше все равно.

И вот, постепенно и у врача создавалось совсем особенное отношение к больному. Врач сливался с целым, переставал быть врачом и начинал смотреть на больного с точки зрения его дальнейшей пригодности к «делу». Скользкий путь. И с этого пути врачебная совесть срывалась в обрывы самого голого военно-полицейского сыска и поразительного бездушия.

Армия стала наводняться выписанными из госпиталей солдатами, совершенно негодными к службе. Возвращали в строй солдат, еле еще ходивших после перенесенного тифа; возвращали хромых, задыхающихся, с простреленной навылет грудью, могущих с трудом поднять сведенную от раны руку до уровня плеча. Наконец на это

обратило внимание даже военное начальство. В декабре месяце Военно-Полевому Медицинскому Управлению пришлось выпустить циркуляр (№ 9060) такого содержания:

«Главнокомандующий изволил заметить, что в части войск в большом количестве возвращаются из госпиталей нижние чины, либо совершенно негодные к службе, либо еще не оправившиеся от болезней». Ввиду этого врачебным учреждениям рекомендовалось быть впредь более осмотрительными при выписке больных.

Главнокомандующий изволил заметить... Но как же этого не «изволило заметить» военно-медицинское начальство? Как этого не «изволили заметить» сами врачи? Военным генералам приходилось обучать врачей внимательному отношению к больным!

В нашей канцелярии, под руководством полкового делопроизводителя, с утра до ночи кипела темная работа. Составлялись отчетные ведомости, фабриковались счета. Если для подписания счета не находили китайца, то поручали сделать это старшему писарю; он скопировал несколько китайских букв с длинных красных полосок, в обилии украшавших стены любой китайской фанзы.

Смотритель нервничал. Он задумывался; в разговоре часто терял нить; старался показать, что редко заглядывает в канцелярию.

— Состояние, как у только что павшей девицы, — объяснял Селюков. — С одной стороны, ей приятно, она и завтра пойдет на свидание; с другой стороны, неловко как-то на душе, тоже и за последствия страшно.

Младший Брук был уныл, зол, дулся на главного врача и смотрителя. Он всячески старался им показать, что «знает их проделки». Занося в книгу какой-нибудь фальшивый счет, Брук вдруг заявлял:

— Да этот счет подписывал наш старший писарь!

Главный врач равнодушно брал в руки счет и рассматривал его.

— Разве?.. Как искусно подписался, совсем, как китаец!

Вечером, лежа в кровати рядом с смотрителем, Брук говорил:

— Главный врач уверяет, что у нас в госпитале совсем нет экономических сумм. А почему их нет? Недавно главный врач положил себе в карман две тысячи рублей.

— Что-о?.. — Смотритель удивленно выкатывал глаза и садился на своей кровати. — Откуда вы это знаете? Такие обвинения можно высказывать, только имея доказательства. Я завтра опрошу Григория Яковлевича, правда это или нет.

Душа Брука уходила в пятки. Он бледнел и начинал объяснять, что, может быть, ему это только так показалось.

В конце октября мы получили приказ сняться и передвинуться верст на восемь на восток, в деревню Мизантунь. Бросили отделанные для больных фанзы, бросили вырытые для себя солдатами землянки. Перешли в Мизантунь. Больных теперь прямо уж немыслимо было держать в шатрах: стояла глубокая, холодная осень. Принялись за отделку фанз, солдаты нарыли себе землянок. Вдруг новый приказ — перейти в деревню Ченгоузу Западную, версты четыре на северо-запад. Опять все бросили и пошли. Солдаты были злы и раздраженно говорили:

— Рука не заносится, чтоб работать!

Раньше они работали дружно и весело, теперь копали, рубили и мазали вяло, сонно, вполне убежденные в бессмысленности своей работы.

К каждой дивизии придается в военное время по два полевых подвижных госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизию и повсюду следовать за нею. Наша армия стояла под Мукденом с августа до февраля на одном месте.

Но отдельные войсковые части то и дело передвигались и менялись своими местами. А следом за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отделывали фанзы под больных, наконец, развертывались; новый приказ, — опять свертываемся, и опять идем за своей частью. У нас был не полевой подвижной госпиталь, — было, как острили врачи, просто нечто «полевое-подвижное». Учреждение, несомненно, было полевым, несомненно, было подвижным — слишком даже подвижным! — но госпиталем оно не было. Без всякой пользы и толку, оно моталось вслед за дивизией, исполняя свое никому не нужное бумажное назначение.

Армия все время стояла на одном месте. Казалось бы, для чего было двигать постоянно вдоль фронта бесчисленные полевые госпитали вслед за их частями? Что мешало расставить их неподвижно в нужных местах? Разве было не все равно, попадет ли больной солдат единой русской армии в госпиталь своей или чужой дивизии? Между тем, стоя на месте, госпиталь мог бы устроить многочисленные, просторные и теплые помещения для больных, с изоляционными палатами для заразных, с банями, с удобной кухней.

В том сложном, большом деле, которое творилось вокруг, всего настоятельнее требовалась живая эластичность организации, умение и желание приноровить данные формы ко всякому содержанию. Но огромное, властное бумажное чудовище опутывало своими сухими щупальцами всю армию, люди осторожными, робкими зигзагами ползали среди этих щупальцев и думали не о деле, а только о том, как бы не задеть щупальца.

Переехали мы в Ченгоузу Западную. В деревне шел обычный грабеж китайцев. Здесь же стояли два артиллерийских парка. Между госпиталем и парками происходили своеобразные столкновения. Артиллеристы снимают

с фанзы крышу; на дворе из груд соломы торчат бревна переметов. Является наш главный врач или смотритель:

— Вы что это тут, фанзы разорять?.. Не знаете приказа главнокомандующего? Вот я вас сейчас же под суд!

Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получают приказание подобрать бревна и тащить их в госпиталь. Офицеры-артиллеристы проделывали то же самое с нашими солдатами.

Холода становились сильнее. Временами выпадал снег. В Мукдене кубическая сажень дров стоила семьдесят-восемьдесят рублей, вскоре дошла уже до ста. Разорение фанз приняло грандиозный характер. Целые деревни представляли из себя лишь кучи полуразрушенных глиняных стен. Каждый думал только о себе. Если воинская часть занимала в деревне десять фанз, то все остальные она пожирала на дрова. Уходя из деревни, она разоряла последние фанзы и увозила с собой деревянные части. А впереди еще была суровая маньчжурская зима...

В наш госпиталь приехал корпусный контролер со своими помощниками и приступил к ревизии.

С утра до позднего вечера они просидели в канцелярии с главным врачом и смотрителем. Щелкали счеты, слышались слова: «из авансовой суммы», «на счет хозяйственных сумм», «фуражный лист», «приварочное довольствие». Сверяли документы, подсчитывали, следили, чтоб копейка не разошлась с копейкой. Главный врач и смотритель деловито давали объяснения. Все было сбалансировано верно, точно и аккуратно.

Все в армии прекрасно знали, что фураж, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на месте даром, что в Мукдене китайские лавочки совершенно открыто торгуют фальшивыми китайскими расписками в

получении какой угодно суммы. Однако контролеры добросовестно рассматривали каждый китайский счет, тщательно подсчитывали, сходятся ли израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля могло быть только одно, — приучить армию мошенничать аккуратно. И часы напролет люди с деловитым, серьезным видом сидели, щелкали счетами, над ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог и кивал им с ласковым видом сообщника.

Контролеры уехали. Главный врач и смотритель ходили довольные и веселые. Младший Брук корчился от зависти, худел и задумывался.

Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтоб иметь отдельный угол, нам, врачам, пришлось поселиться на другом конце деревни. Ходить оттуда в палаты было далеко, и дежурный врач свои сутки дежурства проводил в канцелярии, где жил Иван Брук. Времени наблюдать его было достаточно.

Стройный и хорошенький, очень любивший свою красоту, он охотно рассказывал, как женился на пожилой дочери статского советника, как крестился для этого.

— И представьте себе, — с недоумением и укором говорил он, — мой старший брат из-за этого порвал со мной всякие сношения! Ну, почему? Когда я так хорошо устроился! За женой мне дали в приданое домик, посмотрели бы вы, какой при нем сад, какие в саду фрукты! Выхлопотали мне место в банке, получаю восемьдесят рублей жалованья...

Он показывал нам все фальшивые документы, рассказывал о мошеннических проделках главного врача.

— Вот недавно Давыдов привез из Мукдена документик. Посмотрите!

На тонкой китайской бумаге было написано: «за проданного быка 85 рублей получил сполна», — и следовала китайская подпись.

— Что ж, восемьдесят пять рублей — это по-божески, — заметил я.

Глаза Брука заблестели весело и лукаво.

— Да, только никакого быка не покупали. Это тот бык, который уже был куплен раньше. Сначала мы провели его по авансовым суммам (довольствие команды), а теперь проводим по суточному окладу (довольствие больных)...

Брук весь сиял от удовольствия, но вдруг глаза его потухали, и он становился злым.

— Но вы понимаете, какие подлецы! Я знаю все их проделки, а мне ничего от них не перепадает! Помните, в Суятуни у нас бывал делопроизводитель полка: ему заведующий хозяйственной частью полка платит за молчание сто рублей в месяц, да еще есть другие доходы...

— Ваня, будет тебе! — брезгливо говорил его брат Давид.

— Но я свое возьму, пусть они не думают! Я все намекаю главному врачу, что мне его шашни известны. Я нарочно одолжил у него пятьдесят рублей, не отдаю и несколько раз намекал, что не считаю себя его должником.

— Вот жулье! — заметил Давид.

— Кто! Я? — удивился Иван.

Давид вздохнул.

— Да-а, и ты, между прочим!

— Нет, вы поймите: я все их фальшивые счета провожу по книгам, а они со мной не делятся!

И Иван задумался.

— Да! Если бы они иначе поставили дело, то я воротился бы с войны богатым человеком.

В его голове мало-помалу зрел план.

— Вы знаете, я думаю, главный врач стесняется, не знает, в какой форме мне предложить! — догадывался он. — На днях я буду иметь с ним объяснение.

Наконец, план созрел. Однажды вечером Брук послал с солдатом-писарем письмо главному врачу такого содержания:

«Многоуважаемый Григорий Яковлевич! Вы не можете не знать, что Вы зарабатываете деньги отчасти благодаря и моей помощи, я был бы Вам очень признателен, если бы Вы хоть часть барышей уделили и мне».

В конверт, вместе с этим письмом, Брук предусмотрительно вложил еще пустой конверт, — «может быть, у Давыдова не окажется под рукой конверта». Солдат отнес письмо главному врачу, тот сказал, что ответа не будет.

Брук прождал в канцелярии два часа, потом пошел к Давыдову. У него сидели сестры, смотритель. Главный врач шутил с сестрами, смеялся, на Брука не смотрел. Письмо, разорванное в клочки, валялось на полу, Брук посидел, подобрал клочки своего письма и удалился.

На следующий день главный врач в канцелярию не пришел, на третий, четвертый день — тоже. Брук подробно рассказывал нам всю историю, замирал и волновался.

— Ужасно я боюсь, вдруг он переведет меня в строй.

— Батенька мой, да ведь вы сами же прямо на это идете! — засмеялся Шанцер.

Глаза Брука забегали, на побелевших губах мелькнула подленькая улыбка.

— Тогда я на всех их донесу! — быстро произнес он.

Воротился старший Брук, ездивший в командировку в Харбин. Главный врач призвал его, рассказал о письме, которое написал его брат, и сказал:

— Я разорвал письмо, жалея вас. Этот мальчишка даже не понимает, что ему грозило за такое письмо. Поговорите

с ним и объясните... Что касается «барышей», — я, действительно, часть сумм не показываю в отчетах, а держу их про запас, на случай, если на меня окажется начет. Вы знаете, как неясны и запутанны военные законы, контроль каждую минуту может признать ту или другую трату незаконной, — и деньги будут взысканы с меня. Если же начета не окажется, и все кончится благополучно, то после войны я эти суммы поделю между всеми.

Давид Брук собирался вечером поговорить с братом, но после обеда Иван уехал с главным врачом в корпусное казначейство. Давид ужасно волновался, — вдруг Иван в дороге опять заговорит с главным врачом о дележке.

Иван вернулся поздно вечером.

— Ты знаешь, я в дороге поговорил с главным врачом, — объявил он брату.

Давид в ужасе всплеснул руками.

— Дурак ты, дурак!

— Ничего не дурак, — спокойно возразил Иван. — Будь покоен, я его лучше знаю. К рождеству мне будет награда, каждый месяц, за усиленные труды по канцелярии, я буду получать добавочных двадцать пять рублей, и, кроме того, он дал мне понять, что пятьдесят рублей, которые я у него одолжил, он считает моими.

По дороге в Маньчжурию и здесь, в самой Маньчжурии, всех нас очень удивляло одно обстоятельство. Армия испытывала большой недостаток в офицерском составе; раненых офицеров, чуть оправившихся, снова возвращали в строй; эвакуационные комиссии, по предписанию свыше, с каждым месяцем становились все строже, эвакуировали офицеров все с большими трудностями. Здесь к нам то и дело обращались за врачебными советами строевые офицеры, — хворые, часто совсем больные. Из прибывших сюда к началу войны многие были до того переутомлены, что, как счастья, ждали раны или смерти.

А рядом с этим масса здоровых, цветущих офицеров занимала покойные и безопасные должности в тылу армии. И что особенно удивительно, — на этих тыловых должностях офицеры и жалованье получали гораздо большее, чем в строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотрителями госпиталей и лазаретов, комендантами станций, этапов, санитарных поездов, заведовали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. Здесь, где их дело легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеров считалась необходимой. А в боях ротами командовали зауряд-прапорщики, т. е. нижние чины, только на время войны произведенные в офицеры; для боя специально-военные познания офицеров как будто не признавались важными. Роты шли в бой с культурным, образованным врагом под предводительством нижних чинов, а в это время пышущие здоровьем офицеры, специально обучавшиеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали в вагонах офицерских экономических обществ конфетами и чайными печеньями.

Однажды к нам в госпиталь приехал начальник нашей дивизии. Он осмотрел палаты, потом пошел пить чай к главному врачу.

— Да, поручик, вот что! — обратился генерал к смотрителю. — Вы переводитесь в строй. Главнокомандующий приказал на покойные тыловые места назначать оправившихся от ран строевых офицеров, а здоровых офицеров переводить в строй. Можете выбрать, в какой из наших полков вы хотите перейти.

Смотритель побелел, как снег, коленки его задрожали, он сразу осунулся и сгорбился.

— Слушаю-с! — упавшим голосом отозвался он.

— Ваше превосходительство! Ну куда ему в строй? — вмешался главный врач. — Офицер он никуда не годный, строевую службу совсем забыл, притом трус отчаянный.

А смотритель прекрасный... Уверяю вас, в строй он будет только вреден.

Генерал сквозь очки мельком взглянул на смотрителя, и в его глазах промелькнула усмешка: смотритель сидел сгорбившись, с неподвижным взглядом и, видимо, нисколько не был задет указанием на его трусость.

— Офицер не может быть трусом, — резко сказал генерал. — И приказа главнокомандующего я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать в штаб, какой вы полк выбираете.

— Слушаю-с! — еще раз отозвался смотритель.

Генерал уехал.

Смотритель резко изменился. Прежде самодовольный, наглый и веселый, он теперь молчаливо сидел и сосредоточенно думал. Приходил за распоряжением фельдфебель, — смотритель вяло махал рукой и отвечал:

— Делайте как хотите!

Шел к сестрам и, стесняя их, целыми часами сидел у них на теплом кхане (лежанке). Сидел, поджав по-турецки ноги, мягкий, толстый, и молчал. Если начинал говорить, то в таком роде:

— Когда меня, раненого, принесут к вам в госпиталь...

Ходил он теперь сильно сгорбившись, и, как паралитичный старик, волочил по земле свои толстые ноги в валеных сапогах.

Приказ главнокомандующего был передан и во все другие учреждения. Повсюду разлилось беспокойство и уныние.

Главный врач все дни проводил в разъездах и усиленно хлопотал за смотрителя. Раньше Давыдов постоянно высказывал недовольство его леностью и нераспорядительностью, да и теперь отзывался о нем так: «На что этот увалень нужен в строю? И тут-то, как смотритель, он никуда не годится!» Однако хлопотал за него дни напролет. «По доброте

душевной. Жалко человека», — объяснял сам Давыдов. Но все кругом ясно видели причину этой доброты. Смотритель был бездеятелен и ленив; юркому, деловитому главному врачу это было только выгодно, всю хозяйственную часть он забрал в свои руки. С другой стороны, смотритель был, по-видимому, человек «честный», т. е. себе в карман ничего не клал и притворялся, что не видит воровства главного врача. С ним, значит, не приходилось делиться. Человек был самый подходящий.

Шли дни. Случилось как-то так, что назначение смотрителя в полк замедлилось, явились какие-то препятствия, оказалось возможным сделать это только через месяц; через месяц сделать это забыли. Смотритель остался в госпитале, а раненый офицер, намеченный на его место, пошел опять в строй.

И так же незаметно, совсем случайно, вследствие непредотвратимого стечения обстоятельств, сложились дела и повсюду кругом. Все остались на своих местах. Для каждого оказалось возможным сделать исключение из правила. В строй попал только смотритель султановского госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить так, чтобы он остался, но у Султанова не было обычая хлопотать за других, а связи он имел такие высокие, что никакой другой смотритель ему не был страшен или неудобен.

И опять по-прежнему на этапах, на станциях, в лазаретах и обозах, — всюду бросались в глаза те же пышущие здоровьем, упитанные офицерские физиономии. Приказ главнокомандующего, как и другие его приказы, бессильной бумажкой несколько времени потрепался в воздухе, пугая простаков, и юркнул под сукно.

В наш госпиталь шли больные, изредка попадали и раненые. Лечить ли их на месте или эвакуировать в тыл? Это был вопрос чрезвычайно сложный, насчет которого начальство никак не могло столковаться. Приезжал корпусный

врач, узнавал, что мы эвакуируем больных, — и разносил. «У вас госпиталь, а вы его обращаете в какой-то этапный пункт! Для чего же у вас врачи, сестры, аптека?!» Приезжал начальник санитарной части Трепов, узнавал, что больные лежат у нас пять-шесть дней, — и разносил. «Почему больные лежат у вас так долго, почему вы их не эвакуируете?» На эвакуации он был положительно помешан.

Генерал Трепов был главным начальником всей санитарной части армии. Какими он обладал данными для заведования этой ответственной частью, навряд ли мог бы сказать хоть кто-нибудь. В начальники санитарной части он попал не то из сенаторов, не то из губернаторов, отличался разве только своей поразительной нераспорядительностью, в деле же медицины был круглый невежда. Тем не менее генерал вмешивался в чисто медицинские вопросы и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чем был совершенно некомпетентен.

Однажды, обходя наш госпиталь, он остановил внимание на одном больном, лежащем в палате хроников.

— Чем он болен?

— Сифилисом.

— Что-о?.. С сифилисом вы кладете в общую палату?!

— Ваше превосходительство, у него третичная стадия, она не заразительна. А отдельной сифилитической палаты у нас нет. Он к нам положен сегодня, завтра мы его эвакуируем.

— Это все равно! Это все равно! Сифилитика класть вместе с другими больными! Чтоб этого у меня никогда больше не было!

Другой раз, тоже в палате хроников, Трепов увидел солдата с хронической экземой лица. Вид у больного был пугающий: красное, раздувшееся лицо с шелушащеюся, покрытой желтоватыми корками кожею. Генерал пришел

в негодование и гневно спросил главного врача, почему такой больной не изолирован. Главный врач почтительно объяснил, что эта болезнь незаразная. Генерал замолчал, пошел дальше. Уезжая, он поблагодарил главного врача за порядок в госпитале.

После каждого посещения высшего начальства представитель военного учреждения обязан извещать свое непосредственное начальство о состоявшемся посещении, с сообщением всех замечаний, одобрений и порицаний, высказанных осматривавшим начальством. Главный врач телеграфировал корпусному врачу, что был начальник санитарной части, осмотрел госпиталь и остался доволен порядком. На следующий день прискакал корпусный врач и накинулся на главного врача:

— Вы мне телеграфировали, что Трепов нашел все в порядке, а у меня был сам Трепов и сообщил, что сделал вам выговор: вы держите заразных больных вместе с незаразными!

Главный врач в недоумении развел руками, объяснил корпусному врачу, в чем дело, и сказал, что не считает генерала Трепова компетентным делать врачам выговоры в области медицины; не телеграфировал он о полученном выговоре из чувства деликатности, не желая в официальной бумаге ставить начальника санитарной части в смешное положение. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговор на другое.

Чтобы быть даже фельдшером или сестрой милосердия, чтоб нести в врачебном деле даже чисто исполнительные обязанности, требуются специальные знания. Для несения же самых важных и ответственных врачебных функций в полумиллионной русской армии никаких специальных знаний не требовалось; для этого нужно было иметь только соответственный чин. Вот документ, — и я совершенно серьезно уверяю читателя, он взят мной не

из юмористического журнала, он помещен в приложении к Приказу главнокомандующего от 18 ноября 1904 г. за № 130.

Временный штат управления главного начальника санитарной части при главнокомандующем

Главный начальник санитарной части (генерал-лейтенант) — 1. Генерал для поручений (генерал-майор) — 1. Состав управления. Начальник госпитального отделения (может быть из врачей) — 1. Начальник эвакуационного отделения (может быть из врачей) — 1. Для поручений: штаб-офицеров — 2, врачей — 3.

Санитарно-статистическое бюро: Заведующий бюро, полковник, может быть генерал-майор (может быть из врачей) — 1. Помощников: врачей — 2.

Управление Главного Полевого Военно-Медицинского Инспектора: Главный полевой военно-медицинский инспектор — 1. Главный полевой хирург — 1. Правитель канцелярии (из врачей) — 1. Чины для поручений: врачей 3-го медицинского разряда — 2, 4-го разряда — 2.

Главная полевая эвакуационная комиссия армии: Председатель комиссии, генерал-майор (может быть полковник) — 1. Помощников председателя — 2. Главный врач комиссии —1. Для поручений — обер-офицеров — 6, врачей — 10.

У японцев врачебно-санитарным делом армии заведовали известные профессора-медики. У нас, как видно из приводимого документа, кроме поста военно-медицинского инспектора, ни одно сколько-нибудь ответственное место с руководящей ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите первый отдел документа, где определяются штаты центрального врачебно-санитарного управления всей армии: генерал-лейтенант, генерал-майор... На второстепенных должностях могут быть врачи, а могут быть и полковники... Обязательно же врачами замещены только три должности — для поручений!

И во всем документе тот же стиль выдержан весьма строго. Кое-где относительно второстепенных должностей снисходительно помечено: «может быть из врачей», вообще же врачам предоставлены лишь самые низшие, чисто исполнительные должности правителей канцелярий, «для поручений» и т. д. И только одно исключение, портящее стиль: относительно главного полевого хирурга не прибавлено, что он только может быть из врачей. Почему? Если начальником санитарной части мог быть бывший губернатор, инспектором госпиталей — бывший полицмейстер, то почему главным полевым хирургом не мог быть, например, бывший полицейский пристав?

Но все это слишком печально, чтобы смеяться... И если бы еще, рядом с невежественными генералами и полковниками, хоть роли их помощников несли талантливые, знающие врачи! Но этого не было. В управлении армии мы не находим ни одного врача, сколько-нибудь авторитетного в научном или моральном отношении. Везде сидели бездарные врачи-чиновники с бумажными душами, прошедшие путь военной муштровки до полного обезличения. Ждать от них таланта, самостоятельного творчества, горячей любви к делу было бы то же самое, что искать теплой крови и живых нервов в стопе канцелярской бумаги. А что такое представляли из себя военные носители высших врачебных должностей, — генералы Трепов, Езерский, Четыркин и др. — это читатель уже отчасти видел, отчасти еще увидит.

Последствия такого состава высшего врачебного управления несла на себе многострадальная русская армия. В первом из боев, при Тюренчене, раненые шли и ползли без помощи десятки верст, а в это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли без дела. И то же самое повторялось во всех следующих боях, вплоть до великого мукденского боя включительно. Громадный запас врачебных сил

с роковой правильностью каждый раз оказывался совершенно неиспользованным, и дело ухода за ранеными обставлялось так, как будто на всю нашу армию было всего несколько десятков врачей.

Наши начальники-врачи на свежую душу производили впечатление поражающее. Я бы не взялся изобразить их в беллетристической форме. Как бы ни смягчать действительность, как бы ни затемнять краски, — всякий бы, прочитав, сказал: это злобный шарж, пересоленная карикатура, таких людей в настоящее время быть не может.

И сами мы, врачи из запаса, думали, что таких людей, тем более среди врачей, давно уже не существует. В изумлении смотрели мы на распоряжавшихся нами начальников-врачей, «старших товарищей»... Как будто из седой старины поднялись тусклые, жуткие призраки с высокомерно бесстрастными лицами, с гусиным пером за ухом, с чернильными мыслями и бумажной душою. Въявь вставали перед нами уродливые образы «Ревизора», «Мертвых душ» и «Губернских очерков».

Иметь собственное мнение даже в вопросах чисто медицинских подчиненным не полагалось. Нельзя было возражать против диагноза, поставленного начальством, как бы этот диагноз ни был легкомыслен или намеренно недобросовестен. На моих глазах полевой медицинский инспектор третьей армии Евдокимов делал обход госпиталя. Взял листок одного больного, посмотрел диагноз, — «тиф». Подошел к больному, ткнул его рукой через халат в левое подреберье и заявил:

— Это не тиф, а инфлуэнца!

И велел непременно переменить диагноз. Военно-медицинский инспектор тыла, при посещении подведомственных ему госпиталей, если слышал от ординатора диагноз «тиф», хмурился и спрашивал:

— А какие вы знаете симптомы тифа?

Один из врачей ответил:

— Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдал и вторично сдавать их вам не обязан.

Дерзкий был за это переведен в полк. Для побывавшего на войне врача не анекдотом, а вполне вероятным фактом, вытекающим из самой сути царивших отношений, представляется случай, о котором рассказывает д-р М. Л. Хей-Син в «Мире Божьем» (1906, № 6); инспектор В., обходя госпиталь, спросил у ординатора:

— Увеличена ли у больного селезенка?

— Как прикажете, ваше превосходительство? — ответил «находчивый» ординатор.

Грубость и невоспитанность военно-медицинского начальства превосходила всякую меру. Печально, но это так: военные генералы в обращении с своими подчиненными были по большей части грубы и некультурны; но по сравнению с генералами-врачами они могли служить образцами джентльменства. Я рассказывал, как в Мукдене окликал д-р Горбацевич врачей: «Послушайте, вы!» На обходе нашего госпиталя, инспектор нашей армии спрашивает дежурного товарища:

— Когда положен этот больной?

— Сегодня.

— Когда ты сюда положен? — обращается он к самому больному.

— Сегодня!

И подобного рода «проверка», которую иной постеснялся бы применить к своему лакею, здесь так беззаботно просто делалась по отношению к врачу!

Рядом с этим высокомерием, пьянившимся своим чином и положением, шло удивительное бездушие по отношению к подчиненным врачам. Эвакуационная комиссия, прозванная за строгость и придирчивость «драконовскою», назначает на эвакуацию врача, перенесшего очень тяжелый

тиф. Д-р Горбацевич, не осматривая больного товарища, ни разу не видев его, отменяет постановление комиссии, и изнуренный болезнью врач водворяется на место его служения. То, что в бытность нашу в Мукдене д-р Горбацевич проделывал с прикомандированными врачами, повторялось не раз. Был я как-то в Мукдене в середине ноября: опять тридцать врачей бегают, не зная, где приютиться, — Горбацевич выписал их из Харбина на случай боя и опять предупредил, чтобы они не брали с собой никаких вещей. И они ночевали при управлении инспектора на голом полу, на циновках.

Одно, только одно горячее, захватывающее чувство можно было усмотреть в бесстрастных душах врачебных начальников, — это благоговейно-трепетную любовь к бумаге. Бумага была все, в бумаге была жизнь, правда, дело... Передо мною, как живая, стоит тощая, лысая фигура одного дивизионного врача, с унылым, сухим лицом. Дело было в Сыпингае, после мукденского разгрома.

— У вас что-нибудь утеряно из обоза? — осведомился начальник санитарной части нашей армии.

— Все утеряно, ваше превосходительство! — уныло ответил дивизионный врач.

— Все? И шатры, и перевязочный материал, и инструменты?

— Нет, это-то уцелело... Канцелярия вся утеряна.

— Так это еще не все.

Генерал пренебрежительно отвернулся, а лицо дивизионного врача стало еще унылее, голова еще лысее...

Наш дивизионный врач выговаривал полковым врачам, что у них заполнены не все графы ведомостей.

— Да у нас для этих граф нет данных.

— Ну... ну... Все равно, пишите фиктивные цифры, а чтоб графы все были заполнены.

В одном из наших полков открылся брюшной тиф. Корпусной врач спросил полкового:

— Дезинфекцию произвели?

— Какая же у нас дезинфекция? У нас нет никаких дезинфекционных средств.

— Произвели вы дезинфекцию? — выразительно повторил корпусной врач.

— Я же вам говорю...

— Надеюсь, вы дезинфекцию произвели?

— Д-да... Но...

— Прекрасно! Пожалуйста, подайте мне рапорт, что дезинфекция произведена.

Когда, в начале ноября, в армию, наконец, были привезены полушубки, солдаты стали заражаться от них сибирской язвою. Появились случаи заражения и в нашей команде. Заработала бумажная машина, от нас во все стороны полетели телеграммы, в ответ полетели к нам телеграммы с строгими приказами: «изолировать», «подвергнуть тщательнейшей дезинфекции», «о сделанном донести»... Мы все сделали, сообщили рапортом. Дивизионного врача не было дома, принял рапорт его помощник, с которым мы были приятели. С серьезным, деловым лицом он принял рапорт, записал, что-то пометил, куда-то что-то отправил. Потом сели пить чай. За чаем он с лукавой усмешкой вдруг спрашивает нас:

— Между нами! А вправду, производили вы дезинфекцию или нет?

Этот приятельский вопрос был моментальным просветом во что-то большое и зловещее; он во всей обнаженности раскрыл перед нами суть дела. Пишут лживые бумаги, начальство читает и притворяется, что верит, потому что над каждым начальством есть высшее начальство, и оно, все надеются, уж взаправду поверит.

Как важна была для врачебного начальства бумага, и как глубоко-безразлично было для него здоровье живого солдата, показывает один невероятный циркуляр временно и. д. военно-медицинского инспектора армии, д-ра Вредена:

В деле снабжения войск и военно-учебных заведений в военное время предметами медицинского довольствия, — пишет доктор Вреден, — имеет важное значение правильное расходование этих предметов. Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство как с характером военных больных, так и с имеющимися в распоряжении армии средствами к удовлетворению нужд этих больных, что приобретается только более или менее продолжительной службой в военном ведомстве, между тем почти половина врачей маньчжурской армии принадлежит к числу призванных из запаса, не служивших вовсе в военно-врачебных заведениях. Прямым следствием их незнания условий военного быта и военно-медицинской службы может быть быстрое израсходование наиболее употребительных средств на таких больных, которые представляя одни только жалобы на болезненные явления вместо действительных страданий, подтверждаемых объективными данными, не нуждались вовсе в лечении, В результате получатся жалобы на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения, тогда как в действительности будет незнакомство врачей с военными больными и неумение пользоваться предоставленными в их распоряжение средствами. Обращая внимание подведомственных мне врачей на это нежелательное явление в расходовании предметов медицинского довольствия, прошу более опытных военных врачей ознакомить своих младших, только что призванных из запаса товарищей с особенностями военно-медицинской службы в деле лечения больных.

Рекомендуя, впрочем, соблюдение экономии в расходовании предметов медицинского довольствия, я имею в виду, главным образом, устранение недостатка в медикаментах для

больных, действительно в них нуждающихся, а вовсе не экономию ради экономии. Хотя в районе маньчжурской армии и в тылу имеются большие запасы медицинского имущества, высланного в потребность армии обществом Красного Креста, но возможность воспользоваться ими во всякое время не может служить оправданием к легкомысленному расходованию медикаментов и перевязочных средств. Кроме того, необходимо иметь в виду, что обращение к помощи Красного Креста может подать повод и к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия. Нисколько не ограничивая позаимствования означенных предметов из запасов Красного Креста, Полевое Военно-Медицинское Управление считает только нужным напомнить врачам, чтоб эти позаимствования имели место лишь в случаях действительной необходимости. (Циркуляр Полевого В.-Медиц. Упр-ния, отдел фармацевтический, № 1156)

Я не знаю, возможно ли полнее, чем в этом циркуляре, обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совести. Действительно, военная медицина — это какая-то совсем особенная медицина. Наша обычная, человеческая, научная медицина только ахнет от противопоставления «одних только жалоб на болезненные явления» «действительным страданиям, подтверждаемым объективными данными»: многие болезни не представляют объективных данных и тем не менее, вопреки поучениям доктора Вредена, очень и очень «нуждаются в лечении». И дело здесь идет даже не о том, чтобы с большей строгостью освобождать больных солдат от работ или эвакуировать их, — нет, дело идет просто о даче лекарств. Сделаем невероятное предположение, что половина больных без «объективных данных» — притворщики, не нуждающиеся в лечении. Казалось бы, что уж для другой половины действительных больных, действительно нуждающихся в лечении, — потому что

ведь не вправду же убежден д-р Вреден, будто каждая болезнь выражается объективными симптомами! — казалось бы, для этих действительно больных можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство притворщикам. Но нет, пусть лучше уж все останутся без лечения, это не так важно; зато не будет «жалоб на недостаток медикаментов, вследствие скупости военно-медицинского снабжения». Вот это много важнее. И, заметьте, — именно жалоб на недостаток боится медицинское управление, а не самого недостатка. Недостатка не будет. Из того же циркуляра мы узнаем, что лекарства и перевязочный материал можно легко достать в Красном Кресте, имеющем их «большие запасы», которыми можно воспользоваться «во всякое время». Но мало ли что! Зато «обращение к помощи Красного Креста может подать повод к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия»...

В своем циркуляре д-р Вреден с большим одобрением отзывается об «опытных военных врачах» и не выказывает никакого сомнения, что они вполне считаются с указанными в циркуляре «особенностями военно-медицинской службы». Клевещет ли доктор Вреден на военных врачей, или они действительно заслуживали его одобрения?

В одном из наших полков появился сильный брюшной тиф. Околоток был битком набит тифозными. Младшие врачи указали на это старшему полковому врачу, военному.

— Да нет, что вы? Это не тиф! Зачем в госпиталь отправлять? Отлежатся и здесь.

Показали ему розеолы, — «неясны»; увеличенную селезенку, — «неясна»... А больные переполняли околоток. Тут же происходил амбулаторный прием. Тифозные, выходя из фанзы за нуждою, падали в обморок. Младшие врачи

возмутились и налегли на старшего. Тот, наконец, подался пошел к командиру полка. Полковник заволновался.

— Нет, нет! В госпиталь отправлять не надо. Зачем? Ведь, бывает, тиф переносят на ногах, это болезнь вовсе не такая опасная... Да и тиф ли еще это?

Но больные все прибывали, места не хватало. Волей-неволей пришлось отправить десяток самых тяжелых в наш госпиталь. Отправили их без диагноза. У дверей госпиталя, выходя из повозки, один из больных упал в обморок на глазах бывшего у нас корпусного врача. Корпусный врач осмотрел привезенных, всполошился, покатил в полк, — и околоток, наконец, очистился от тифозных.

В другом полку нашей дивизии у старшего врача по отношению к больным солдатам было только два выражения: «лодыря играть», «миндаль разводить». В каждом солдате он видел притворщика. Я об этом враче уже рассказывал в первой главе «Записок», как он признал притворщиками двух солдат, которые, по исследовании их младшим врачом, оказались совершенно негодными к службе. У врача этого было положение, — не помечать в отчетах больше двадцати амбулаторных больных в день. В действительности бывало человек по 70–80, но это какое же было бы санитарное состояние полка!

Однажды на моем дежурстве в госпиталь привезли несколько больных солдат. Один бросился мне в глаза своим лицом: молодой парень с низким, отлогим лбом, в глазах — тупое, ушедшее в себя страдание, углы губ сильно опущены.

— Что болит?

— Ваше благородие, он глух, не слышит! — предупредил меня полковой офицер.

Я стал громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Он как будто очнется от глубокой задумчивости, повторит вопрос и ответит.

В октябрьских боях он был ранен пулей в бедро навылет; недавно его выписали из харбинского госпиталя назад в строй; на правую ногу он заметно хромал.

Я его спросил, давно ли он оглох. Солдат рассказал, что года три назад, еще до службы, он возил с братом снопы, упал с воза и ударился головой оземь! С тех пор пошел шум в ушах, головокружение, постепенно развилась глухота.

— Взяли на службу, не поверили, что плохо слышу! — апатично рассказывал он. — В роте сильно обижали по голове, — и фельдфебель, и отделенные. Совсем оглох. Жаловаться побоялся: и вовсе забьют. Пошел в околоток, доктор сказал: «притворяешься! Я тебя под суд отдам!..» Я бросил в околоток ходить.

Весь вечер передо много стояло лицо этого парня, на душе было горько и жутко.

Рассказал я о нем главному врачу. Утром мы исследовали комиссией одного солдата с грыжей для эвакуации в Россию. Я предложил главному врачу исследовать кстати и глухого. Мы подошли к его койке.

— Надень халат! — обычным голосом сказал главный врач, украдкой следя за больным.

Тот не двигался. Главный врач крикнул громче, — солдат заторопился и надел халат.

Принесли инструменты. Шанцер, специалист по ушным болезням, стал отоскопировать больного. Задняя часть одной из барабанных перепонок оказалась утолщенной. Шанцер беспомощно повел плечами.

— Доказать что-нибудь тут очень трудно, — сказал он. — У науки нет средства узнать, симулирует ли больной глухоту на оба уха.

— Ничего, исследуйте! Я узнаю! — с хитрой усмешкой шепнул главный врач.

Он беззаботно разговаривал с солдатом и исподтишка пристально следил за ним. Говорил то громче, то тише, задавал неожиданные вопросы, со всех сторон подступал к нему, — насторожившийся, с предательски смотрящими глазами. У меня вдруг мелькнул вопрос: где я? В палате больных с врачами, или в охранном отделении, среди жандармов и сыщиков?

— Симулирует! — решительно и торжественно объявил главный врач. — Обратите внимание: на вопросы доктора Шанцера он отвечает немедленно, а моих как будто совсем не слышит.

— Вполне понятно, — возразил я. — У Шанцера голос звонкий, а у вас низкий и глухой.

— Нет, нет, вы уж со мной не спорьте, у меня на этот счет есть нюх. Сразу вижу, что симулянт... Ты какой губернии?

Больной вслушался.

— Губернии?.. Пермской губернии! — выкрикнул он.

— Пермской? — значительно протянул главный врач. — Ну, вот видите! Это важное подтверждение: по статистике, жители Пермской губернии стоят на первом месте по вызыванию ушных болезней для избавления от военной службы.

— Не знаю, но, судя по его рассказам, он, несомненно, не симулирует, — возразил Шанцер. — Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчас после падения, а постепенно, сначала был только шум в ушах. Так симулировать мог бы только специалист по ушным болезням, но не мужик.

— Нет, нет, нет! Симулянт несомненный! — решил главный врач. — Вы, штатские врачи, не знаете условий военной службы, вы, естественно, привыкли верить каждому больному. А они этим пользуются. Тут гуманничанье не у места.

Мы возражали яро. Глухота больного несомненна. Но допустим даже, что она лишь в известной степени вероятна, — какое преступление главный врач берет на душу,

отправляя на боевую службу, может быть, глухого, да к тому еще хромого солдата. Но чем больше мы настаивали, тем упорнее стоял главный врач на своем: у него было «внутреннее убеждение», — то непоколебимое, не нуждающееся в фактах, опирающееся на нюх «внутреннее убеждение», которым так сильны люди сыска.

Солдата выписали в полк.

Чем больше я приглядывался к «особенностям военно-медицинской службы», тем яснее становилось, что эти особенности, — отчасти путем отбора, отчасти путем пересоздания человеческой души, должны были выработать, действительно, совсем особый тип врача.

Солдат взят на службу силою, с делом своим никакими интересами не связан, — естественно, он охотно будет притворяться больным. И вот врач подходит к больному не с мыслью, как ему помочь, а с вопросом, не притворяется ли он. Одна необходимость этого постоянного сыска мало-помалу меняет душу врача, развивает в ней подозрительность, желание «поймать», «поддеть» больного. Вырабатывается глубокое, враждебное недоверие к больному солдату вообще. «Лодырь» — это постоянное слово в лексиконе военного врача, для него его пациент прежде всего — лодырь, обратное должно быть доказано. Д-р Хейсин в упомянутой выше статье сообщает про одного военного врача: врач этот давал больным солдатам свой «смесь», состоявшую из таких доз рвотного, чтоб не рвало, а только тянуло к рвоте. «Если больной — лодырь, то в другой раз не придет, и другим закажет!» Я уже рассказывал, как наша армия наводнилась выписанными из госпиталей солдатами, — по свидетельству главнокомандующего, «либо совершенно негодными в службе, либо еще не оправившимися от болезней». Профаны видели, что перед ними — больные люди, а для врачей, затемненных их вытравляющей душу «опытностью»,

все это были только лодыри и лодыри. Очевидно, та же предпосылка о лодырнической сущности русского солдата была в голове и д-ра Вредена, когда он сочинял свой бесстыдный циркуляр.

Другая «особенность военно-медицинской службы» заключалась в том, что между врачом и больным существовали самые противоестественные отношения. Врач являлся «начальством», был обязан говорить больному «ты», в ответ слышать нелепые «так точно», «никак нет», «рад стараться». Врача окружала ненужная, бессмысленная атмосфера того почтительного, специфически военного трепета, которая так портит офицеров и заставляет их смотреть на солдат, как на низшие существа.

Мы были для наших больных «их благородиями», и от желающего требовались большие усилия, чтобы заставить больных не замечать назойливо сверкавшего перед ними, совершенно ненужного для дела, мундира врача.

VI. Великое стояние: декабрь — февраль

В конце ноября мы получили новый приказ — передвинуться за две версты на юг, в деревню Мозысань, где уж почти два месяца спокойно, никем не тревожимый, стоял султановский госпиталь. Мы опять эвакуировали всех больных, свернули госпиталь и перешли в Мозысань. Опять началась отделка фанз под больных. Но теперь она шла на широкую ногу.

Незадолго до нашего приезда в султановском госпитале произошло событие.

Султанов на военной службе был недавно, никаких знаков отличия не имел; за бой на Шахе его представили к первой награде, — Станиславу третьей степени, которого имеет всякий, самый маленький чиновник. А командиру корпуса очень хотелось выдвинуть и выделить Султанова. Для этого он все время держал теперь султановский госпиталь впереди других, чтобы в случае боя он оказался как бы «на передовых позициях», и чтобы Султанова можно было представить к Владимиру. Госпиталь был поставлен в богатую, не занятую воинскими частями деревню; в многочисленных, просторных фанзах можно было с удобством устроиться и самим, и устроить палаты для больных. Госпиталь вышел хорошенький и чистенький, как игрушка, с ним смешно было и сравнивать другие госпитали, ютившиеся в двух-трех убогих, грязных фанзах.

Когда все было готово, командир корпуса устроил так, что главнокомандующий выразил желание осмотреть султановский госпиталь. В ожидании Куропаткина, в госпитале каждый день чистили, мыли, мели, у входа в палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два больших букета из хвойной зелени.

Куропаткин приехал. Но приехал он не по той дороге, по которой его ждали. Он вышел из коляски сердитый, рапорта главного врача не принял.

— Скажите, пожалуйста, что у вас тут за дороги к госпиталю! Я сейчас чуть не вывалился на косогоре. Как же к вам по таким дорогам будут возить раненых?

Он прошел в палату, не обратив внимания на букеты. Подошел к сиявшему рукомойнику, поднял крышку, — внутри рукомойника была грязь. Велел затопить печку, — печка дымила. Осмотрел он все палаты и спросил Султанова:

— Сколько у вас тут мест?

— Сто двадцать, ваше высокопревосходительство!

— Сто двадцать? А сколько штатных мест полагается в подвижном госпитале?

— Мм... Двести, ваше высокопревосходительство, — ответил бледный Султанов.

— Так... Приготовьте шестьсот мест. Обратите внимание на подъездные дороги, печи и рукомойники.

Куропаткин уехал, очень мало восхищенный. Султанов лениво потирал руки и говорил своим небрежным, насмешливым голосом:

— Беда с этим начальством! Чего его к нам понесло? Его высокопревосходительству захотелось совершить легкую послеобеденную прогулку, а мы за это страдай!

Через два дня приехали какие-то полковник и врач, спросили Султанова. Он вышел.

— Мы от главнокомандующего, — вежливо заявил врач. — Исполнены его указания?

Султанов растерялся.

— Когда же я мог успеть?

— То есть, как это? — удивился врач. — А меня главнокомандующий еще вчера посылал, да я не успел... Приступлено ли, по крайней мере, к началу работ?

— Д-да... Мы написали в штаб дивизии...

— Полноте, это не дело, а бумагомарание. А сделали-то вы что?

— Что же я могу сделать? У меня на это и средств нет.

Врач задумчиво покручивал бородку.

— Значит, так и доложить главнокомандующему?..

И они уехали.

Куропаткин телеграммой известил корпусного командира, что нашел госпиталь в полном хаосе, относит это всецело к нераспорядительности начальствующих лиц и приказывает принять самые энергичные меры к приведению госпиталя в порядок.

Султанов притворялся беззаботным, посмеивался и говорил:

— Мне что! Только бы не повесили, а на остальное наплевать! Ведь все мы ехали сюда исключительно затем, чтоб получать неприятности. Ну, а одной больше или меньше, — не все равно?

Работа в деревне закипела. Корпусный командир прислал роту саперов для исправления дорог и отделки фанз. Было решено обратить деревню в целый госпитальный городок, в нее перевели наш госпиталь и дивизионный лазарет. Командир корпуса выхлопотал на оборудование госпиталей три тысячи рублей и заведующим работами назначил Султанова.

В ожидании, пока будут отделаны фанзы для нашего госпиталя, мы сидели без дела. Работы вскоре пошли вяло и медленно. Зато помещения Султанова и Новицкой отделывались на диво. Саперный офицер, заведовавший работами, целые дни сидел у Султанова, у него же и обедал.

В султановском госпитале шли непрерывные праздники. То и дело приезжал корпусный командир, приезжали разные генералы и штабные офицеры. Часто Султанов с Новицкой и Зинаидой Аркадьевной уезжали на обеды к корпусному.

В госпитале полною, бесконтрольной хозяйкой была Новицкая. Солдаты команды обязаны были вытягиваться перед ней во фронт. Врачам смешно было и подумать, чтобы Новицкая стала исполнять их приказы: она их совершенно игнорировала. То и дело происходили столкновения.

Новицкая была в госпитале старшей сестрою, за больными не ухаживала, а заведовала хозяйством. Порции для больных обыкновенно выписывались с вечера. Однажды врач забыл вечером выписать порции; палатная сестра пришла к Новицкой утром за яйцами и молоком.

— У вас не выписано, я не выдам!

Врач написал требование, сестра с этим требованием пришла к Новицкой вторично.

— Скажите вашему доктору, что не будет ему ни молока, ни яиц! Пусть пишут вовремя! — объявила Новицкая.

Сестра воротилась в палату, сообщила врачу. Врач в недоумении опустил голову. Вошел в палату старший ординатор, д-р Васильев. Врач сообщил ему о последовавшем «высочайшем отказе», — как же теперь быть? Значит, голодать больным? В это время в палату вошла Новицкая.

— А, вот она и сестра! — сказал Васильев. — Потрудитесь сейчас же отпустить для больных молока и яиц!

— Я сказала, не будет вам ничего! Вперед будете выписывать с вечера!

Маленькие, черные глаза Васильева свирепо выкатились и заворочались.

— Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите?.. Сестра! Я, старший ординатор, приказываю вам немедленно отпустить для больных молоко и яйца!

— Ни молока, ни яиц вам не будет! — отрезала Новицкая и вышла, хлопнув дверью.

Больные солдаты в недоумении смотрели. Васильев пошел к главному врачу. Султанов пил кофе с каким-то полковником.

— Господин главный врач! Позвольте узнать, это по вашему приказанию решено проморить сегодня слабых больных голодом?

— Что такое? В чем дело? — поморщился Султанов. — Что за вздор вы говорите?

Он распорядился выдать молоко и яйца.

Команда султановского госпиталя голодала. Наш главный врач крал вовсю, но он и смотритель заботились как о команде, так и о лошадях. Султанов крал так же, так же фабриковал фальшивые документы, но не заботился решительно ни о ком. Пища у солдат была отвратительная, жили они в холоде. Обозные лошади казались скелетами, обтянутыми кожей. Офицер-смотритель бил солдат беспощадно. Они пожаловались Султанову. Султанов затопал ногами и накричал на солдат.

— Не знаете порядка? Вы должны передавать мне ваши претензии через смотрителя!

По удивительным военным правилам, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свою я обязан подавать ему же. Наиболее смелые солдаты отправились к смотрителю, изложили свои претензии на него и попросили передать эти претензии дальше.

— Вот вам претензии! Вот вам «дальше»! — ответил смотритель и нагайкой избил жалобщиков.

Солдаты видели постоянно пирующих в их госпитале генералов и понимали, как бессмысленно ждать от них заступничества. И ходили они, — угрюмые, молчаливые, вечно какие-то взъерошенные, и на них было тяжело смотреть.

Султановский госпиталь начинал входить в славу не только в корпусе, но и во всей нашей армии. Повсюду рассказывали о выходках Султанова и Новицкой, об их всемогуществе. За глаза ругали, в глаза были вежливы и предупредительны. Никаких законов, никаких приказов для Султанова не существовало. Из штаба корпуса то и дело

приходили в наши учреждения приказы, — то прислать в штаб по десяти повозок для перевозки в штаб фуража и дров, то передать в штаб из хозяйственных сумм по нескольку сот рублей на приобретение для штаба стереотрубы или экипажей-американок. Все учреждения, разумеется, немедленно исполняли приказы, Султанов же оставлял их даже без ответа.

Персонал дивизионного лазарета, тоже переведенного в нашу деревню, великолепно отделал фанзу для своего помещения: сложили хорошо и ровно греющую печку, потолок оклеили белыми обоями, стены обили золотистыми циновками, в окна вставили стекла. Зашли к ним Султанов с Новицкой. Они загадочно-внимательно оглядывали фанзу, любовались ей и восхищались. А через два дня вдруг из корпуса пришел приказ, — дивизионному лазарету передвинуться из Мозысани в деревню Ченгоузу Восточную. Передвижение ненужное, бессмысленное, — всего на версту на север. Всем было ясно, что это — дело Султанова и Новицкой, которым приглянулась фанза.

— И чего ей еще? И так чуть не во дворце живет! — возмущались изгоняемые врачи.

Однажды дивизионный врач получил от Султанова бумагу. В этой бумаге Султанов писал, что «по личному приказанию командира корпуса» он представляет сестер милосердия своего госпиталя к наградам: сестер Новицкую и Буланину (Зинаиду Аркадьевну) — к золотым медалям на анненской ленте «за усердный и самоотверженный уход за ранеными в бою на р. Шахе»; двух других сестер, как раз, действительно, работавших с самоотвержением, Султанов представлял к серебряным медалям на Станиславской ленте просто «за уход за ранеными».

Это представление возмутило даже нашего дивизионного врача, — дряхлого, себялюбивого чинушу, полного

только думами о себе. Он сделал на бумаге приписку, что, по его мнению, золотой медали заслуживает также и сестра Валежникова (Вера Николаевна), тем более, что, ухаживая за больными, она заразилась тифом.

— А Новицкую к золотой медали представлять не за что, — заметил ему его помощник. — Все ведь знают, что она больных даже и не видит, а только ездит на обеды в штаб... Довольно с нее и серебряной медали.

Помощник дивизионного врача был человек с живой душою. Своим дряхлым и туповатым патроном он вертел, как хотел. Но тут, в первый раз за всю их совместную службу, дивизионный врач сверкнул глазами и рявкнул на него:

— Это не ваше дело! Прошу молчать!

Узнав о представлении Султанова, наш главный врач поспешил представить к медалям и своих сестер, — старшую, имевшую уже серебряную медаль за свою службу в России, к золотой, остальных — к серебряным.

Представления прошли очень скоро. Только Вера Николаевна получила-таки, кажется, серебряную медаль. Новицкая, жившая все время «в высших сферах», высокомерно игнорировала мнение других сестер, но Зинаиде Аркадьевне было неловко. Она забежала к нашим сестрам, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама сияя от радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашим сестрам даны серебряные медали, «когда все одинаково работали». Объясняла она это тем, что, будто бы, дворянкам полагается давать золотые медали, а недворянкам — серебряные.

— Ведь это просто возмутительно!.. — либеральничала она. — Ну, да это уж пускай бы. Раз такой закон, то ничего не поделаешь. А почему о нас с Новицкой Султанов написал лучшие реляции, чем о других сестрах? Ведь все мы работали совсем одинаково. Я положительно не могу выносить таких несправедливостей!.. — И сейчас же, охваченная своей

радостью, прибавляла: — Теперь обязательно нужно будет еще устроить, чтоб получить медаль на георгиевской ленте, иначе не стоило сюда и ехать.

Наступил канун Рождества. Японцы перебросили в наши окопы записочки, в которых извещали, что русские спокойно могут встречать свой праздник: японцы мешать им не станут и тревожить не будут. Разумеется, коварным азиатам никто не верил. Все ждали внезапного ночного нападения.

В сочельник под вечер к нам пришел телеграфный приказ: в виду ожидающегося боя, немедленно выехать в дивизионный лазарет обоим главным врачам госпиталей, захватив с собой по два младших врача и по две сестры. Наш дивизионный лазарет уже несколько дней назад был передвинут из Ченгоузы версты на четыре к югу, к самым позициям.

Приказ представлял собой вопиющее беззаконие: главного врача госпиталя ни в коем случае нельзя откомандировывать от его госпиталя, раз госпиталь открыт. При данных же обстоятельствах эта командировка главных врачей на позиции была прямой нелепостью; если предстоит жестокий бой, то работы будет много не только в дивизионном лазарете, но и в госпиталях; как же можно было оставлять госпитали без главных врачей? К тому же было совершенно неизвестно, понадобятся ли еще лишние врачи в лазарете, даже будет ли вообще бой.

Дело не оставляло никаких сомнений: Султанову нужен Владимир с мечами, Новицкой и Зинаиде Аркадьевне нужны медали на георгиевских лентах. Если командировать одного Султанова с обеими девицами, то это слишком бы бросилось всем в глаза. И вот, «на позиции» было двинуто по половине наличного врачебного состава обоих госпиталей.

Стемнело уже давно, мы выехали с фонарями. Ночь стояла тихая, темная и весенне-теплая; снегу не было. Приехали мы в дивизионный лазарет, стали пить чай. Все смеялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Приехал Султанов с двумя своими врачами — и без сестер.

— А что же ваши сестры?

— Они поехали на елку к корпусному командиру, — ответил Султанов.

Поехали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна, — почему же Султанов не взял двух других сестер? Но никому и в голову не пришло спрашивать, все понимали, что, если было сюда ехать, то именно Новицкой и Зинаиде Аркадьевне... А был дан совершенно определенный приказ приехать с сестрами.

Часу в девятом раздался один ружейный выстрел, другой, — и вскоре на наших позициях затрещал бешеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки. Все примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрельба распространялась все шире, бухали пушки, и снаряды с завыванием уносились вдаль.

Мы приготовились к приему раненых. Раненых не привозили. А пальба перекатывалась бешено и лихорадочно, мимо скакали в темноте взволнованные ординарцы... На японских позициях засветился прожектор, голубоватый луч медленно пополз по нашим позициям.

Раненых мы так и не дождались. К полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утром воротились домой. Необычная мобилизация госпитального персонала «на позиции» оказалась совершенно излишнею.

Расскажу кстати, что это была за пальба.

Разыгралась одна из самых смехотворных историй за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикой. Царило глубокое убеждение, что японцы в эту ночь что-то нам готовят, нервы у всех были напряжены. Охотники одного из наших полков услышали в темноте быстро приближавшийся со стороны японцев широкий, легкий, частый топот. Охотники открыли огонь. Уверяют, что это было стадо китайских свиней; оно вырвалось откуда-то из закуты и бежало по полю. Огонь охотников был подхвачен сидевшим в окопах батальоном, оттуда огонь передался в соседние части, дали знать в батареи, — и пошла канонада. Офицеры, бывшие в это время на сопках, рассказывали мне: сверху вдоль русских окопов были видны сплошные, мерцающие огненные линии от ружейных выстрелов. Командир батальона, обнаружившего наступление свиней, послал командиру полка телеграмму: «дольше держаться не могу, пришлите подкрепление». (Многие офицеры честным словом заверяли меня, что это факт) Стали рвать фугасы. Взорвали один фугас, другой взорвался сам собой...

И тут все сгорели со стыда: огонь взрывов осветил вокруг полнейшую пустыню. Нигде ни одного врага. Между тем начали, наконец, отвечать из своих окопов и японцы, засветился их прожектор и с недоумением стал шарить по нашим позициям, бешено трещавшим выстрелами.

Во всеподданнейшей телеграмме Куропаткина событие это было изложено так:

В ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить нас на фронте центральной части нашего расположения. Своевременно обнаруженные нашим сторожевым охранением, они встречены были артиллерийским и ружейным огнем и после перестрелки отошли назад. У нас ранен зауряд-прапорщик, убито 3 и ранено 17 нижних чинов.

Куропаткин только не прибавил, что они были убиты и ранены русскими пулями; пострадавшие находились впереди окопов, в дозорах и секретах, и на них обрушился весь вихрь пуль.

Впрочем, как уверял один шутник-офицер, были и японцы, пострадавшие в эту достопримечательную ночь: разведчики нашли во вражеских окопах трупы нескольких японцев, лопнувших от смеха.

Однажды в наш госпиталь принесли из соседней деревни несколько тяжело раненных солдат. Раны были ужасны: одному оторвало обе руки, другому разорвало живот, у остальных были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены были они вот как: полк пришел с позиции на отдых в деревню; один солдат захватил с собой подобранную на позициях неразорвавшуюся японскую шрапнель; солдаты столпились на дворе фанзы и стали рассматривать снаряд: вертели его, щелкали, начали отвертывать дистанционную трубку. Разумеется, произошел взрыв. Троих убило наповал, одиннадцать тяжело ранило. Пострадало три-четыре солдата, просто шедшие мимо получать у каптенармуса валенки... Погибло полтора десятка человек. Из-за чего? Из-за «несчастной случайности»?

Нет, это не была несчастная случайность. Если заставить слепых людей бежать по полю, изрытому ямами, то не будет несчастной случайностью, что люди то и дело станут попадать в ямы. Русский же солдат находился именно в подобном положении, и катастрофы были неизбежны.

Вся война была одним сплошным рядом такого рода катастроф. Выяснялось с полной очевидностью, что для победы в современной войне от солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разум человека. Этого-то у русского солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный в своем

беззаветном мужестве, в железной выносливости, — он был жалок и раздражающ своей некультурностью и умственной мешковатостью.

Если бы даже вся организация нашей армии представляла собой на диво стройную, прекрасно налаженную машину, — а в действительности и машина-то была на диво неуклюжая и неслаженная, — то и тогда это невежество солдата было бы песком, тершимся между всех колесиков машины.

— Как эта деревня называется?

— Не могим знать!

— А вы здесь давно стоите?

— Четвертый месяц.

Китайцы выселены, спросить некого, дело спешное, — и беспомощно смотрит посланный на свой план, и не может узнать, так ли он едет, как нужно.

— Где-то тут неподалеку должна быть деревня Людогоу, не знаете вы ее?

— Никак нет!

Посланный едет дальше, блуждает. Наконец оказывается, — деревня, где он спрашивал солдат, и была как раз Людогоу!

Сами солдаты беспомощно блуждали по местности, не умея ни пользоваться компасом, ни читать карт. В боях, где прежняя стадная колонна теперь рассыпается в широкие цепи самостоятельно действующих и отдельно чувствующих людей, наш солдат терялся и падал духом; выбивали из строя офицера, — и сотня людей обращалась в ничто, не знала, куда двинуться, что делать.

Между позициями, позади позиций, — везде шла предательская, неуловимая разрушительная работа. В нужный момент самые необходимые приспособления

оказывались испорченными... Пусть за меня рассказывают официальные приказы:

Проводимые в районе действия наших войск линии военного телеграфа, шестовые и кабельные, нередко подвергаются порче самими же войсками и обозами. Так, напр., замечены случаи, что войска располагались биваками под самыми линиями телеграфа, и однажды костер был разведен на телеграфном кабеле; к телеграфным шестам привязывали лошадей; едущие казаки пиками обрывали проволоку; при прогоне порционного скота по полям, без дорог, скот валит и ломает шесты и рвет провод; при осмотре кабеля, подвешенного к деревьям, случалось, что находили не только срубленные ветки, на которых висел кабель, но и разрубленный кабель; также при осмотре кабеля оказывались надрезы изолировки, а иногда зачистки ее с оголением жилы, что делается, вероятно, из любопытства. Главнокомандующий изволил прикачать обратить внимание и т. д. (Приказания главнокомандующего, 14 ноября 1904 г., № 69).

Обращено внимание, что поломка телеграфных шестов войсковыми обозами и конными фуражирами, несмотря на неоднократные приказания о принятии против сего войсковым начальством надлежащих строгих мер, все еще продолжается. Ежедневно (!) поступают жалобы на перерыв телеграфных сообщений вследствие небрежного обращения войск с телеграфными линиями. Повозки, транспорты и вьюки следуют часто по сторонам проезжих дорог, задевают и ломают шесты Главнокомандующий приказал вновь обратить внимание и т. д. (Приказ главнокомандующего, 5 декабря 1904 г., № 168).

Замечено, что на участке, находящемся в наших руках к югу от станции Суятунь, полотно железной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами, которые растаскивают шпалы на протяжении целых звеньев. То же небрежное отношение и отсутствие сознания причиняемого вреда проявляется среди нижних чинов и в отношениях их к линиям полевого телеграфа, мостам, гатям и другим техническим сооружениям,

устройство и поддержание в исправности которых стоит огромных затрат и усилий. (Приказ войскам. 3-й Маньчжурской армии 1 янв. 1905 г., № 15).

Медленно и тягуче месяц шел за месяцем. Две огромные армии неподвижно стояли друг против друга; обе усиленно укреплялись и окапывались. Постепенно выросли одна против другой как бы две длинные, в десятки верст, крепости, неприступно укрепленные, снабженные тяжелыми осадными орудиями. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты, друг с другом они соединялись земляными ходами. Обе армии, как кроты, закопались в землю, тысячи глаз пристально глядели из рвов, и в каждого неосторожного сейчас же летели пули. Было холодно, люди стыли в окопах, от неподвижного стояния опухали ноги и атрофировались ножные мышцы, выходя из окопов, солдаты шатались и шли, как пьяные.

На позициях были холод, лишения, праздное стояние с постоянным нервным напряжением от стерегущей опасности. За позициями, на отдыхе, шло беспробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и в убогих мукденских ресторанах. На улицах Мукдена китайские ребята зазывали офицеров к «китайска мадама», которые, как уверяли дети, «шибко шанго». И кандидаты на дворе фанзы часами ждали своей очереди, чтоб лечь на лежанку с грязной и накрашенной четырнадцатилетней китаянкой.

Настроение армии было мрачное и угрюмое. В победу мало кто верил. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько тысяч штыков увеличивается в месяц наша армия, надеялись на балтийскую эскадру, на Порт-Артур... Порт-Артур сдался. Освободившаяся армия Ноги двинулась на соединение с Оямой. Настроение падало все больше, хотелось мира, но офицеры говорили:

— Как тогда воротиться? Хоть снимай мундир, совестно будет показаться на улице.

Было немало офицеров, которые о мире не хотели и слышать. У них была своеобразная военная «честь», требовавшая продолжения войны.

У солдата никакой такой «чести» не было, войны он совершенно не понимал и напрасно добивался от кого-нибудь разъяснений.

— Ваше благородие, из-за чего эта война? — спрашивал он офицера.

— Японец виноват, мы не хотели. Он на нас первый напал.

— Точно так... А только ведь без причины чего ж ему нападать?

Молчание.

— Вот, говорят, из-за Маньчжурии этой война. Да на что она нам? Мы бы тут и задаром не стали жить. А через Сибирь ехали, — вон сколько везде земли, конца нет...

Положение желавших «поддержать дух армии» было чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намека найти на что-нибудь, что зажигало бы душу желанием подвига, желанием борьбы во имя чего-то высокого и светлого.

При штабе главнокомандующего издавалась специальная газетка «Вестник Маньчжурских Армий». Газетка эта, имевшая задачей играть роль Тиртея русской армии, представляла из себя нечто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствию огня и вдохновения. Казенно-слащавые фразы о вере, царе и отечестве, о чести родины, бахвальство без меры и без оглядки — вот что должно было питать дух участников титанической борьбы, где от канонады в потрясенном насквозь воздухе сгущались грозы, и целые равнины устилались кровавыми коврами трупов. Мне не раз еще придется цитировать эту поистине замечательную газетку.

А вот в каком роде писали патриотические авторы брошюрок, в большом количестве распространявшихся среди

солдат. Передо мной изящно изданная книжка, с прекрасными иллюстрациями, под заглавием: «В осажденном Порт-Артуре, или геройская смерть рядового Дмитрия Фомина». Начинается рассказ так:

— Нет, брат-япоша, моих рук тебе не миновать, отведаешь теперь русских щей да каши, блюда-с — за первый сорт...

Так думал рядовой Дмитрий Фомин, находясь в засаде с ружьем наготове и зорко следя за японским разведчиком.

Японец ползет по скалам, рискуя каждую минуту свалиться.

«И японцу тоже не легко, думал Фомин, он тоже ведь исполняет приказания своего начальства». И ему даже жаль стало японца. В другое время Фомин наверно помог бы ему вскарабкаться, но теперь, полный готовности исполнить приказания своего собственной начальства и угодить ему, он ждал, не мог дождаться, пока японец не приблизится к нему настолько, чтоб наброситься на него неожиданно и схватить его…

Бедная русская армия, бедный, бедный русский народ! Вот что должно было зажечь его огнем борьбы и одушевления, — желание угодить начальству!.. Но напрасно автор-патриот думает, будто и японцы только «исполняли приказания своего начальства». Нет, этот огонь не греет души и не зажигает сердца. А души японцев горели сверкающим огнем, они рвались к смерти и умирали, улыбаясь, счастливые и гордые.

Немирович-Данченко сообщает, что однажды, в частной беседе, Куропаткин сказал: «Да, приходится признать, что в настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами». Признать это приходилось всякому, имеющему

глаза и уши. Времена, когда русская «святая скотинка» карабкалась вслед за Суворовым на Альпы, изумляя мир своим бессмысленным геройством, — времена эти прошли безвозвратно.

Каждый день в наш госпиталь привозили с позиций раненых. Поражало, какая масса их ранена в кисти рук, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмерное постоянство таких ран вскоре бросилось в глаза. Приходит дежурный фельдшер, докладывает:

— Ваше благородие, пять раненых привезли.

— В руки ранены?

— Так точно! — сдерживая улыбку, отвечает фельдшер.

Расспрашиваешь солдата, при каких обстоятельствах он ранен. Раненый путается, сбивается. «Протянул руку за ковыльяном», «потянулся на бруствер за патронами»... Сестрам, с которыми солдаты меньше стеснялись, они прямо рассказывали.

— Как случилось! Высунешь одни руки и стреляешь. Ведь вот, в руку попало. А высунь-ка я голову, — прямо бы в голову и угодило.

Главный начальник тыла в одном из своих приказов пишет:

В госпитали тыла поступило большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. Из них с пораненными только указательными пальцами — 1200. Отсутствие указательного пальца на правой руке освобождает от военной службы. Поэтому, а также принимая во внимание, что пальцы хорошо защищаются при стрельбе ружейной скобкой, есть основание предполагать умышленное членовредительство. В виду вышеизложенного главнокомандующий приказал назначить следствие для привлечения виновных к законной ответственности.

Солдаты только и жили, что ожиданием мира. Ожидание было страстное, напряженное, с какою-то почти мистической

верой в близость этого желанного, все не приходящего «замирения». Чуть где на стоянке раздастся «ура!» — солдаты всех окрестных частей встрепенутся и взволнованно спрашивают:

— Что это? Не замирение ли?

Однажды утром, в середине января, мой денщик говорит мне:

— 27-го числа война кончится. — И загадочно улыбается.

— Через год? — усмехнулся я.

— Никак нет, в этом месяце, — ответил он уверенно.

И рассказал мне историю. В Кромском полку есть солдат-провидец. Он сообщил товарищам, что война кончится ровно через год после ее начала, 27 января 1905 года. Ротный узнал про это предсказание и поставил провидца на три часа под ружье. Идет мимо командир полка, спрашивает: — «За что стоишь?» — За правду, ваше высокородие! — «За какую правду?» — Солдат рассказал. — «Ну, передай твоему ротному, чтоб он тебе от меня еще три часа набавил». — Нет, ваше высокородие, вы меня не обижайте, а вот послушайте, что я скажу! Вам на почте письмо лежит, а в том письме прописано, что у вас братец в России помер. — Оказалось верно. Полковник пошел и все рассказал Куропаткину. Куропаткин вызвал солдата, стал на него кричать и топать ногами, а солдат говорит: «Ваше высокопревосходительство! У вас в правом кармане коробка спичек, а спичек в ней сорок две штуки». Куропаткин пересчитал спички, — верно. Он оставил солдата при себе. «Если, — говорит, — сбудется, как ты сказал, произведу тебя в офицеры, не сбудется, — расстреляю».

Пошел я в палату. Раненые оживленно говорили и расспрашивали о предсказании кромца. Быстрее света, ворвавшегося в тьму, предсказание распространилось по всей нашей армии. В окопах, в землянках, на биваках у

костров, — везде солдаты с радостными лицами говорили о возвещенной близости замирения. Начальство всполошилось. Прошел слух, что тех, кто станет разговаривать о мире, будут вешать.

— Ну-у!.. Веревок не хватит! — с усмешкой возражали солдаты.

Мы посмеивались над предсказанием, но, — человеческая натура! — так хотелось мира, что, вопреки очевидности, в глубине души все-таки жило какое-то глупое, радостное ожидание. И слухи шли, подкреплявшие это ожидание. Рассказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательные ведомости только на три месяца вперед, а не на шесть, как было раньше; войскам велено не запасать провианту, а потреблять уже заготовленные консервы; германский император каждый день, будто бы, бывает то у русского посла, то у японского, войск из России больше уже не отправляют... Рассказывали, что январский фланговой бой у Сандепу был предпринят по приказанию из Петербурга, чтобы в последний раз попытать счастья. Уложили пятнадцать тысяч человек и не могли взять одной деревни. Рассчитали, что если начать бой по всему фронту, то придется уложить сотни тысяч людей без всякого результата, — и начали переговоры о мире. В апреле месяце, сообщали слухи, мы уже поедем домой.

Пришло 27 января. Мира, конечно, нет. Мы смеемся, напоминаем солдатам об их вещем кромце. Они конфузятся и чешут за ухом.

— Значит, ошибся...

Было горькое разочарование. И слухи пошли уж совсем другие: решено сформировать новую трехсоттысячную армию для Кореи, построить новый огромный флот; Япония рассчитывает воевать еще в течение всего 1905 года...

На душе у всех было тяжело и смутно.

В большом количестве в госпитали шли офицеры. В одном из наших полков, еще не участвовавшем ни в одном бою, выбыло «по болезни» двадцать процентов офицерского состава. С наивным цинизмом к нам заходили офицеры посоветоваться частным образом, нельзя ли эвакуироваться вследствие той или другой венерической болезни.

— Знаете, с сентября уж месяца здесь, надоело, хочется в Россию.

Эвакуировался один из адъютантов штаба нашей дивизии, по доброй воле поехавший на войну.

— Зачем же вы ехали?

— Мы все были убеждены, что в октябре война кончится, что будет она вроде китайской. А для движения по службе поехать было выгодно.

На моем дежурстве явился в наш госпиталь один высокий, бравый капитан.

— Здравствуйте, доктор! — сказал он солидным, барским басом, протягивая руку. — Вот, приехал лечь к вам в госпиталь.

— Что у вас болит?

— Видите ли, в чем дело. Я человек уж не молодой, притом женатый, избалованный. Имею в Москве собственность. Оставаться здесь я решительно больше не в состоянии. В этих окопах и землянках такие антисанитарные условия, что прямо невозможно! Я начал кашлять, в ногах ломота... Пули, снаряды, — этого я, разумеется, не боюсь; но, знаете, ревматизм захватить на всю жизнь — приятного мало... Вы меня будьте добры только эвакуировать в Харбин, у меня там в эвакуационной комиссии есть один хороший приятель-москвич, там я уж устроюсь...

Когда появлялся слух о готовящемся бое, волна офицеров, стремившихся в госпитали, сильно увеличивалась. Про этих «героев мирного времени» в армии сложилась целая песенка.

Пришел приказ идти вперед,
В госпиталя валит народ, —
Вот так кампания!
Вот так кампания!..
Шимоза мимо пролетела,
Меня нисколько не задела,
Но я контужен!
Но я контужен!
Свидетельство я получу
И вмиг на север укачу,
Ведь юг так вреден!
Ведь юг так вреден!..

Командиры рвали и метали, глядя на бегство своих офицеров. Приехал к нам в госпиталь один штабс-капитан с хроническим желудочно-кишечным катаром. К его санитарному листку была приложена четвертушка бумаги с следующими строками командира полка:

«По глубокому моему убеждению штабс-капитан N. страдает тыломанией, — болезнью, к сожалению, очень распространенною, среди гг. офицеров. Прошу это мое заявление приложить к санитарному листку».

Заведовать офицерской палатой было мучительно, Больные изводили своими мелочными, пустяковыми жалобами.

— Ах, да, доктор! Я вам забыл сказать! — басил московский собственник. — Я замечаю еще, что за последние два месяца у меня сильно похудели руки и ноги.

Другой сообщал:

— Прошлой весной я лечился в Крыму кактусом. Как, по-вашему, не следует ли мне еще раз повторить курс этого лечения?

— Доктор, у меня еще вот что бывает, — заявлял третий. — Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота.

— Да это у всех так.

— Нет, у меня как-то особенно.

Иногда хотелось остановиться посреди палаты и хохотать без удержу. Это — воины! Всю жизнь они прожили на хлебах народа, и единственным оправданием их жизни могло быть только то, от чего они теперь так старательно увертывались. Теперь, впрочем, смеяться мне уж не хочется...

Однажды в наш госпиталь неожиданно приехал Куропаткин. Черные с сединой волосы, умный и твердый взгляд на серьезном, сумрачном лице, простой в обращении, без тени бурбонства и генеральства. Единственный из всех здешних генералов, он безусловно импонировал. Замечания его были дельны и лишены самодурства.

Между прочим, Куропаткин зашел и в офицерскую палату.

— Вы чем больны? — обратился он к одному офицеру.

— Общее нервное расстройство, ваше высокопревосходительство! — ответил офицер и, спеша воспользоваться случаем, прибавил: — за меня хлопочет начальник дивизии, чтобы перевести на нестроевую должность.

— Кто хлопочет? — спросил Куропаткин, слегка подняв брови.

— Начальник ** дивизии, ваше высокопревосходительство!

— А вы чем больны? — обратился Куропаткин к другому офицеру.

— Простуда, ломота в суставах, кашель, — поспешно перечислял тот свои болезни.

Куропаткин слегка вздохнул, спросил третьего, четвертого, и молча, не прощаясь, вышел.

Видимо, впечатление было для него старое и знакомое. Еще месяц назад он издал следующий, полный насмешки и яду, приказ:

Из полученных от санитарно-статистического бюро сведений оказывается, что болезненность на тысячу списочного состава среди нижних чинов армии лишь немногим превышает болезненность мирного времени; болезненность же среди офицеров превышает более, чем вдвое, болезненность нижних чинов. Обращаю на это внимание всех начальствующих лиц. Обращаю внимание также на то, что именно офицеры, находясь в лучших санитарных условиях, должны показывать нижним чинам пример сознательного отношения к условиям сохранения здоровья. При этом надо помнить, что болеть от собственной неосторожности в военное время предосудительно (Приказ 17 декабря 1904 г. № 305).

А рядом с подобными господами в госпиталь прибывали из строя такие давнишние, застарелые калеки, что мы разводили руками. Прибыл один подполковник, только месяц назад присланный из России «на пополнение»; глухой на одно ухо, с сильнейшей одышкою, с застарелым ревматизмом, во рту всего пять зубов... Было удивительно смотреть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенных молодцов, сидевших в тылу на должностях комендантов и смотрителей.

Другой такой же, тоже подполковник. Ему 58 лет, хронический ревматизм, катар желудка, одышка, сердце плохое, на обоих глазах два раза делали какие-то операции. Славный старик, какие бывают среди старичков-офицеров, скромный и ненавязчивый.

— Как вы с таким здоровьем служите? — изумился я.

— Что ж поделаешь. Жена и то убеждала выйти в отставку, да как выйдешь? До эмеритуры осталось всего два года. А у меня четверо детей, да еще трое сирот-племянников. Всех нужно накормить, одеть... А хвораю-то я уж давно. Комиссия два раза выдавала удостоверения, что мне необходимо лечиться водами в Старой Руссе, там есть для офицеров казенные места. Но ведь знаете сами, нашему брату-армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекции нет. Казенные места всегда заняты штабными, а нам и доступу нет...

И этот старый старик три месяца стыл в окопах!..

Выписку и перевод из госпиталя больных офицеров взял у нас на себя сам главный врач. Он ужасно возмущался «трусостью и недобросовестностью» русских офицеров, говорил:

— Это насмешка над нами! Стану я эвакуировать этих лодырей, как же! Всех назад в строй выпишу!

Но постоянно выходило как-то так: смирные, ненавязчивые выписывались обратно в строй, люди же с апломбом и со связями эвакуировались. Между прочим, был эвакуирован в Харбин к своему приятелю из эвакуационной комиссии также и наглый московский собственник.

Однажды на моем дежурстве поздно вечером зовут меня в приемную. Прихожу. У стола стоял в меховой николаевской шинели ротмистр граф Зарайский, адъютант командира нашего корпуса, а рядом с ним — высокая стройная дама в шубке и белой меховой шапочке.

— Здравствуйте, доктор, — сказал граф. — Приехал лечь к вам в госпиталь: ездил в Харбин, продуло меня, в ухе образовался нарыв. А еще привез вам вот новую сестру.

И он познакомил меня с дамой.

Новую сестру?.. По штату на госпиталь полагается четыре сестры, у нас их было уже шесть: кроме четырех штатных, еще «сестра-мальчик» и жена офицера, недавно воротившаяся из Харбина после перенесенного тифа.

И этим-то сестрам делать было решительно нечего, они хандрили, жаловались на скуку и безделье. А тут еще седьмая!

Графа проводили в офицерскую палату, дама отправилась ночевать к нашим сестрам.

У всех было негодующее изумление, — зачем эта сестра, кому она нужна? Утром, когда главный врач зашел в офицерскую палату, граф Зарайский попросил его принять в госпиталь сверхштатной сестрой привезенную им даму.

— Это моя добрая знакомая, я ездил в Харбин встречать ее.

Главный врач ответил неопределенно, воротился к себе. Как раз в это время заехал к нему дивизионный врач. Узнал он о просьбе графа и вышел из себя.

— Это уж седьмая сестра будет в госпитале! Ни за что не позволю! — горячился он.

— И главное, на что, на что она мне? — вторил главный врач. — Я и с своими-то сестрами не знаю, что делать, и они-то мне совсем не нужны!

Смотритель еще подливал масла в огонь.

— А как мы их всех будем перевозить? Особые экипажи для них заказывать, что ли?

Дивизионный врач, весь кипя гневом, пошел в палату к графу. Одна из наших сестер лукаво обратилась к смотрителю.

— Давайте на пари, что эта сестра останется у нас!

— Как это может быть, что вы говорите! Смеяться они над нами, что ли, хотят!

Дивизионный врач воротился от графа. Теперь он молчал и на вопросы главного врача отвечал уклончиво. Приехав к себе, он написал начальнику дивизии письмо, где сообщал о желании новой сестры поступить в наш госпиталь и спрашивал, принять ли ее. Начальник дивизии ответил, что удивляется его письму: по закону, подобного рода

вопросы дивизионный врач решает собственной властью, и ему лучше знать, нужны ли в госпитале сестры. Тогда дивизионный врач предоставил решение нашему главному врачу. Главный врач сестру принял.

— Вот еще новая обуза свалилась на плечи! — раздраженно говорил он нашим сестрам. — Как я теперь всех вас буду перевозить?

Сестры передали это новой сестре. Она при встрече сказала главному врачу!

— Я слышала, я вас буду сильно стеснять при переездах?

— Ну, что там! — добродушно ответил Давыдов. — Ведь мы обыкновенно передвигаемся не больше, как на пять, на шесть верст. В крайнем случае можно будет всех вас перевезти в два раза.

Помещение сестер было очень небольшое. Новая сестра сильно стеснила всех своими сундуками и чемоданами. Наши сестры дулись. Но новая сестра как будто этого не замечала, держалась мило и добродушно. Она сообщила сестрам, что ужасно боится больных, что вида крови совсем не выносит.

— Лучше я буду у вас в качестве горничной, буду убирать и подметать нашу фанзу, — смеясь, говорила она.

Целые дни новая сестра проводила в офицерской палате при графе.

А от графа охал и морщился весь госпиталь. Однажды ему не понравился поданный бульон; граф велел передать, что если ему еще раз подадут такой бульон, то он набьет морду повару. Смотритель ежечасно бегал к графу справляться, хорошо ли ему. Однажды граф сказал: «Не дурно бы выпить вина!» Смотритель тотчас же прислал бутылку прекрасной мадеры, пожертвованной для больных. Но у графа был нарыв в наружном слуховом проходе, и, конечно, никаких показаний к вину не существовало.

Граф посмеивался над этими ухаживаниями и говорил:

— Хорошо, что я нетребователен, а то бы они мне каждый день и шампанского давали!

Кстати о пожертвованиях. Больных у нас обыкновенно было немного, но из склада пожертвованных вещей при Красном Кресте главный врач постоянно получал разные хорошие вещи: теплую одежду, вина, готовые папиросы. Давали там без счета и без контроля, больше даже, чем спрашивалось: «там кому-нибудь раздадите!» И делалась мелкая, противная гнусность: скупой главный врач щедро угощал приезжавших знакомых жертвованным коньяком и мадерой, курил жертвованные папиросы и даровой водкой поил команду, приходившую поздравлять его со днем ангела или рождения.

Вскоре главный врач отдал в распоряжение вновь приехавшей сестры небольшую, стоявшую в стороне, фанзу, отделанную под больных. Он назначил сестре отдельного денщика. По закону, сестрам денщиков не полагается, наши сестры, конечно, их не имели: они сами убирали свое помещение, стирали себе белье и т. п. Давыдов дал новой сестре казенную лампу, отпускал казенный керосин, убеждал ее не жалеть дров, чтобы в фанзе было тепло. Другие же сестры дров никогда не видели: им выдавали для топки перемешанный с навозом каолян, служивший подстилкой лошадям.

Сестры всем этим, конечно, страшно возмущались, указывали, в какой они живут тесноте и как просторно помещена приехавшая сестра.

Мы советовали им:

— Заявите главному врачу, чтоб часть из вас перевели к ней.

— Ах, боже мой! Как вы не понимаете? Ей необходимо жить одной!..

Граф вскоре выздоровел и выписался из госпиталя. И каждый вечер у одинокой фанзочки, где жила новая сестра, до поздней ночи стояла корпусная «американка» или дремал солдат-вестовой, держа в поводу двух лошадей, графскую и свою.

Красавица-русалка Вера Николаевна, отболевшая в Харбине тифом, не захотела вернуться в султановский госпиталь и осталась сестрой в Харбине. Тогда на ее место перевелась в султановский госпиталь штатной сестрой жилица одинокой фанзочки, «графская сестра», как ее прозвали солдаты. В качестве штатной сестры она стала получать жалованье, около 80 руб. в месяц. Жить она осталась в той же фанзе, только вместо нашего солдата ей теперь прислуживал солдат из султановского госпиталя.

В нашем госпитале лежал один раненый офицер из соседнего корпуса. Офицер был знатный, с большими связями. Его приехал проведать его корпусный командир. Старый, старый старик, — как говорили, с громадным влиянием при дворе.

У нас же в госпитале лежал солдат из его корпуса, с правой рукою, вдребезги разбитой осколками снаряда. Мы уговаривали солдата согласиться на ампутацию, но он отказывался:

— Что я без руки делать буду? Может, как-нибудь заживет... У меня трое ребят.

Но в руке уж начиналась гангрена. Когда генерал вышел из офицерской палаты, наш главный врач сказал ему:

— Ваше высокопревосходительство! У нас лежит один солдат из вашего корпуса, ему необходимо ампутировать руку, а он не соглашается. Может быть, вам удастся его уговорить.

— А... Да-да-да, хорошо!.. Проведите меня к нему. Я с ним поговорю.

Генерала ввели в солдатскую палату, подвели к раненому.

— Ты знаешь, кто я? — спросил генерал.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— Ну, так вот. Доктора тебе говорят, и я тебе то же самое говорю: нужно тебе отрезать руку, а то помрешь.

Солдат молчал и грустно смотрел на генерала.

—. Понял меня?

— Так точно!

— Ну, вот... И ты не печалься. В Петербурге у государыни-императрицы есть великолепные искусственные руки и ноги. Такую тебе дадут руку, — никто и не узнает, что ненастоящая.

Солдат молчал.

— Так, значит, вот что я тебе советую. Ты так и сделай. Понял меня? Ну, прощай!.. Ты грамотный?

— Так точно!

Генерал двинулся к выходу и сказал, обращаясь к нам:

— Ведь и писать он может научиться и левой рукой.

Отгремел январский бой под Сандепу. Несколько дней студеный воздух дрожал от непрерывной канонады, на вечерней заре виднелись на западе огоньки вспыхивающих шрапнелей. Было так холодно, что в топленных фанзах, укутавшись всем, чем возможно, мы не могли спать от холода. А там на этом морозе шли бои.

Потом канонада прекратилась, стало тихо, как будто все звуки замерзли. Пошли вести о происшедшем деле. Русские заняли было Сандепу и окрестные деревни, но затем отступили обратно, потеряв около пятнадцати тысяч человек. Уборка и перевозка раненых были поставлены еще небрежнее, чем во все предыдущие бои. Спаслись только те, которые собственными силами могли добраться до перевязочных пунктов, остальные замерзли. Не хватало ни арб,

ни носилок. Раненых везли в холодных товарных вагонах. В Мукдене мне рассказывали, что в одном пришедшем с юга санитарном поезде оказалось тридцать трупов, замерзших в дороге раненых. Инспектор госпиталей второй армии, Солнцев, застрелился. Рассказывали об оставленной им записке, где он винил себя, что из-за его нераспорядительности померзли тысячи раненых. Другие рассказывали, что Солнцев сошел с ума в самом начале боя и покончил с собой в припадке сумасшествия.

В неудаче дела одни винили Куропаткина, другие — командовавшего второй армией Гриппенберга. На глазах всей армии происходила их ссора. Рассказывали о письмах Куропаткина, оставленных Гриппенбергом без ответа, об отъезде Гриппенберга из армии без ведома главнокомандующего. Передавали слова, громко сказанные Гриппенбергом на харбинском вокзале, что Куропаткин — государственный преступник, которого следует предать суду. С изумлением следили все, как Гриппенберг, чтобы доказать свою правоту, выбалтывал иностранным корреспондентам военные тайны о количестве и распределении наших войск на театре войны...

Чем больше у тебя есть, тем больше тебе дастся, — вот было у нас основное руководящее правило. Чем выше по своему положению стоял русский начальник, тем больше была для него война средством к обогащению: прогоны, пособия, склады, — все было сказочно щедро. Для солдат же война являлась полным разорением, семьи их голодали, пособия из казны и от земств были до смешного нищенские и те выдавались очень неаккуратно, — об этом из дому то и дело писали солдатам.

Наш главнокомандующий получал в год 144 тысячи рублей, каждый из командующих армией — по сто тысяч

с чем-то. Командир корпуса получал 28–30 тысяч. Лейб-акушер проф. Отт, как сообщали «Новости», был командирован на несколько месяцев на Дальний Восток для осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тысяч рублей в месяц! С изумлением читали мы в иностранных газетах, что у японцев маршалы и адмиралы получают в год всего по шесть тысяч рублей, что месячное жалованье японских офицеров — около тридцати рублей. Один русский корпусный командир получал больше, чем Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вместе. Зато солдатам своим японская казна платила по пять рублей в месяц, наш же солдат получал в месяц «по усиленному окладу»... сорок три с половиной копейки!..

В конце января я получил из Гунчжулина телеграмму от приятеля унтер-офицера, раненного под Сандепу и лежавшего в одном из гунчжулинских госпиталей. Я поехал его проведать.

В мукденском вокзале подхожу я к кассе, спрашиваю билет. Оказывается, билета нельзя получить без записки коменданта станции. Я отправился к коменданту.

— Теперь уже поздно, приходите до половины двенадцатого. Сейчас выдать записку не могу.

— Но позвольте, поезд отходит еще через сорок минут!

— Все равно, приходили бы вовремя!

— Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, что у вас значит «вовремя». В официальном «Вестнике Маньчжурских Армий» публикуются часы отхода поездов, и вы там не заявляете, что нужно приезжать за час до отхода. А я двенадцать верст протрясся на морозе, спешно вызван телеграммой к раненому знакомому.

— Это до меня не касается! — невозмутимо возразил комендант.

— Тогда скажите, пожалуйста, к кому мне здесь обратиться выше вас?

— Не знаю. — И комендант отвернулся.

Мы препирались еще минут пять, — за это время можно было выдать несколько десятков удостоверений. Наконец, комендант смилостивился и выдал записку.

Я получил билет. Поезд состоял из ряда теплушек, среди них темнел своими трубами один классный вагон. Он был полон офицерами и военными чиновниками. С трудом отыскал я себе место.

Разговорился с соседями, изумляюсь порядкам, царящим на вокзале.

— А вы зачем же билет брали? — удивился сосед офицер.

— А как же иначе?

— Неужели вы не знаете, что у нас все законное обставляется всяческими трудностями специально для того, чтобы люди действовали незаконно?

— Как же, однако, без билета? Спросит кондуктор...

— Что-о?.. Пошлите его к черту, больше ничего! А станет приставать, — дайте в морду.

Оказалось, большинство в вагоне ехало без билетов. С этой поры и я стал ездить без билета и сам просвещал неопытных новичков. Получить билет было трудно и хлопотливо, нужно было проходить целый ряд инстанций: в одном помещении выдавали удостоверение, в другом прикладывали печать, в третьем снабжали билетом; коменданты держались надменно и грубо. Ехать же без билета было удивительно легко и просто.

От Мукдена до Гунчжулина около двухсот верст. Эти двести верст мы ехали трое суток. Поезд долгими часами стоял на каждом разъезде. Рассказывали, что где-то к северу произошло крушение санитарного поезда, много раненых перебито и вновь переранено и путь спешно очищается.

В вагоне шли непрерывные рассказы и споры. Ехало много участников последнего боя. Озлобленно ругали Куропаткина, смеялись над «гениальностью» его всегдашних отступлений. Один офицер ужасно удивился, как это я не знаю, что Куропаткин давно уже сошел с ума.

Куропаткина ругали. Действительно, непригодность его была слишком очевидна. Но я спрашивал:

— Ну, хорошо, а кого же, по-вашему, следовало бы назначить на его место?

И сколько раз за всю войну я ни задавал этот вопрос, всегда я получал один ответ:

— Кого?.. — Офицер задумывался, пожимал плечами. — Да назначить-то, собственно, некого, это правда!

Подполковник, участвовавший в последнем бою, раздраженно рассказывал:

— Пусть история решает, почему мы проигрывали другие бои, а насчет этого боя я вам ручаюсь, что проиграли мы его исключительно благодаря бестолковости и неумелости наших начальников. Помилуйте, с самого начала выводят на полном виду целый корпус, словно на высочайший смотр. Японцы видят и, конечно, стягивают подкрепления...

Он рассказывал, как при атаках систематически не поспевали вовремя резервы, рассказывал о непостижимом доверии начальства к заведомо плохим картам: Сандепу обстреливали по «карте № 6», взяли, послали в Петербург ликующую телеграмму, — и вдруг неожиданность: сейчас же за разрушенной частью деревни стоит другая, никем не подозревавшаяся, с девственно-нетронутыми укреплениями, пулеметы из редюитов пошли косить ворвавшиеся полки, — и мы отступили. Зато теперь, на «карту № 8», эта другая часть деревни нанесена весьма точно...

— Но я вас спрашиваю: ведь до Ляояна вся эта местность была в наших руках, — как же мы не удосужились снять точно планов?

— А у нас вот что было, — рассказывал другой офицер. — Восемнадцать наших охотников заняли деревню Бейтадзы, — великолепный наблюдательный пункт, можно сказать, почти ключ к Сандепу. Неподалеку стоит полк; начальник охотничьей команды посылает к командиру, просит прислать две роты. «Не могу. Полк в резерве, без разрешения своего начальства не имею права». Пришли японцы, прогнали охотников и заняли деревню. Чтоб отбить ее обратно, пришлось уложить три батальона...

— Да, хоть миллион войска сюда привези, победы все равно не будет, — вздохнул подполковник.

Через двое суток к ночи мы были за тридцать верст от Гунчжулина. Спать я не ложился, — каждую минуту ждал, что приедем. Но приехали мы в Гунчжун только через сутки в два часа ночи.

Вышел я на перрон. Пустынно. Справляюсь, где стоят госпитали, — за несколько верст от станции. Спрашиваю, где бы тут переночевать. Сторож сказал мне, что в Гунчжулине есть офицерский этап. Далеко от станции? «Да вот, сейчас направо от вокзала, всего два шага». Другой сказал — полверсты, третий — версты полторы. Ночь была темная и мутная, играла метель.

Я пошел ходить по платформе. Стоит что-то вроде барака, я зашел в него. Оказывается, фельдшерский пункт для приемки больных с санитарных поездов. Дежурит фельдшер и два солдата. Я попросился у них посидеть и обогреться. Но обогреться было трудно, в бараке градусник показывал 3° мороза, отовсюду дуло. Солдат устроил мне из двух скамеек кровать, я постелил бурку, покрылся полушубком. Все-таки было так холодно, что за всю ночь только раза два я забылся на полчаса.

В седьмом часу утра я услышал кругом шум и ходьбу. Это сажали в санитарный поезд больных из гунчжулинских госпиталей. Я вышел на платформу. В подходившей к вокзалу новой партии больных я увидел своего приятеля с ампутированной рукой. Вместе с другими его отправляли в Харбин. Мы проговорили с ним часа полтора, пока стоял санитарный поезд.

Поезд ушел. Я отправился разузнавать, когда отходит поезд на Мукден.

— В четыре часа дня. Но вчера, впрочем, он не шел.

— Может быть, и сегодня не пойдет?

— Может быть.

Кто-то сообщил мне, что на пятом пути стоит воинский поезд, который сейчас отправляется на юг. Я спросил разрешения у начальника эшелона, поехал с воинским. Тут же ехало еще несколько офицеров со стороны.

К вечеру поезд остановился на подъеме, — у паровоза не хватило сил втащить вагоны. Воротились к разъезду, отцепили часть вагонов, поехали дальше. Ночью, на другом подъеме, четыре задних вагона оторвались и побежали назад. Отправились их ловить. Проводник вагона рассказывал нам: в движении происходят постоянные задержки, их стараются наверстать, для этого гонят скорее, чем можно, вместо тридцати вагонов прицепляют сорок. Из-за этого новые неожиданности. Вагоны плохи и стары; в оторвавшемся вагоне крюк выскочил вместе с деревом брусьев.

Утром мы пересели в другой поезд, обгонявший наш эшелон. Дряхлый, облезлый вагон третьего класса подозрительно трещал и качался, по временам под грязным полом что-то оглушительно грохотало, вагон начинал подпрыгивать. В клозете стояли грязные лужи, кран не действовал.

Ночью, когда все уже спали, нас вдруг разбудил проводник и попросил всех выйти из вагона: вагон дальше не пойдет.

— Почему?

— Износился.

— Попортилось что? В ремонт пойдет?

— Нет, совсем износился. Выбросят.

Мы, смеясь, выходили из вагона. «Совсем износился!» Ночью, на полпути, не поломка какая-нибудь произошла, а просто вагон совсем износился! Можно оказать, был он использован дотла, до дыр!.. Но тут нам стали понятны и причины частых крушений.

До шести утра мы ждали на станции: поезд маневрировал, для нас прицепили вагон-теплушку. Вошли мы в нее, — холод невообразимый, в одном из окон нет рамы. Чугунная печка холодная. Некоторые из офицеров ехали с денщиками, — денщики ухитрились чем-то заделать выбитое окно, сбегали за истопником.

— Топи печку!

Истопник принес дров, растапливал, растапливал. Дрова сырые, не загораются. Офицеры ругались.

— Я, ваше благородие, сбегаю сейчас, сухой ящик принесу для растопки, — сказал истопник и поспешно ушел.

Второй звонок. Офицеры не закрывали отдвижной двери, чтоб истопник успел вскочить в вагон. Денщики смеялись.

— Воротится он теперь, жди! Рад, что удрал!

Так и оказалось. Поезд двинулся, истопник не явился. Было ужасно холодно, пальцы ног зябли и немели. Денщики возились у печки, сжигали коробку спичек за коробкой. Дрова шипели, фыркали и загораться не хотели.

Все были злы и ругались. На станциях, кроме самых крупных, ничего нельзя было найти поесть, нельзя было даже купить хлеба. Офицеры, ехавшие из командировок,

рассказывали о повсеместной бесприютности, — негде поесть, негде переночевать, указывают на какой-то этап, а он за пять верст от станции.

— Скажите, пожалуйста, где мы? В тылу полумиллионной армии или на острове Робинзона Крузо?.. Ну и государство российское!..

А в вагоне становилось все холоднее. Начинала болеть голова, мороз пробирался в самую сердцевину костей. Блестяще-пушистый иней белел на стенах. Никто уж не ругался, все свирепо молчали, сидели на деревянных нарах и кутались в полушубки.

На одной из остановок двое денщиков выскочили из вагона, пропадали минут пять и воротились с плутовато-смеющимися лицами. Они тщательно задвинули за собой дверь. Один расстегнул на груди полушубок и вынул из-за пазухи стащенный где-то топор.

— Ну-ка, ваше благородие, подвиньтеся маленько!

Денщик засунул топор за перекладину и выломал из нар доску.

— Этот товар будет сухой! — сказал он, положил доску на пол и стал ее рубить.

Печка запылала, по вагону пошло тепло. При общем смехе в печку полетела вторая доска, третья... Нары исчезали, но печка накалялась. Мы толпились вокруг, оттирали застывшие руки, распахивали навстречу теплу полушубки.

— Ну, и ш-шельма же народ!.. — восхищенно говорили офицеры.

Денщики копошились среди развороченных нар, с треском отдирали и выламывали доски. Печка пылала, заиндевевшие стены отмокали, становилось все теплее.

В начале февраля пошли слухи, что 12-го числа начнется генеральный бой. К нему готовились сосредоточенно, с непроявлявшимися чувствами. Что будет?.. Рассказывали,

будто Куропаткин сказал одному близкому лицу, что, по его мнению, кампания уже проиграна безвозвратно. И это казалось вполне очевидным. Но у офицеров лица были непроницаемы, они говорили, что позиции наши прямо неприступны, что обход положительно невозможен, и трудно было понять, вправду ли они убеждены в этом или стараются обмануть себя...

VII. Мукденский бой

С утра по всему фронту бешено загрохотали орудия. Был теплый, совсем весенний день, с юга дуло бодрящим теплом. Тонкий слой снега таял под солнцем, голуби суетились под карнизами фанз и начинали вить гнезда; стрекотали сороки и воробьи. Пушки гремели, завывали летящие снаряды; у всех была одна серьезная, жуткая и торжественная мысль: «Началось...»

С заходом солнца канонада замолкла. Всю ночь по колонным дорогам передвигались с запада на восток пехотные части, батареи, парки. Под небом с мутными звездами далеко разносился в темноте шум колес по твердой, мерзлой земле. В третьем часу ночи взошла убывающая луна, — желтая, в мутной дымке, как будто размазанная. Части всё передвигались, и в воздухе стоял непрерывный, ровно-рокочущий шум колес.

Медленно и грозно потянулся день за днем. Поднимались метели, сухой, сыпучий снег тучами несся в воздухе. Затихало. Трещали морозы. Падал снег. Грело солнце, становилось тепло. На позициях все грохотали пушки, и спешно ухали ружейные залпы, короткие, сухие и отрывистые, как будто кто-то колол там дрова. По ночам вдали сверкали огоньки рвущихся снарядов; на темном небе мигали слабые отсветы орудийных выстрелов, сторожко ползали лучи прожекторов.

Наши госпитали стояли за Путиловской сопкой. На сопке творилось что-то ужасное. С утра до вечера японцы осыпали ее снарядами из одиннадцатидюймовых гаубиц. Стальные чудовища, фыркая, мчались из невидимой дали, били в окопы, в заграждения и волчьи ямы; серо-желтые и черноватые клубы взрывов выносились на высоту, ширились и разветвлялись, как невиданно-огромные кусты; отрывались от сопки и таяли, грязня небо, а снизу выносились

все новые и новые дымовые столбы. Так было днем. Ночью же происходили непрерывные штурмы сопки. Ее скаты были устланы японскими трупами. Шли слухи, что японцы во что бы то ни стало решили овладеть сопкой, и было похоже на то, — такая масса все новых и новых полков шла каждую ночь на штурм. Только много позднее мы узнали, в чем тут было дело. Стремительные атаки японцев на наш левый фланг и центр заставили думать Куропаткина, что именно тут они и готовят свои удар; сюда Куропаткин и стянул главные силы. Между тем японцы постепенно переводили свои войска на противоположный фланг, где обходная армия Ноги заходила нам в тыл. Путиловская сопка была в центре. Каждую ночь проходившие мимо японские полки штурмовали сопку, а утром уходили дальше на запад; с востока же подходили новые полки. И получалось впечатление, что на наш центр брошена чуть не вся японская армия.

Воздух был насыщен слухами. Одни рассказывали, что станция Шахе в наших руках, что у японцев отнято семнадцать орудий, что на левом нашем фланге Линевич опрокинул японцев и гонит их к Ляояну. Другие сообщали, что на обоих фронтах японцы продвинулись вперед.

В султановском госпитале уже месяца полтора была еще новая сверхштатная сестра, Варвара Федоровна Каменева. Ее муж, артиллерийский офицер из запаса, служил в нашем корпусе. Она оставила дома ребенка и приехала сюда, чтоб быть недалеко от мужа. Вся ее душа как будто была из туго натянутых струн, трепетно дрожавших скрытой тоской, ожиданием и ужасом. Ее родственники имели крупные связи, ей предложили перевести ее мужа в тыл. С отчаянием сжимая руки, она ответила:

— Если он на это пойдет, я перестану его уважать!

И теперь, когда мы все, давно привыкшие к канонаде, разговаривали и смеялись, почти не слыша ее, сестра Каменева сидела с бледной, рассеянной улыбкой, прислушивалась и слабо вздрагивала при каждом пушечном выстреле.

Офицерские палаты наших госпиталей были битком набиты офицерами. У одного охрипло горло, у другого покалывало в боку, третий жаловался на «боли в голове, и в плече, и в заднем проходе». До поздней ночи они играли в преферанс и в винт, вставали часов в одиннадцать дня. Лежал там и ординарец из штаба нашей дивизии, поручик Шестов. Как раз перед началом боя под ним споткнулась лошадь, он ушиб себе большой палец руки. И вот уже шестой день поручик лежал у нас. Держа руку на черной перевязи, он ходил в гости к нам, в султановский госпиталь, в земский отряд, с месяц назад основавшийся тоже в нашей деревне.

Ему массировала руку хорошенькая сестра Леонова.

— Что, вы уж кончаете? Пожалуйста, помассируйте еще! — просил поручик и, как кот, щурился, нежась от поглаживаний маленьких и мягких рук девушки.

По вечерам поручик старался встретиться с Леоновой на улице, шел рядом, улыбаясь остренькой улыбкой сатира, тянул ее гулять в уединенные места. Леонова, наконец, взмолилась доктору, чтоб он освободил ее от массирования поручика.

Канонада с каждым днем усиливалась. Робко и осторожно, как будто сама себе не доверяя, по армии стала распространяться волнующая весть: японцы обходят наш правый фланг.

— Что за пустяки! — смеялись офицеры.

А слух расползался и креп. Смутная тревога росла. Однажды вечером сидели за чаем в земском отряде. Тут же был и поручик Шестов, с правой рукой на черной перевязи.

— А об обходе-то говорят все настойчивее! — заметил я.

Шестов оглядел меня и снисходительно улыбнулся.

— Эх, доктор! И как можете вы этому верить? Это невозможно!

Забыв, что он не может владеть правой рукой, поручик взял клочок бумаги и стал мне чертить на нем расположение наших и японских войск. Из чертежа этого с полной очевидной наглядностью вытекало, что обойти японцам нашу армию невозможно в такой же мере, как перебросить свою армию на луну.

Назавтра, около пяти часов вечера, японские орудия загремели прямо за Мукденом...

Но что поручик! По-видимому, и у всех военачальников было непоколебимое убеждение в полнейшей невозможности обхода. В самом начале боя один офицер был послан на фуражировку на крайний правый фланг. Воротившись, он донес по начальству, что видел движущиеся на север густые колонны японцев. Командир корпуса написал на донесении: «Дурак!», а начальник дивизии оказал: «Следовало бы этого господина за распространение ложных слухов отдать под суд!» Рассказывал мне врач, сам слышавший эти слова генерала. Врач спросил:

— Ваше превосходительство, разве обход так уж невозможен?

Генерал в изумления вытаращил на него глаза.

— Обход?! Ах, да! Ведь вы, впрочем, не военный... — Он обратился к начальнику штаба — Полковник, пожалуйста, объясните доктору всю нелепость этого предположения!

Орудия гремели за Мукденом и бешено гремели по всему фронту. Никогда я еще не слышал такой канонады: в минуту было от сорока до пятидесяти выстрелов. Воздух дрожал, выл и свистел. Повар земского отряда Ферапонт Бубенчиков сокрушенно прислушивался к завыванию резавших воздух снарядов, ложился на землю и повторял:

— Прощай, Москва! Не видать тебе больше Ферапонта Бубенчикова!

Рассказывали, что на Мукден идут с запада двадцать пять тысяч японцев, что бой кипит уже у императорских могил близ Мукдена; что другие двадцать пять тысяч идут глубоким обходом прямо на Гунчжулин.

Земский отряд получил от начальника санитарной части телеграмму: по приказанию главнокомандующего, всем учреждениям земским и Красного Креста, не имеющим собственных перевозочных средств, немедленно свернуться, идти в Мукден, а оттуда по железной дороге уезжать на север. Но палаты земского отряда, как и наших госпиталей, были полны ранеными. Земцы прочли телеграмму, посмеялись — и остались.

Передо мной сидел на табуретке пожилой солдат с простреленной мякотью бедра. Солдат был в серой, неуклюжей шинели, лицо заросло лохматой бородой. Когда я обращался к нему с вопросом, он почтительно вытягивался и пытался встать.

— Сколько тебе лет?

— Сорок, говорят... А там кто его знает.

— Давно на войне?

— С Покрова. Нас в Красноярск пригнали на обмундирование, там стояли. Значит, стали вызывать охотников на войну, я пошел.

Посмотрел я на него, — совсем старик, с смирными мужицкими глазами.

— Не жалеешь, что пошел?

— Не... Вот ногу бы залечить, опять бы пойти, — задумчиво ответил он.

Шершавый какой-то, понуренный... Что у него в душе? Чуялось смутное проникновение большим, общим делом, сознание властной связи с чем-то важным. Было непонятно, и чувствовалось, что этого не поймешь.

В палату ввели невысокого человека в чуждой, странной форме. Раненые зашевелились, взгляды направились на вошедшего.

— Японец!.. Японец!..

Невысокий человек медленно подвигался, опираясь на плечо санитара и волоча левую ногу; он внимательно смотрел вокруг исподлобья блестящими, черными глазами. Увидел мои офицерские погоны, вытянулся и приложил руку к козырьку, — ладонью вперед, как у нас козыряют играющие в солдаты мальчики. Побледневшее лицо было покрыто слоем пыли, губы потрескались и запеклись, но глаза смотрели бойко и быстро.

Пуля засела у японца в пояснице. Я показал знаком, чтоб он разделся. Солдаты молчали и следили за японцем с пристальной, любопытствующей неприязнью.

Я спросил его, какой он армии, — Оку? Японец быстро улыбнулся и предупредительно закивал головой:

— Оку! Оку!

— Оку?.. — Я сомнительно поглядел на японца. — Не Нодзу ли? Ходя (приятель), — Нодзу?

Его быстрые, шельмовские глаза засмеялись, он опять закивал головой:

— Нодзу! Нодзу!

Японец раздевался. Снял широкую верблюжью шинель с козьим воротником, под ней был меховой полушубок-безрукавка. Солдаты засмеялись. Японец взглянул на них и тоже засмеялся. За полушубком следовал черный мундир с сорванными погонами (чтоб не узнали, какого полка), за мундиром — жилетка, за жилеткой — еще жилетка. Смех усиливался, перешел в хохот. Хохотали солдаты, хохотал японец. И оттого, что он так весело и добродушно хохотал со всеми, в смехе солдат пропала враждебность, и милый, дружный, соединяющий смех стоял в фанзе.

Японец снял еще фуфайку и коленкоровую рубаху. Пулевая ранка в пояснице уже запеклась. Японец вопросительно кивнул мне головой, потер руки и потом стал тереть свою круглую, стриженую голову с жесткими черными волосами.

— Помыться просит! — догадался фельдшер.

Я велел принести таз теплой воды и мыла. Глаза японца радостно заблестели. Он стал мыться. Боже мой, как он мылся! С блаженством, с вдохновением... Он вымыл голову, шею, туловище; разулся и стал мыть ноги. Капли сверкали на крепком, бронзовом теле, тело сверкало и молодело от охватывавшей его чистоты. Всех кругом захватило это умывание. Палатный служитель сбегал к баку и принес еще воды.

Японец благодарно взглянул на него и радостно засмеялся. Служитель поглядел вокруг и тоже засмеялся. Японец опять принялся тереть мылом грудь, шею и щетинистую голову. Скатывалась мыльная пена, брызгала вода, японец фыркал и встряхивался.

В углу на нарах лежал раненный в бедро солдат, которого я только что перевязал. Смотрел он, смотрел на японца; смотрел, как тепло сверкало под водой его чистое, крепкое тело. Вдруг вздохнул, почесал в голове и решительно приподнялся.

— Ну-ка! Дайко-ся, и я помоюсь!..

С позиций сестре Каменевой передали известие, что ее муж, артиллерийский офицер, смертельно ранен: он поднялся на наблюдательную вышку, его пенсне сверкнуло на солнце, и меткая пуля пробила ему голову. У Каменевой имелся собственный шарабан и лошадь. Она поспешно уехала на позиции.

Орудия за Мукденом гремели по-прежнему, но вести пошли хорошие. Рассказывали, что сам Куропаткин

во главе шестнадцатого корпуса ударил на обходный отряд, окружил его и разбил; три тысячи японцев побросали ружья и сдались. Наш артельщик, ездивший в Мукден, видел на вокзале толпы пленных.

К вечеру в нашу деревню привезли огромный транспорт раненых. Часть их приняли мы, часть — султановский госпиталь и земский отряд.

Раненые были с Путиловской сопки и ее окрестностей. К западу от сопки лежали два сильно блиндированных окопа, в них сидело две роты; над головами — толстые балки, на аршин засыпанные землею, впереди — узкие бойницы, заложенные мешками с песком. В последние ночи из этих окопов уложили массу японцев, шедших на штурм сопки. И вот сегодня днем японцы направили на окопы осадные орудия. Один снаряд за другим бил рядом, прямо в окопы, огромные блиндажные балки разлетались в щепы. Через полчаса вместо двух грозных окопов была каша из земли, обломков бревен и окровавленных, изувеченных людей.

Раненых вносили в палаты, клали на кханы, устланные соломою. Они лежали и сидели — обожженные, с пробитыми головами и раздробленными конечностями. Многие были оглушены, на вопросы не отвечали и сидели, неподвижно вытаращив глаза.

— Отчего они не говорят? — в удивлении спрашивала сестра.

— Вероятно, разрыв барабанной перепонки, оглохли... А может быть, сотрясение мозга.

— Смотрите, заговорил!..

Бородатый солдат с синим, раздувшимся лицом опирался локтем здоровой руки о подушку и необычно громко, как говорят глухие, рассказывал соседу:

— Я ему говорю: «не выглядывай без дела», а он глянул... Товарищу моему голову расколола, татарчика всего в клочья разорвала, а меня вот только чуть помяла...

Его сосед чуждо смотрел на него, молчал и медленно мигал.

— Ваше благородие! Правду говорят, — опять нас японец обошел? — таинственно обратился ко мне другой раненый.

— Говорят, обошел.

Солдат помолчал и недоумевающим полушепотом спросил:

— Что это, ваше благородие, никак у нас удачи не выходит?

Восточно-сибирского стрелка, с разбитой вдребезги ногою, понесли в операционную для ампутации, желто-восковое лицо все было в черных пятнышках от ожогов, на опаленной бороде кончики волос закрутились. Когда его хлороформировали, стрелок, забываясь, плакал и ругался. И, как из темной, недоступной глубины, поднимались слова, выдававшие тайные думы солдатского моря:

— Обгадилась Россия!.. Что народу даром губят! Бьют, уродуют, а толку нету!..

И опять рвались ругательства, и глухо звучало пение, похожее на плач.

В палатах укладывали раненых, кормили ужином и поили чаем. Они не спали трое суток, почти не ели и даже не пили, — некогда было, и негде было взять воды. И теперь их мягко охватывало покоем, тишиной, сознанием безопасности. В фанзе было тепло, уютно от ярких ламп. Пили чай, шли оживленные разговоры и рассказы. В чистом белье, раздетые, солдаты укладывались спать и с наслаждением завертывались в одеяла.

Вдруг, в девять часов вечера, телеграмма от корпусного врача по приказанию командира корпуса: немедленно эвакуировать из госпиталей всех раненых, лишнее казенное имущество уложить и отвезти на север, в деревню Хуньхепу.

Поднялась суета. Спешно запрягались повозки. Расталкивали только что заснувших раненых, снимали с них госпитальное белье, облекали в прежнюю рвань, напяливали

полушубки. В смертельной усталости раненые сидели на койках, качались и, сидя, засыпали. Одну бы ночь, одну бы только ночь отдыха, — и как бы она подкрепила их силы, как бы стоила всех лекарств и даже перевязок!

Подали двенадцать повозок. Лошади фыркали и ржали, мелькали фонари. Офицеры в своей палате играли в преферанс; поручик Шестов, с рукой на черной перевязи, лежал в постели и читал при свечке переводный роман Онэ. Главный врач сказал офицерам, чтоб они не беспокоились и спали ночь спокойно, — их он успеет отправить завтра утром.

На дворе при фонарях выносили и укладывали в повозки раненых солдат. Было морозно, мерцали звезды, на юге гремели орудия и вспыхивали бесшумные отсветы. Ползал по небу широкий луч прожектора. Справа колебалось далекое, огромное зарево.

Раненых предстояло везти за пять верст, на Фушунскую ветку. А многие были ранены в живот, в голову, у многих были раздроблены конечности... Из-за этих раненых у нас вышло столкновение с главным врачом, и все-таки не удалось оставить их хоть до утра.

Ко мне взволнованно подошел фельдшер Пастухов.

— Ваше благородие, раненым уже роздали билетики, я не успел с них диагнозов списать в книгу. Позвольте отобрать билетики.

— Вот еще! Уж уложили больных в повозки, — полчаса им ждать на морозе, пока вы будете вписывать диагнозы! Не надо.

— Главный врач приказали.

— Трогай! — свирепо крикнул я кучерам.

Транспорт двинулся. Раненые были укутаны всем, что только нашлось у нас под рукою, но все-таки они сильно

мерзли в дороге. Одни просили ехать поскорее, — очень холодно; другие просили ехать потише, — очень трясет.

Приехали наконец на Фушунскую ветку, в Гудядзы. Там уж скопилась масса транспортов из окрестных госпиталей, шла суетливая толчея, долго распределяли больных по госпиталям. Принятые раненые сейчас же засыпали мертвым сном. Их опять будили, чтобы переодеть в госпитальное белье...

Врачи сообщили мне, что, по слухам, японцы сильно теснят нас на правом фланге, берут деревню за деревнею, стремясь соединиться с обходной армией. На левом фланге наши тоже подались на шесть верст.

Ехал я назад. Была уже глубокая ночь, а вдали повсюду бешено работали пушки, и, как зарницы, вспыхивали отсветы взрывов. Звезды смотрели не мигая, окаймленные мутными венчиками.

Во втором часу ночи к нам в фанзу вошли два взволнованных казака с винтовками за плечами.

— Ваше благородие, из вас никто сейчас от Юзантуня не проезжал верхом?

— Я сейчас с севера приехал, из Гудядэ.

— Нет, от Юзантуня?

Казаки разыскивали японского шпиона, одетого русским военным врачом. Около Байтапу он спросил пехотинцев, куда ушла 25 дивизия, те сказали. Потом раздумались: лицо с косыми глазами, русский выговор плохой. Сообщили казакам. Казаки бросились вдогонку. Подозрительный врач расспрашивал у Юзантуня артиллеристов, потом обозных. Обозные почувствовали сомнение, хотели задержать врача, он повернул лошадь и ускакал, а солдаты были без винтовок. Дальше след японца терялся. Кто-то видел какого-то военного врача, направлявшегося к нашей деревне...

— Это, значит, не вы были?

Казаки вышли из фанзы и поскакали дальше.

— Да, не дремлют японцы, работают, — вздохнул Селюков.

Шанцер задумчиво прислушивался к грохоту орудий. Он нервно и брезгливо повел плечами.

— Господи! Кажется, и сами-то пушки русские стреляют совсем иначе, чем японские! Что-то такое тупое в их звуке, вялое...

Утром встречаемся мы с врачами-земцами.

— Вы не уехали? — удивились мы.

— С какой стати?

— Ведь вы же получили приказ уехать.

— Эка! Станем мы исполнять их приказы. Мы сюда приехали работать, а не кататься по железным дорогам.

Оказывается, и вчерашнего приказания эвакуировать раненых они тоже не исполнили, а всю ночь оперировали. У одного солдата, раненного в голову, осколок височной кости повернулся ребром и врезался в мозг; больной рвался, бился, сломал под собой носилки. Ему сделали трепанацию, вынули осколок, — больной сразу успокоился; может быть, был спасен. Если бы он попал к нам, его с врезавшимся в мозг осколком повезли бы в тряской повозке на Фушунскую ветку, кость врезывалась бы в мозг все глубже...

— Мы ведь Треповых хорошо знаем, — смеялись земцы. — Они люди военные, для них самое главное — телеграфировать в Петербург: «все раненые вывезены». А что половина их от этого перемрет, — «на то и война». Чем мы рискуем? Везти тяжелых раненых, перетряхивать их, перегружать — верная для них смерть. Когда придется отступать, тогда и обсудим, что делать... А Трепова нам чего бояться? Ну, обругает, — что ж такое!

В тот же день, 19-го февраля, мы получили приказ: раненых больше не принимать, госпиталь свернуть, уложиться и быть готовыми выступить по первому

извещению. Пришел вечер, все у нас было разорено и уложено, мы не ужинали. Рассказывали, что на правом фланге японцы продолжают нас теснить. Куропаткин окружил и разбил обходный отряд, но сзади, уступами, появляются все новые и новые обходные колонны.

— Прут без числа, как свиньи, как саранча! — в трепетном недоумении и ужасе рассказывали проезжие казаки. — Раздевшись на штурм бегут, в одних гимнастерках. Тысячами их кладут, а они еще грубее вперед прут, словно пьяные...

В два часа ночи из штаба корпуса пришла телеграмма, — обоим госпиталям немедленно выступить в деревню Хуньхепу, верст за семь на северо-запад. Через четверть часа пришла новая телеграмма: командир корпуса разрешил нам переночевать на месте и выступить утром.

— Очевидно, вспомнил, что Новицкой нужно поспать ночь, — догадывались мы.

Утром мы выехали. Земцы прощались с нами и посмеивались.

— А вы остаетесь? — спрашивали мы с смутным стыдом и завистью.

— Остаемся. Удрать всегда поспеем. Дело немудрое.

Было тихое солнечное утро. Наш обоз, поднимая пыль, медленно двигался по дороге. Мы ехали верхом. Сзади, слева, спереди гремели пушки. Среди приглядевшихся очертаний ехавших с обозом всадников одна фигура была новая. Это был поручик Шестов. Рука его окончательно поправилась, и вчера его выписали из госпиталя. Но поручик «не знал, где теперь находится штаб», и поехал вместе с нами.

Хуньхепу было битком набито обозами и артиллерийскими парками. Все фанзы были переполнены. Мы приютились в убогом глиняном сарайчике. Пошли пить чай к знакомым врачам стоявшего в Хуньхепу госпиталя.

Там рассказывали, что от царя получена телеграмма, поздравляющая армию с победой.

— Какая же победа?

— Говорят, обходная армия разбита в пух, мы переходим в наступление.

— А сколько в нашем корпусе потерь! В Куликовском полку легло полторы тысячи человек, Кирсановский полк уничтожен почти целиком, командир полка убит...

— Черт возьми, масленица наступает!.. Вот так масленица.

— А вы слышали, господа? Японцы перебросили в наши окопы записку, в ней они 25 февраля приглашают русских в Мукден на блины.

— Вот нахалы!..

Приехал в Хуньхепу и султановский госпиталь. Фанз для него тоже, конечно, не оказалось. Султанов, как всегда в походе, был раздражителен и неистово зол. С трудом нашел он себе на краю деревни грязную, вонючую фанзу. Первым делом велено было печникам-солдатам вмазать в печь плиту и повару — готовить для Султанова обед. Новицкая оглядывала грязную, закоптелую фанзу, пахнувшую чесноком и бобовым маслом, и печально говорила:

— А в Мозысани потолок и стены были у нас оклеены розовыми обоями, на полу были циновки...

Султанов, желтый и сердитый, послал командиру корпуса телеграмму:

«Не нашел ни одной свободной фанзы; где прикажете поместиться?»

Мне представился наш корпусный, читающий приходящие телеграммы: в таком-то полку легло полторы тысячи человек, такой-то полк уничтожен целиком, там-то появились с фланга японцы, — д-р Султанов не может себе найти удобного помещения...

А поручику Шестову все никак не удавалось узнать, где находится штаб дивизии. Поэтому он снова лег в здешний госпиталь. Когда мы пили у врачей чай, он зашел к ним. Неожиданно увидев нас, поручик напряженно нахмурился, молчаливо сел в уголок и стал перелистывать истрепанный том «Нивы».

Пришел наш главный врач, хмурый и расстроенный.

— Получена новая телеграмма, — перейти мост через реку Хуньхе и там ждать дальнейших приказаний.

— А как дела, не знаете?

— Что! Японцы прорвали центр, Суятунь горит. Здесь велено заготовить керосину, чтоб при первом приказе зажечь все склады. Контроль, казначейство и обозы второго разряда переводятся на север...

К вечеру мы получили вторую телеграмму, — немедленно идти в деревню Палинпу, к востоку от Мукдена.

Мы выступили, когда солнце садилось. Ветер чуть веял, горизонт был мутный — от дыма? от пыли? Бесконечные обозы столпились у узкого, ветхого и истоптанного понтонного моста через реку Хуньхе. Мы томительно долго ждали своей очереди.

С той стороны шла рота борисоглебцев.

— Откуда, братцы?

— Провожали мортиры в Телин.

Наконец перешли мы мост, пошли ровнее. Стемнело, было тихо, звездно и очень холодно. Мы дошли до южных ворот Мукдена и повернули направо вдоль городской стены. Над обозом неподвижно стояла очень мелкая густая пыль; она забивалась в глаза, в нос, трудно было дышать. Становилось все холоднее, ноги в стременах стыли.

— Да, «ночь повеяла томной прохладой!» — вздохнул Селюков, ежась от холода.

Мы шли, шли... Никто из встречных не знал, где деревня Палинпу. На нашей карте ее тоже не было. Ломалась фура, мы останавливались, стояли, потом двигались дальше. Останавливались над провалившимся мостом, искали в темноте проезда по льду и двигались опять. Все больше охватывала усталость, кружилась голова. Светлела в темноте ровно-серая дорога, слева непрерывно тянулась высокая городская стена, за ней мелькали вершины деревьев, гребни изогнутых крыш, — тихие, таинственно чуждые в своей, особой от нас жизни.

Стена осталась позади, пошли поля и рощи. Было уж очень поздно, царственно сиявший Юпитер склонялся к западу. Никто не знал, где Палинпу и когда мы туда придем.

— Хорошо еще, что идем мы туда на обычное безделье, — мрачно философствовал Селюков. — А если бы мы там были нужны?

Озябший аптекарь, сильно подвыпивший, вылез из своей повозки. В полушубке и папахе, он шагал по пыльной дороге и заплетающимся языком говорил:

— Приятно этак ехать на холоде, когда знаешь, что впереди тебя ждет чаек, ужин, постель теплая... А так неприятно!

Палинпу мы не нашли и заночевали в встречной деревне, битком набитой войсками. Офицеры рассказывали, что дела наши очень хороши, что центр вовсе не прорван; обходная армия Ноги с огромными потерями отброшена назад; почта, контроль и казначейство переводятся обратно в Хуньхепу.

Утром оказалось, что мы находимся всего в полуверсте от Палинпу. Мы перешли туда.

Медленно тянулся день за днем. С свернутыми шатрами и упакованным в повозки перевязочным материалом, мы без дела стояли в Палинпу. В голубой дымке рисовались

стены и башни Мукдена, невдалеке высилась большая, прекрасная кумирня...

Пушки гремели за Мукденом и оттуда широким полукругом к югу, загибаясь за нами на восток. Мимо нас непрерывной вереницей тянулись на север обозы. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы.

— Ваше благородие, как тут проехать в Сандиазу?

— Не знаю. Она в каких местах?

— Не могу знать. Велено только поскорее донесение доставить в Сандиазу...

И солдат ехал дальше.

Мимо нас проходили на север госпитали. Другие, подобно нашему, стояли свернутыми по окрестным деревням и тоже не работали. А шел ужасающий бой, каждый день давал тысячи раненых. Завидев флаг госпиталя, к нам подъезжали повозки с будочками, украшенными красным крестом.

— Ваше благородие, тут у вас госпиталь? Раненых мы привезли.

— Не принимаем. Госпиталь свернут.

— Ну, что же нам делать? Ах-х ты, боже мой!.. С утра ездим, нигде не можем сдать.

— А вы откуда?

— Из Суятуня выехали...

Из Суятуня? Это двадцать верст!.. Из будочек неслись стоны и оханья. Транспорт, потряхивая изувеченных людей, вяло двигался дальше искать пристанища.

Как-то прошел мимо нас и транспорт носилок на мулах. Спереди и сзади в бамбуковые ручки носилок было впряжено по мулу, на носилках под парусиновыми будочками лежали раненые. Идея прекрасная: мулы идут, бойко и ровно перебирая тонкими ногами, носилки плавно колышутся, как лодочка на ленивых волнах. Идея прекрасная.

Но на моих глазах пара мулов заартачилась, стала биться, сломала ручку носилок и вывалила на землю солдата с раздробленным пулей коленным суставом. Солдаты-погонщики рассказывали, что мулы совсем не съезжены, из двухсот мулов только десять пар «идут ладно», а остальные то и дело артачатся, ломают и опрокидывают носилки. К тому же, погонщики наши совсем не умели управлять мулами, привыкшими к китайским понуканиям; погонщики постоянно путали эти понукания, командовали «вправо», когда хотели повернуть влево. В довершение всего, по курьезной иронии гения языка, китайское «тпру» или «тпруе» обозначает как раз обратное тому, что у нас: наше «но»! По забывчивости, погонщики кричали: «Тпру!.. Стой, дьявол!.. Тпру!..» А мулы добросовестно пускались вскачь.

Заходили к нам в фанзу продрогшие офицеры, просили обогреться, пили чай

— Как дела?

— Плохи! Все наши чудно укрепленные позиции приказано бросить и отойти за Хуньхе.

— Но скажите, — как все это случилось? Ведь войск у нас больше, чем у японцев.

— Больше! — задумчиво отзывался казачий есаул. — Больше. И артиллерия теперь лучше.

— Пехота наша стреляет куда метче японской. Японцы только тем берут, что не жалеют патронов.

— Да... О кавалерии уж и говорить нечего.

— А нас все-таки бьют...

— Почему?

— Да, почему?..

А обозы и войска все двигались мимо. Где штаб нашего корпуса, никто не знал. Подъезжали к нам казаки-забайкальцы, подъезжали саперы почтово-телеграфной роты, ординарцы, — все спрашивали, где штаб корпуса.

— Не знаем! Сами очень этим интересуемся!

Мы были в недоумении, — уходить ли нам или ждать приказаний. Может быть, об нас просто забыли, а может быть, и нет никакой нужды уходить. Воротился ездивший в Мукден каптенармус и сообщил, что на вокзале сняты все почтовые ящики, телеграмм не принимают; на платформе лежат груды прибывших из России частных посылок, их раздают желающим направо и налево: «все равно, сейчас все будем жечь».

На юге поднимались густые клубы дыма от подожженных нами складов на Фушунской ветке. Пушки гремели. Прошел мимо Каспийский полк. Прошли, шатаясь, два пьяных, исхудалых солдата, с глазами, красными от водки, пыли и усталости.

— Ваше благородие, куда тут Петровский полк прошел? — спрашивали они неслушающимися языками.

— Не знаю... Где это вы выпили?

— Мимо складов шли, через ветку. Все раздают, сколько хочешь, бери, — спирт, коньяк, сахар... Одежу всякую...

Прошли обозы 19 и 20 восточно-сибирских полков. Обозы сопровождал офицер. Мы спросили его, в каком положении дела.

— Сзади только наши два полка, больше никого нет. За ними японцы. Ваш госпиталь зачем здесь?

— Мы не получали приказа двигаться.

— Я бы вам советовал сняться и уйти. А то с нами под Ляояном было: замешались госпитали, нашим полкам пришлось их прикрывать, из-за этого мы массу понесли потерь.

— А скажите, пожалуйста, — правда, мы отдаем Мукден?

— Мукден?! — изумился офицер. — Что вы такое говорите! Не-ет!.. Ведь армия только меняет фронт, больше ничего.

Настал вечер — тихий, безветренный. Солнце село, запад был красновато-мутный от пыли и дыма. Засветился тонкий серп молодого месяца, под ним зеленоватым светом мерцала вечерняя звезда. Черные клубы пожарного дыма стали окрашиваться заревом. В соседней деревне, на берегу реки Хуньхе, стали восточно-сибирские стрелки 19 и 20 полков. Главный врач поехал туда посоветоваться, что нам делать. Начальник бригады, генерал Путилов, предложил оставить у него одного нашего солдата; через этого солдата он даст нам: знать, когда уходить.

Всю ночь на юге, над подожженными складами, колыхались огромные клубы огненного дыма. На западе вздымалось и быстро росло новое зарево. В роще близ соседней деревни часто стучали в темноте топоры: стрелки готовили засеки.

Назавтра, 24 февраля, с раннего утра кругом загремели пушки. Они гремели близко и со всех сторон, было впечатление, что мы уж целиком охвачены одним огромным гремящим огненным кольцом. В соседней деревне тучами рвались шрапнели, ахали шимозы, трещали ружейные пачки: японцы, под огнем наших стрелков, переправлялись через реку Хуньхе.

Все кругом были заняты огромным, важным, смертносерьезным делом. А мы стояли — без дела, без цели, без смысла, как незваные гости, пришедшие не вовремя.

В одиннадцатом часу из соседней деревни прибежал дежуривший там наш солдат. Он принес нам приказание генерала Путилова немедленно сняться и уходить на север, к Хоулину.

У нас все было готово, лошади стояли в хомутах. Через четверть часа мы выехали. Поспешно подошла рота солдат и залегла за глиняные ограды наших дворов. Из соседней деревни показались медленно отступавшие стрелки. Над

ними зарождались круглые комочки дыма; с завивающимся треском рвались в воздухе шрапнели; казалось, стрелков гонит перед собой злобная стая каких-то невиданных воздушных существ.

Мы ехали на север. С юга дул бешеный ветер, в тусклом воздухе метались тучи серо-желтой пыли, в десяти шагах ничего не было видно. По краям дороги валялись издыхающие волы, сломанные повозки, брошенные полушубки и валенки. Отставшие солдаты вяло брели по тропинкам или лежали на китайских могилках. Было удивительно, как много среди них пьяных.

Шагали по дороге три солдата. Они были трезвы и изнурены.

— Какого полка?

— Иркутского.

— Где же ваш полк?

— Не можем знать, ищем его.

Их полк стоял около Ердагоуской сопки. Эти трое находились впереди окопов, в секрете. Ночью полк отвели от позиций, а о них забыли. Хватились они, — окопы пусты, войска ушли…

Обозов на дороге скоплялось все больше, то и дело приходилось останавливаться. Наискосок по грядам поля шел навстречу батальон пехоты. Верховой офицер хриплым озлобленным голосом кричал встречному офицеру:

— Александр Петрович, где полковник Панов?

— Не знаю, я его два дня не видал.

— Черт их всех удави! Это не порядок у нас, а б...к какой-то!.. Куда батальон вести?

Как будто в самом воздухе начинала чувствоваться беспомощная, недоумевающая растерянность. Видно было, никто кругом ничего не знает и не понимает. Обозы окон-

чательно остановились. По поперечной дороге непрерывной вереницей мчались к западу орудия забайкальской казачьей батареи. Мелькали в пыли черные тонкодулые пушки, морды лошадей, желтые околыши, бронзовые, косоглазые лица бурятов-ездовых. Мы стояли. Меж орудий Проскочил на нашу сторону запыленный верховой офицер-ординарец. У него было молодое, измученное и растерянное лицо.

— Не знаете, где тут деревня Юншинпу? — торопливо спросил он нас.

— Не знаем.

— Эй, ты, ходя (приятель)! Где тут Юншинпу? — крикнул он проходившему китайцу.

Китаец, не поднимая головы, молча шел по дороге. Офицер наскакал на него и бешено замахнулся нагайкой. Китаец что-то стал говорить, разводил руками. Офицер помчался в сторону. Из-под копыт его лошади ветер срывал гигантские клубы желтоватой пыли.

Вдруг мчавшаяся батарея стала задерживаться. Казаки-буряты натягивали поводья, лошади заезжали в сторону, орудия остановились. Громко ругаясь, проехал офицер-артиллерист.

— Опять велено назад повернуть! — обратился он к нам, незнакомым, и в бешенстве разводил руками. — Поверите ли, с утра все время только и делаем, что мотаемся с одного конца на другой; то к Мукдену пошлют, то поворачивают назад!..

И в обратную сторону опять замелькали в пыли орудия, и запрыгали темные лица бурятов с приплюснутыми носами.

Дорога очистилась, мы двинулись дальше. Шли, шли со всех сторон гремели пушки, сзади и справа трещал частый ружейный огонь.

Часам к двум мы пришли в Хоулин. Но останавливаться здесь нечего было и думать. Все поспешно снимались и уходили на север. На откосе горы, заросшей громадными кедрами и соснами, мы только сделали привал на полчаса, чтоб поесть. С дороги сквозь деревья мчались клубящиеся тучи пыли, пламя наших костров пригибалось к песку. Выше нас, под соснами, трепыхали белые флаги с красным крестом, там работал перевязочный пункт Новочеркасского полка и какой-то дивизионный лазарет. Окровавленные раненые шевелились, стонали, умирали. Увезти их было не на чем, и они лежали рядами. За горой лихорадочно трещала ружейная стрельба, пули жужжали в соснах. С вершины горы видны были перебегавшие назад новочеркассцы, падали убитые и раненые, следом наступали растянутыми цепями японцы.

Ехать, ехать!.. Как вечные жиды, бездельные, никому не нужные, мы двинулись дальше с десятками повозок, нагруженных ненужным «казенным имуществом». Выбросить вон всю эту кладь, наложить в повозки изувеченных людей, на которых сейчас посыплются шрапнели... Как можно! Придется отвечать за утерянное имущество. Ружейная пальба становилась ближе, громче. Раненые волновались, поднимались на руках, в ужасе прислушивались...

И мы уехали.

Шла широкая китайская дорога, с обеих сторон заросшая кустами. В клубах пыли густо двигались обозы. На краю дороги, у трех фанз, толпился народ; подъезжали и отъезжали повозки. Это был интендантский склад. Его не успели вывезти, и прежде, чем зажечь, раздавали все направо и налево проходившим войскам. Подъехал наш главный врач со смотрителем, взяли ячменю, консервов.

— Хотите бочку спирта? — предложил интендантский чиновник.

У Давыдова жадно загорелись глаза; он колебался. Но смотритель решительно воспротивился: недостает, чтоб команда еще перепилась в дороге.

Наш обоз двинулся дальше. Солдаты втихомолку озлобленно ругали смотрителя за отказ от спирта.

А у огромной спиртовой бочки с выбитым дном стоял интендантский зауряд-чиновник и черпаком наливал спирту всем желающим.

— Бери, ребята, больше! Все равно жечь!

Кругом толпились солдаты с запыленными, измученными лицами. Они подставляли папахи, чиновник доверху наливал папаху спиртом, и солдат отходил, бережно держа ее за края. Тут же он припадал губами к папахе, жадно, не отрываясь, пил, отряхивал папаху и весело шел дальше.

Все больше мы обгоняли шатающихся, глубоко пьяных солдат. Они теряли винтовки, горланили песни, падали. Неподвижные тела валялись у краев дороги в кустах. Три артиллериста, размахивая руками, шли куда-то в сторону по грядам со срезанным каоляном.

Но кто же были эти интендантские чиновники? Предатели, подкупленные японцами? Негодяи, желавшие порадоваться на полный позор русской армии? О, нет! Это были только добродушные российские люди, они только не могли принять душой мысли, — как можно собственной рукой поджечь такую драгоценную жидкость, как спирт?! И во все последующие дни, во все время тяжелого отступления, армия наша кишела пьяными. Как будто праздновался какой-то радостный, всеобщий праздник. Рассказывали, что в Мукдене и в деревнях китайцы, подкупленные японскими эмиссарами, напаивали наших измученных боем отступавших солдат дьявольской китайской сивухой — ханьшином. Может быть, это и было. Но все пьяные солдаты, которых я расспрашивал, сообщали, что они получили

водку, спирт или коньяк из разного рода русских складов, обреченных на сожжение. Зачем было японцам тратиться на китайцев! У них был более страшный для нас, более верный и бескорыстный союзник. Это тот самый черный союзник, с которым тщетно боролся главнокомандующий своими бумажками; союзник, неуловимо перерывавший наши телеграфные и телефонные сообщения, разворачивавший самые нужные участки нашего железнодорожного пути и систематически сеявший неистовую к нам ненависть среди мирных местных жителей.

Мы шли по песчаным, лесистым холмам до наступления темноты. Грохот пушек чуть доносился теперь из глухой дали.

У дороги, в лесу, стоял на горке богатый китайский хутор, обнесенный каменной стеною. Мы остановились в нем на ночевку. Все фанзы были уже битком набиты офицерами и солдатами. Нам пришлось поместиться в холодном сарае с сорванными дверями.

Знакомые лица, — осунувшиеся, зеленовато-серые от пыли, — казались новыми и чужими. Плечи вяло свисали, не хотелось шевелиться. Воды не было, не было не только, чтобы умыться, но даже для чая; весь ручей вычерпали до дна раньше пришедшие части. С большим трудом мы добыли четверть ведра какой-то жидкой грязи, вскипятили ее и, засыпав чаем, выпили. Подошли два знакомых офицера.

— Как дела?

Они безнадежно махнули рукою.

— Везде войска бегут, японцы напирают отовсюду... Сегодня заняли Мукден...

— Сегодня... Позвольте, ведь сегодня — 24-е февраля!.. — воскликнул я.

Мы переглянулись пораженные; еще неделю назад японцы приглашали русских на 25-е февраля к себе в Мукден «на блины»... Конечно, это было только случайное совпадение, но какой-то суеверный, трепет пробежал по душе.

Быстро вошел помощник смотрителя Брук, держа над головой белый листок.

— Господа! Сегодняшний номер «Вестника Маньчжурских Армий»!

Мы жадно схватились за листок...

Вот он и теперь лежит передо мною, — я сохранил его, — этот исторический листок, вышедший из-под типографского станка во время всеобщего бегства русской армии.

Номер от 24 февраля 1905 г. (№ 201–202).

Сегодня были отбиты атаки японцев на Нюсинтунь, причем наши войска сами перешли в наступление... На Саньтайцзы было отбито пять атак... Потери неприятеля очень велики, и сегодня к вечеру он заметно подался назад... Сегодня утром выбита последняя партия японцев из дер. Юнхуантунь. Командир корпуса именем Главнокомандующего благодарил войска... По наблюдению нашего охотника, японские обозы отступают на юг... Войска бодры, готовят чай (!), ожидая атаку... Японцы, расстреливаемые почти в упор, отступили... С утра идет упорный бой на позициях в окрестностях Фанцзятуня. На этом участке в резервах боевых позиций играет музыка некоторых наших полковых оркестров... Настроение войск — спокойное, веселое...

Следующий номер «Вестника» уже не вышел, — типография была брошена, и редакторам пришлось спасаться поспешным бегством. Но до последней минуты, до последнего номера они твердили, что все у нас идет великолепно, и ни словам не обмолвились о том, что наши позиции уже отданы японцам, что склады подожжены, Мукден бросается...

Лучше же всего окончание номера. Виньетка, а за ней с буквальной точностью следует:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы; —
Подожди немного.
Отдохнешь и ты.

Эти стихи, в переводе великого русского писателя-поэта поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Юрьевича Лермонтова, убитого в 1841 году, участника сражений, — человека воинской доблести. с истинно-русской душой.

Точка. Все... Что это? К чему? В чем смысл?

Все хохотали. А назавтра, во время отступления, повсюду уже повторялось стихотворение, в pendant к вышеприведенному импровизированное одним молодым казаком-хорунжим:

Тихо на дороге
Сладким сном все спит,
Только грозный Ноги
На Харбин спешит.
Нас уже немножко,
Все бегут в кусты...
Подожди, япошка!
Отдохни ж и ты!

Всю ночь мы промерзли в холодном сарае. Я совсем почти не спал от холода, забывался только на несколько минут. Чуть забрезжил рассвет, все поднялись и стали

собираться. На хуторе набилась масса обозов. Чтоб при выезде не было толкотни, старший по чину офицер распределил порядок выступления частей. Наш обоз был назначен в самый конец очереди.

В серых сумерках повозка за повозкой выезжали на дорогу. До нас было еще далеко. Мы напились чаю и зашли с Шанцером в фанзу, где спали офицеры. Она была уже пуста. Мы присели на кхан (лежанку). Постланные на нем золотистые циновки были теплы, и тепло было в фанзе. Я прилег на циновку, положил под голову папаху; мысли в голове замешались и медленно стали опускаться в теплую, мягкую мглу.

Шанцер будил меня. Я ответил, что посплю, пока придет время ехать, пусть он тогда пришлет за мною. Через полчаса я проснулся, освежившийся, бодрый. Вышел на двор. За раскидистыми соснами пылала красная заря, было совсем светло. По пустынным дворам хутора тихо и неслышно ходил старый китаец-хозяин.

— Ваше благородие! Ваше благородие! — услышал я задыхающийся от волнения голос моего денщика.

Я откликнулся. Он подбежал.

— Идите скорее, все уезжают!.. Сзади японская кавалерия напала...

Мы побежали за хутор, где ночевал наш обоз. В воздухе стояла близкая и частая ружейная трескотня. Привыкший к ней, я раньше совсем не обратил на нее внимания... Что такое? Как тут успели появиться японцы?

Наши повозки одна за другой быстро выкатывались на дорогу. Шанцер и главный врач, верхами, стояли на вершине горки и смотрели. Я сел на лошадь и подскакал к ним. Только что поднявшееся солнце косыми лучами освещало желтовато-серую равнину, по ней мчались всадники чуждого вида, с желтыми околышами фуражек; они мчались

наперерез дороге, по которой мы вчера подъехали к хутору. На дороге видны были сквозь пыль русские обозы; солдаты с безумными лицами нахлестывали лошадей. За горой трещали частые ружейные выстрелы и бухали пушки.

Мы повернули и поскакали следом за нашим обозом. Дорога шла вдоль подножия горы, заросшей густым лесом. Над деревьями зародился беловатый комочек дыма, и донесся звук разорвавшейся шрапнели. Другой, третий дымки, — и шрапнели ровно и часто пошли лопаться над лесом.

По дороге бешено мчались обозы, пешие солдаты бежали кустами. На дворе придорожной фанзы суетились бледные пехотинцы, дрожащими руками поспешно надевали вещевые мешки и прицепляли котелки. Из фанзы вышел офицер с фуражкой на затылке.

— Это что такое?! — грозно крикнул он на своих солдат.

— Вот, ваше благородие!.. Все уезжают...

— Уезжают?.. Пусть уезжают!.. А мы будем драться...» Смирно!

Обозы мчались... На дороге было тесно, часть повозок свернула в сторону и скакала прямо по полю, через грядки. Из лесу вылетел на нашу дорогу артиллерийский парк. Двойные зеленые ящики были запряжены каждый в три пары лошадей, ездовые яростно хлестали лошадей по взмылившимся бокам. Ящики мчались, гремя огромными коваными колесами. Артиллеристы скакали, как будто перед ними была пустая дорога, а она вся была полна обозами.

— Стойте вы, дьяволы! Куда прете? — озлобленно кричали на артиллеристов.

Но те мчались, опрокидывая повозки. Над крутившимися обозами пронесся отчаянный крик и вдруг оборвался: дышло зарядного ящика на всем скаку ударило в голову

солдата, поддерживавшего на косогоре свою повозку, он с расколотым черепом повалился под колеса. Парк промчался дальше.

То там, то здесь опрокидывалась повозка. Солдаты обрубали постромки, садились на лошадей и скакали прочь. Глаза на бледных лицах были огромные, безумные, невидящие.

А справа от нас, по широкой, отлогой лощине, навстречу лопавшимся шрапнелям шла в контратаку рассыпанная цепь. Косые лучи утреннего солнца скользили по лощине, солдаты шли в вывернутых наизнанку папахах, с винтовками в руках, с строгими, серьезными лицами. Сзади, из канавы, выглядывали штыки резервов.

Значит, есть защитники! И у всех стало легче на душе. Паника утихала. Обозы спешили, но безумие исчезло с лиц, глаза становились человеческими. Дорога повернула направо, прошла сквозь большую китайскую деревню. Лесистые горы, трещавшие выстрелами, остались позади.

Вдруг остановка. Наезжавшие сзади обозы один за другим остановились. Что такое?

Мы проехали вперед. Прямо поперек дороги стояла артиллерия.

— Нельзя ли вам немножко отъехать в сторону, чтобы пройти обозам? — просили обозные офицеры.

Артиллерийский подполковник равнодушно и высокомерно оглядывал их.

— Не могу. Жду приказа.

С десять минут все стояли. За орудиями тянулась пустынная дорога.

— А вы слышали? Обозы, которые шли за нами, все перехвачены японцами.

Опять по обозам пронеслось что-то нервное. Артиллеристы стояли неподвижно и молчаливо-насмешливыми

глазами смотрели на волновавшиеся обозы. Наконец, подполковник что-то скомандовал. Батарея взъехала на горку и стала устанавливать орудия. Обозы двинулись.

Орудия постояли на горке, — вдруг видим, их снова прицепили к передкам, батарея спустилась с горки и влилась в гущу обозов.

— Повоевали! Будет! — смеялись обозные.

Вдали над полями тянулась с юга на север густая серо-желтая полоса пыли, уходившая под небо. Это была Мандаринская дорога, сплошь запруженная отступавшими.

VIII. На Мандаринской дороге

По широкой дороге сплошным потоком медленно двигались обозы. Повозки, арбы, орудия и зарядные ящики, как льдины во время ледохода, теснились, жали друг друга, медленно останавливались и медленно двигались дальше. Клубилась едкая серо-желтая пыль, слышались хриплые крики и ругательства.

Наш обоз стоял на краю дороги, но въехать на дорогу не мог. Повозки непрерывно двигались одна за другою, задняя спешила не отстать от передней, чтоб не дать нам врезаться.

— Эй, придержи лошадей! — грозно-начальническим голосом крикнул наш смотритель обозному солдату.

Солдат взглянул, засмеялся и хлестнул лошадей. Повозка прокатилась, следом за ней все катились новые повозки, спешили и ревниво жались друг к другу. Но одна зазевалась и отстала на аршин от передней. Кучер нашей повозки встрепенулся, яростно ударил по лошадям и вкатился на дорогу. Его кнут со свистом захлестал по мордам наседавших сзади лошадей. Наши повозки одна за другой быстро вкатывались на дорогу, кучера-солдаты с злыми и торжествующими лицами хлестали кнутами морды подгоняемых наперерез, встававших на дыбы чужих лошадей. Все кричали, ругались.

И повсюду слышны были крики и ругательства.

Был ясный, теплый, слегка ветреный день. В стороны тянулись серо-желтые поля с грядами. Обозы в десять-двадцать рядов медленно двигались по дороге. По тропинкам вдоль края дороги брели беспорядочные толпы строевых солдат, ехали верховые офицеры, казаки, обозные солдаты, на лошадях, с обрубленными постромками. В гуще повозок наш обоз постепенно разрывался, он шел теперь уже в трех разных местах. Было удивительно, как легко он и все кругом терялись из виду. На минуту заговоришься с кем-нибудь,

оглянешься, — и нет уж знакомых повозок. Тянутся на шестерочных фурах гигантские черные понтоны, трясутся китайские арбы с флагами красного креста... Скачешь вперед, скачешь назад, — нигде ни одного знакомого лица, ни одной знакомой повозки. Едешь один, бросив надежду когонибудь отыскать, — вдруг совсем рядом замечаешь повозку своего госпиталя, вдруг окликает чей-нибудь знакомый голос.

Поток обозов, окутанный пылью, медленно двигался, останавливался, стоял, опять начинал двигаться. В узких местах дороги, — у въездов в деревни, у мостов, — шумела и крутилась свалка. Десять рядов повозок не могли проехать зараз, и они мчались, старались перерезать друг другу путь, сталкивались, мешали друг другу. В пыли мелькали красные, озверелые лица, слышался звук затрещин, свист кнутов, хриплые ругательства. Как всегда, начальство, такое надоедливое там, где оно не нужно, здесь отсутствовало; никто властный не распоряжался, повозки бились и загораживали путь в бессмысленной свалке. Сзади наседали другие обозы, получался огромный затор, и весь поток до самого горизонта останавливался.

С боковых дорог на Мандаринскую дорогу вливались все новые обозы. Позади широким полукольцом гремели пушки, перекатывалась ружейная трескотня. По каолиновым грядкам шел к дороге сибирский стрелок с окровавленной повязкой на руке.

— Из боя сейчас?

— Так точно!

— Ну, что японцы?

Он махнул рукою.

— Так и прут!.. Без числа.

Проехала крытая парусиной двуколка, в ней лежал раненый офицер. Его лицо сплошь было завязано бинтами, только чернело отверстие для рта; повязка промокла, она

была, как кроваво-красная маска, и из нее сочилась кровь. Рядом сидел другой раненый офицер, бледный от потерн крови. Грустный и слабый, он поддерживал на коленях кровавую голову товарища. Двуколка тряслась и колыхалась, кровавая голова моталась бессильно, как мертвая.

Среди пыли, в груде двигающихся обозов, мелькнуло знакомое женское лицо. Безмерно-измученное, бледное, с черными кругами вокруг глаз. Я узнал сестру Каменеву, жену артиллерийского офицера. Каменева ехала в своем шарабане одна, без кучера. Она сидела боком, а на дне шарабана лежало что-то большое, угловатое, прикрытое клеёнкой.

Я пробрался меж повозок к Каменевой, поздоровался.

— Вы одни?

— Одна. — Она ответила голосом, как будто из другого мира. Глаза смотрели неподвижно, — огромные, темные, средь темных кругов. — Вы знаете, я заказала в Мукдене гроб и хотела сдать его на поезд, отвезти в Россию... Гроб не поспел, так на поезд не приняли... Не приняли… Станцию уже бросали.

Вдруг я понял: то большое и угловатое, что лежало под клеёнкой на дне шарабана, был труп ее мужа. Сквозь ветерок от шарабана прорывался удушливый запах гниющего мяса.

— Варвара Федоровна! Ну, что уж теперь делать! Похороните тело здесь, я вам это устрою... Где вам его с собой везти!

Она с чуждым удивлением взглянула на меня.

— Нет, я его довезу... Если тут брошу, все равно с ума сойду...

— Ваше благородие! Господин доктор! — кричал с той стороны дороги солдат, различивший сквозь пыль мою белую перевязь с красным крестом. Он махал мне рукой и подзывал к себе.

Я пробрался сквозь поток обозов. На откосе дороги лежал солдат с мутными глазами и бледным, скорбным лицом. Возле него стоял другой солдат с повязкой на голове.

— Господин доктор! Окажите ему какую помощь! Что же это за безобразие! Человек пулей в живот ранен, а его никто и подобрать не хочет... Околевай, как собака?

Я слез с лошади, осмотрел раненого. Простреленный живот был покрыт повязкой, пульс едва прощупывался.

— Вон сколько повозок едет, — доверху гружены! Ишь, целый воз с валенками... А его тут бросить?.. Валенки дороже человека!

Что было делать? Мы останавливали повозки, просили скинуть часть груза и принять раненого. Кучера-солдаты отвечали: «не смеем», начальники обозов, офицеры, отвечали: «не имеем права». Они соглашались положить раненого поверх груза, но раненый так здесь и очутился: с раной в животе лежал на верхушке воза, цепляясь за веревки, — обессилел и свалился.

И ехали мимо повозки. И проезжали люди с виноватыми лицами, стараясь не смотреть на лежащего человека. Вспоминалось, как все жадно справлялись, — защищает ли нас кто сзади, есть ли за нами прикрытие? Там бились люди, спасая нас, тоже вот и этот умиравший. Теперь, ненужный, он валялся в пыли на откосе, и все старались поскорее проехать мимо, чтоб не обжег их скорбный упрек, глядевший из мутившихся глаз.

У меня было несколько порошков опия. Я дал раненому порошок, влил ему в рот из фляги коньяку. Что еще можно было сделать?

Тихонько, как вор, я сел на свою лошадь и поехал дальше.

Валялась опрокинутая двуколка, нагруженная винтовками. Валялись мешки с овсом и рисом. Издыхающие лошади широко вздували огромные животы, ерзая по земле

вытянутыми мордами. Брели беспорядочные толпы пехотинцев с вяло болтающимися на плечах винтовками, ехали казаки. В сверкавшей под солнцем дали, как глухие раскаты грома, непрерывно гремели пушки.

Подъехал знакомый драгунский офицер.

— Ну, что, ротмистр, как там дела?

— Что! Полный разгром, полный! Наши бегут, как зайцы! Появится на горе кучка японцев, и целый полк удирает...

Ехали мимо молодцеватые казаки, с лихо заломленными набекрень шапками, — смешно было смотреть на эту молодцеватость. Стыдно было смотреть на сверкающие в пыли штыки пехоты, такие теперь негрозные и жалкие. И жалкими, никому никогда нестрашными казались вяло бредущие, мешковатые солдаты.

С пыльных лиц смотрели сконфуженные, недоумевающие глаза.

— Ваше благородие! Правда, против нас пять держав воюет?

Я вздохнул.

— Нет! Всего одна-единственная!

— Ни-икак нет! Пять держав! Верно знаем. Откуда у одной столько войсков? Прут отовсюду без числа... Пять держав, верно!

— Какие же пять?

— Япония, значит, Китай... Америка... Англия... Потом эта, как ее?.. За нашим левым флангом какая земля лежит, эта.

— Корея?

— Так точно! Пять держав...

У спуска к мосту теснились обозы. Артиллерийский парк расталкивал вокруг себя повозки, колеса повозок трещали. Ездовые-артиллеристы горячили лошадей, готовые ринуться наперерез.

— Земляки, потише! Задавите! — крикнул обозный солдат.

— Дави! — гаркнул артиллерист, сидевший на козлах зарядного ящика.

К нему подскакал пехотный подполковник.

— Ах-х ты, с-сукин сын! Ты что тут командуешь?.. Стоять на месте! Куда прете?

Глаза артиллериста блеснули зловеще и нагло.

— «Куда»! Туда ж, куда и вы!

Грозные огоньки вспыхнули в глазах полковника. Но что-то еще более грозное и страшное мелькнуло в лице солдата. И я вдруг почувствовал, — теперь стало возможным и легким то, что еще два-три дня назад было бы трудно даже вообразить. Почувствовал это и подполковник.

— Вали, ребята! Не зевай!

Ездовые ударили по лошадям, и парк врезался в обозы. Свистели кнуты, зарядные ящики один за другим вкатывались на мост. Подполковник, бледный от гнева, молча смотрел вслед.

Все дальше, медленно и судорожно полз вперед бесконечный поток обозов. На краю дороги сидел усталый солдат, музыкант, с огромною, блестящей трубой через плечо. Ковыляла на поводу шершавая, белая китайская лошаденка, у нее была вывихнута задняя нога. Лошаденка, горбя спину, жалко прыгала боком на трех ногах. Спереди ее тянул за узду один солдат, сзади ехал другой и подгонял хворостиною. Лошаденка мало отзывалась на удары, поэтому солдат норовил попасть ей по больному месту ноги. Тогда, еще больше сгорбив спину, лошаденка начинала быстро прыгать.

— Чего вы ее не бросите? — сказал я солдату,

— Рады бы бросить. Вот уж как намучились с нею!.. Приказано вести.

Опять терялись из виду повозки и люди, опять неожиданно находились. И все, кого за эти полгода я встречал в Маньчжурии, все были здесь. Как будто тянулся какой-то бесконечный Невский проспект с огромно-незнакомой толпою, из которой каждую минуту выныривали знакомые лица.

Подъехали два саперных офицера нашего корпуса. Молодой поручик злорадно смеялся и весело потирал руки.

— Вы слышали? Весь обоз нашего корпусного командира попал в руки японцам! — сообщил он. — Ох, и рад же я! Сам, подлец, удрал, никого об отступлении не известил. Мы из-за него весь свой обоз потеряли. Вот только что на нас, то и осталось!

— И вас не известили? — засмеялся я. — Мы тоже ушли без извещения.

— Да это еще что!.. А что вчера было! Казак привез донесение, что в Фулине японцы. Корпусный засмеялся — «вздор»! — и велел нам проводить в Фулин телеграф. Там стоял штаб нашей армии. Пошли мы с нашей телеграфной ротой. Пальба адская. Посылает меня командир роты к корпусному, докладываю, что в Фулине японцы, что в нас оттуда стреляют. Корпусный выслушал. — «Стреляют?» — и ядовито смотрит на меня. — «На то, поручик, и война, чтоб стреляли! Ступайте и проводите телеграф!» Проводим, кругом обжаривают шрапнелью. Едет какой-то есаул с казаками. «Вы, — говорит, — чего здесь? Уходите скорей, японцы идут!» Помчался я в штаб, — там уж развороченный муравейник, все садятся на лошадей. Я к начальнику штаба: «Что прикажете делать с кабелем, снять его?» — «Не знаю, не знаю, как хотите! Только советую вам поскорее уходить!» — «Не можете ли вы нам дать прикрытие?» — «Нет, нет, ничего не могу! Управляйтесь, как знаете!.. До свидания!» И поскакали все...

Спутник поручика, полный и усатый штабс-капитан, угрюмо молчал. Поручик оживленно вертелся на седле и все смеялся.

— У нас кабель, а вот у капитана все понтоны попали в гости к японцам. Понтонному батальону приказали идти в прикрытие на Хуньхе, как пехоте. Отступают они, — а понтоны все вот они! «Чего вы не уехали?» — «Да нам не было приказу». Так и бросили понтоны, еле успели увести лошадей!.. То есть, такая бестолочь!.. Вот едут. Все без голов, ей-богу! Это вам только так кажется, что с головами. Головы все позади потеряны.

По краям дороги валялись пьяные. Сидит на пригорке солдат, винтовка меж колен, голова свесилась: тронешь его за плечо, он, как мешок, валится на бок... Мертв? Непробудно спит от усталости? Пульс есть, от красного лица несет сивухою...

Другой идет шатаясь, винтовка болтается на плече.

— Где это ты, земляк, выпил?

— Казаки поднесли, дай им бог здоровья... Вижу, едут все пьяные... Говорю: дали бы солдату рюмочку! — «Зачем рюмочку? Вот тебе кружка, нам не жалко. Сейчас ханшинный завод у китайцев обчистили». Выпил кружку. Как пил, — скверно так, противно! А выпил, — теплота пошла по жилам, рука сама собой за другой кружкой потянулась. Главное дело, без денег, чудак человек.

На возу сидел унтер-офицер с смеющимся лицом и из большого деревянного ящика продавал по полтиннику бутылки коньяку, рома и портвейна. Он захватил ящик в складе Красного Креста, обреченном на сожжение.

Было жарко, голова кружилась от усталости. Обозы въехали в большую китайскую деревню. Китайцы стояли у фанз, щурясь от солнца и пыли, и смотрели на отступавших с бесстрастными, ничего не выражавшими лицами.

— Ваше благородие! Ваше благородие!

На пригорке солдат нашей команды махал мне рукою.

— Пожалуйте сюда в проулок, там наши стали.

На полянке за фанзами, на берегу речки, стояли биваком оба госпиталя, наш и султановский. Стояло еще несколько учреждений нашего корпуса, тут же был и корпусный комендант.

Дымились костры, солдаты кипятили воду для чая и грели консервы. От врачей султановского госпиталя мы узнали, что они со времени выхода из Мозысани тоже не работали и стояли, свернувшись, к югу от Мукдена. Но их, конечно, штаб корпуса не забыл известить об отступлении. Султанов, желтый, осунувшийся и угрюмый, сидел на складном стуле, и Новицкая клала сахар в его кофе.

Мы закусывали, пили чай. Над улицей клубилась пыль. Скрипели обозы, слышались ругательства. За деревней через речку был узенький, ветхий мостик, и обозы приступом брали свою очередь попасть на ту сторону.

Проехал мимо разъезд казаков.

— Напрасно тут прохлаждаетесь, за горой японцы, — равнодушно сказали они.

Это было невероятно, — мы ушли слишком далеко. Но у всех появилась нервная торопливость. Спешно кончали поить лошадей и увязывали возы.

Комендант нашел около нашей полянки переезд через речку и определил порядок следования обозов. Первым был поставлен султановский госпиталь, хотя по нумерации он следовал за нашим.

Султановский обоз перебрался через речку и потянулся по пашням к Мандаринской дороге. Двинулся наш. Спуск к речке был крутой. Подъем еще круче. Лошади вытягивали зады и скользили ногами, свистели кнуты, солдаты, облепив повозки, тянули их в гору вместе с лошадьми.

Сзади нашего обоза уж скопилась масса подошедших новых обозов. Через узкий мостик тоже непрерывно лилась вереница повозок.

Вдруг за речкою, в поле около китайского кладбища, бесшумно взвился огромный столб желтовато-серого дыма, и потом донесся короткий, как будто пустой треск. Я в недоумении смотрел. Что такое? Новый столб дыма взвился средь деревьев кладбища, ветки летели в воздух, суки обламывались. Я не успел еще сознать, в чем дело, как мне все уже объяснил смерчем закрутившийся вокруг ужас.

Повозки за речкою, прыгая, мчались по грядам пашен, солдаты, наклонившись, бешено хлестали лошадей. Внизу у переправы в дикой сумятице бились люди, лошади и повозки. Все кругом рвалось и неслось куда-то.

Оглушительно ахнуло у спуска к мосту. Из дыма вылетела лошадь с сломанными оглоблями. Мчался артиллерийский парк, задевая и опрокидывая повозки. Мелькнул человек, сброшенный с козел на землю, вывернувшаяся рука замоталась под колесами, он кувыркнулся в пыли, поднялся на колени и, сбитый мчавшимися лошадьми, опять повалился под колеса.

Еще разорвался снаряд, и еще. Чей-то задыхающийся голос крикнул:

— Мишка! Руби постромки!

Голос врезался в смятенные души, как властное приказание, которого слушаются, не рассуждая. Солдаты поспешно рубили постромки у повозок, вскакивали верхом и в карьер выносились на ту сторону. Другие не догадывались сесть на лошадей. Выпускали их на волю, а сами бежали бегом.

— Мерзавцы! Вы куда? За обозной сволочью?.. По местам! — донесся из сумятицы хриплый, отчаянный, плачущий голос.

Артиллерист-поручик с обнаженной шашкой крутился верхом среди пушек, застрявших в гуще обозов. Орудийная прислуга, не глядя на него, рубила постромки у орудий.

— Ты что?.. Ты что-о?!.

Поручик размахнулся шашкой и ударил солдата по плечу. Солдат отшатнулся, молча втянул голову и побежал вниз по откосу. Худой и длинный артиллерийский капитан, с бледным лицом, с огромными глазами, сидел верхом неподвижно. Он понял, — теперь уж ничего не поделаешь.

С грохотом блеснула на пригорке шимоза и осыпала нас глиною. Солдаты-артиллеристы поспешно садились на лошадей и скакали прочь. Я поскакал следом. Поручик выронил шашку и схватился за голову.

У спуска к переправе сбились брошенные повозки, люди, лошади. По высокому берегу промчался мимо артиллерийский поручик. Его лицо было красно, губы бессмысленно бормотали что-то, глаза горели сумасшедшим огнем. В безумной скачке он мчался куда-то вдоль речки, навстречу лопавшимся шрапнелям, и его ноги бешено рвали шпорами бока лошади.

Я выскакал на тот берег. За речкою, один среди брошенных орудий, неподвижно все сидел на своей лошади худой артиллерийский капитан. У него что-то было в руке, он поднял руку, близко от головы сверкнул огонек, и капитан мешком повалился на землю с вдруг рванувшейся лошади.

В воздухе замелькали дымки шрапнелей. По пашне бежали, спотыкаясь, солдаты, другие скакали на лошадях с волочившимися по земле постромками. У всех были безумно-невидящие, прыгающие глаза. Мчались огромные повозки с черными понтонами. Мчалась тяжело нагруженная фура с красным крестом, бледный солдат на козлах сек кнутом лошадей, и было странно смотреть: он гнал их прямо на крутой косогор и обязательно должен был

опрокинуться. И фура налетела на косогор, и легко, как будто уж заранее приготовившись, свалилась в овраг, и так должно было быть.

Но как же тут очутились японцы? Потом, уже много позже, мы узнали: два-три японских орудия с бешеной удалью проскакали в образовавшийся прорыв на несколько верст вперед, без всякого прикрытия стали на горке и открыли огонь по переправе. И побежали все эти массы вооруженных людей, и погибло имущества на сотни тысяч.

Давно уже позади осталась речка с рвавшимися снарядами, а обозы все мчались вскачь. С повозок сбрасывали тяжелые вещи, чтоб легче было ехать. Сразу что-то вдруг оборвалось, и отношение к «имуществу» странно изменилось. Раньше боялись сбросить с воза пару изношенных хомутов, чтоб положить раненого, — теперь легко выбрасывали целые тюки солдатских шинелей, мешки с фуражом и припасами, офицерские чемоданы и корзины. Выбрасывали часто без всякой нужды. Было в этом что-то тянущее к себе и безудержно-стихийное. Как будто брошенное позади имущество, неслышно для сознания, шептало душам: «больше или меньше, — теперь все равно. Никто не спросит!»

Мы уже были верст за пять от речки, обозы шли уже обычным ходом. Ехал отбившийся от своего парка зарядный ящик; вдруг сидевший на козлах ящика солдат крикнул ездовым:

— Стой!

Остановились. Солдат не спеша слез, выдвинул сзади какой-то ящичек, достал деревянную ложку и осьмушку табаку.

— Довольно повозились, будя!.. Скидывай, ребята, постромки!

Постромки скинули, артиллеристы сели верхом на лошадей и, бросив ящик, поехали налегке.

Как будто нигде ни на что не стало хозяина. Мое сделалось чужим, чужое — моим. Чуть опрокидывалась повозка, солдаты бросались ее грабить. Повсюду появились люди-шакалы, вынюхивавшие добычу. Мне впоследствии рассказывали, — мародеры нарочно производили по ночам ложные тревоги и, пользуясь суматохою, грабили обозы. Во время обозной паники на реке Пухе два казака бросились ломать денежный ящик понтонного парка; фельдфебель застрелил из револьвера одного казака, ранил другого и вывез ящик...

Смеющийся солдат ехал, болтая ногами, на лошади с обрубленными постромками. Лихо сдвинув папаху на затылок, он рассказывал:

— Погнал нас японец с позиций, бежал я, бежал... Пристал к госпиталю, пошел с ним. Стали по госпиталю шрапнелями бить, я опять побежал. Вижу, фурманка стоит с лошадью. Отрезал постромки, сел и поехал. На дороге мешок с сухарями поднял, концертов (консервов), ячменю забрал для лошади — и еду вот... Расчудесно!..

Валялись надорвавшиеся лошади, сломанные повозки. Густо усеивали дорогу брошенные полушубки, тюки, винтовки. Брели беспорядочные, оборванные толпы солдат, и трудно было поверить, что так недавно это были стройные колонны войск.

— Ваше благородие, что же это такое? — спрашивали солдаты. — Совсем нас так гонят, как мы в двенадцатом году француза гнали.

— Я так думаю, — закатилась навеки счастливая звезда России! — сказал щеголеватый ефрейтор, по лицу и голосу — бывший приказчик.

Пожилой солдат с лохматой бородой мрачно отозвался:

— Превозмоглась силой матушка Рассея. Дошла до предела.

Он шагал, зловеще кивал головой и повторял непонятные слова:

— Превозмоглась силою... Превозмоглась...

И тянулась вперед бесконечная лента обозов. Опять неожиданно терялись из виду знакомые лица и повозки и снова находились. Опять сидел у дороги усталый солдат с большою, блестящей трубой через плечо. Проехала в шарабане полуобезумевшая Каменева со своим страшным грузом. Согнувшись горбом, мучительно прыгала шершавая белая лошаденка с вывихнутой ногой; ехавший сзади солдат старался ударить ее хворостиной по больному месту. Она здесь, эта лошаденка! Спаслась!.. Да, так и должно было быть. Бросались орудия и обозы, горели позади миллионные склады, а эту ненужную, увечную лошаденку тащили, спасали — и, конечно, спасут. Вдруг почуялся в этом какой-то огромный, болезненно-карикатурный символ.

Бледный казак с простреленной грудью трясся на верху нагруженной двуколки, цепляясь слабеющими руками за веревки поверх брезента. Два солдата несли на носилках офицера с оторванной ногою. Солдаты были угрюмы и смотрели в землю. Офицер, с безумными от ужаса глазами, обращался ко всем встречным офицерам и врачам:

— Ради бога, господа! Они хотят меня бросить, не позволяйте им!

Передавали слухи, что от второй и третьей армии не осталось ничего; войска без выстрела сдаются целыми батальонами; японцы несметными массами появляются всюду и бешено наседают на отступающих.

— Ну, теперь, несомненно, конец войне! — говорили откровенные.

То же самое тайною, невысказываемой мыслью сидело в головах солдат. Когда улеглась паника от обстрела переправы, откуда-то донеслось дружное, радостное «ура!».

Оказалось, саперы под огнем навели обрушившийся мост, вывезли брошенные орудия, и командир благодарил их. А по толпам отступавших пронесся радостно-ожидающий трепет, и все жадно спрашивали друг друга:

— Что это? Замирение объявлено?

Медленно, медленно двигался поток обозов. Дороги были отвратительные, подъемы крутые, мосты узкие, полуобрушившиеся. Каждый думал только о себе.

Вот — узкая дорога, поперек глубокий ухаб, и в одну сторону он глубже, чем в другую. Каждая повозка застревает в этом ухабе. Свищут кнуты над выбивающимися из сил лошадьми, надрываются от натуги помогающие солдаты, — выехала повозка! А в ухабе застревает следующая, и опять вокруг нее суета, крики и свист кнутов. Более высоко нагруженная повозка ухает в ухаб и опрокидывается набок. А взять бы пару лопат, — и в пять минут можно бы забросать ухаб землею, н тогда гони повозки хоть рысью. Но каждый думал только о себе и о своей повозке.

Но отчего же так ужасны, так непроездны были дороги? В течение всей войны мы отступали; ведь можно же было, — ну, хоть с маленькой вероятностью, — предположить, что опять придется отступать. В том-то и было проклятие: самым верным средством против отступления у нас признавалось одно — упорно заявлять, что отступления не будет, упорно действовать так, чтобы никому не могла прийти в голову даже мысль, будто возможно отступление.

Удивительное дело! Японцам за всю кампанию ни разу не пришлось отступать, но они каждый раз принимали самые заботливые и тщательные меры на случай отступления. Мы только и знали, что отступали, — и каждый раз отступление было для нас неожиданностью, и снова и снова мы отступали «неготовыми дорогами». За Телином через реку Ляохе вел всего только один железнодорожный мост.

Наша (третья) армия перешла реку по трещавшему, заливавшемуся водой льду. Разыграйся бон всего на одну неделю позже, — и по льду уж нельзя было бы перейти, и всю нашу армию японцы взяли бы голыми руками.

Мне рассказывали, что еще под Дашичао Куропаткин, осматривая госпитали, спросил одного главного врача, почему при госпитале нет бани и хлебопекарни. Главный врач замялся и ответил, что они не знают, долго ли тут придется простоять. Куропаткин твердо и спокойно заявил:

— Видите, вот река? Дальше этой реки японцы не пойдут. Стройте каменную хлебопекарню, стройте баню. Пусть солдатики попарятся.

«Дальше этой реки» японцы отбросили нас за сотни верст. Но и под Мукденом опять все шло в прежнем духе. Склады боевых и хозяйственных принадлежностей были тонкой линией вытянуты параллельно фронту. Начальствующие лица только и говорили, что отступления не будет. За неделю до мукденского боя нашим госпиталям было выражено начальством недовольство за небольшой запас дров и велено было запасти их по пять-шесть кубов. Куб в это время стоил около ста рублей. Закупили, а через две недели эти горы дров пылали перед наступавшими японцами. «Отступления не будет, отступления не будет»... Ляоян мы отдали в августе, до этого времени вся страна севернее Ляояна была в наших руках, — и мы не озаботились снять с нее хорошего плана. К чему?.. И вот в деле под Сандепу одной из причин нашей неудачи оказалось... отсутствие хороших карт, неправильное представление о местонахождении деревни Сандепу!

Слово — сила... Говорить побольше, как можно больше громких, грозных «поддерживающих дух» слов — это было самое главное. И не важно было, что дела все время жестоко насмехаются над словами, — ничего! Только еще суровее нахмурить брови, еще значительнее и зловещее произнести

угрожающее слово... При самом своем приезде Куропаткин заявил, что мир будет заключен только в Токио, — а уж через несколько месяцев вся русская армия горько-насмешливо напевала:

Куропаткин горделивый
Прямо в Токио спешил! —
«Что ты ржешь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустил?»

Прибыв в армию, Гриппенберг в торжественной речи сказал солдатам: «Если кто из вас отступит, я его заколю; если я отступлю, — заколи меня!» Сказал — и отступил от Сандепу.

В начале мукденского боя госпитали, стоявшие на станции Суятунь, были отведены на север. По этому случаю, как мне рассказывали, Каульбарс издал приказ, где писал (сам я приказа не видел): госпитали отведены потому, что до Суятуни достигали снаряды японских осадных орудий, но это отнюдь не обозначает отступления: отступления ни в коем случае не будет, будет только движение вперед... А через неделю вся армия, как подхваченная ураганом, не отступала, а бежала на север.

И уже во время самого бегства, за несколько часов до потери своей типографии, официальный «Вестник Маньчжурских Армий», сладко пел о десятках отбитых атак, о готовящемся отступлении японцев и знакомил своих читателей с произведениями «поручика тенгинского полка» Лермонтова.

Рассказывают, что во время «опийной» англо-китайской войны китайцы, чтобы испугать англичан и «поддержать дух» своих, выставляли на видных местах огромные, ужасающего вида пушки, сделанные из глины. Китайцы шли в бой, делая страшные рожи, кривляясь и испуская дикие

крики. Но все-таки победили англичане. Против глиняных пушек у них были не такие большие, но зато стальные, взаправду стрелявшие пушки. Против кривляний и страшных рож у них была организация, дисциплина и внимательный расчет.

Солнце садилось, небо стало ясным, тихим. Пахло весною, было тепло. Высоко в небе, беззаботные к тому, что творилось на земле, косяками летели на север гуси. А кругом в пыли все тянулись усталые обозы, мчались, ни на кого не глядя, проклятые парки и батареи, брели расстроенные толпы солдат.

Охватывала смертная усталость. Голова кружилась, туловище еле держалось в седле. Хотелось пить, но все колодцы по дороге были вычерпаны. Конца пути не было. Иногда казалось: еще одна минута, и свалишься с лошади. А тогда конец. Это было вполне ясно. Никому до тебя не будет дела, каждый думал о себе сам.

А там, в надвигавшемся сзади промежутке между отступавшими русскими и наступавшими японцами, ждало то, что было страшнее плена, страшнее смерти. В этом промежутке, как шакалы, отставших подстерегали жители опустошенной нами страны, эти зловеще молчаливые люди с загадочными, бесстрастными лицами. Всякий знал, — пощады от них не будет и не может быть, мы сами делали все, чтобы зажечь их души кровавою, неутолимой ненавистью к нам. Мне вспоминалось, как в забайкальской степи буряты резали для нас овцу, вспоминалось, что я тогда передумал...

И в холодном ужасе замирала душа. Изо всех сил напрягалась воля, чтоб удержать тело на седле, и рука нащупывала за поясом револьвер, — здесь ли он, избавитель на случай...

Солнце село, над зарей слабо блестел серп молодого месяца. Я съехался с Шанцером и Селюковым. Шанцер пообычному был возбужден и жизнерадостен. Селюков сидел

на лошади, как живой труп. От них я узнал, что половина нашего обоза была брошена у переправы, где мы попали под огонь японцев.

Мы условились не разлучаться и зорко следить друг за другом в этом предательском обозном потоке, глотавшем и терявшем в себе людей, как песчинки.

Становилось темнее. Серп месяца зашел. Сзади и слева клубились огненные зарева. Мы пробирались по придорожным тропинкам. Смутно-серая земля показывала под ногами несуществующие провалы и скрывала настоящие ямы. Ехать без дороги было невозможно, а пуститься на дорогу нечего было и думать; она кишела копошащимися обозами, нашим лошадям сейчас же бы порвали и поломали ноги. Днем обозы шли медленно, теперь они почти все время стояли. Двинутся, проедут сотню сажен и опять станут. Наш обоз мы давно уже потеряли из виду.

Было холодно. По сторонам дороги всюду стояли биваки и горели костры, от огней кругом было еще темнее. Костров, разумеется, нельзя было разводить, но об этом никто не думал.

Нас приютили у своего костра офицеры нежинского полка, остановившиеся с своим батальоном на короткую ночевку. Они радушно угостили нас коньяком, сардинками, чаем. Была горячая благодарность к ним и радостное умиление, что есть на свете такие хорошие люди.

На юге медленно дрожало большое, сплошное зарево. На западе, вдоль железнодорожного пути, горели станции. Как будто ряд огромных, тихих факелов тянулся по горизонту. И эти факелы уходили далеко вперед нас. Казалось, все, кто знал, как спастись, давно уже там, на севере, за темным горизонтом, а мы здесь в каком-то кольце.

Сбившийся с дороги офицер-ординарец сидел рядом со мною, мешал ложечкой чай в железной кружке и рассказывал:

— Никто не знает, где полк. Куда ехать? Вдруг вижу, — штаб нашей армии. Стоит Каульбарс, допрашивает пленного японца. Я подошел, стою. Подъехал еще какой-то офицер, спрашивает вполголоса, где седьмой стрелковый полк. Каульбарс услышал, быстро обернулся. «Что? Что такое?» — «Мне, ваше высокопревосходительство, нужно знать, где седьмой стрелковый полк». Отвернулся и пожал плечами. «Я не знаю, куда девалась вся моя армия, а он спрашивает, где седьмой полк!»

Я положил голову на ноги тяжело спавшего Селюкова, укрылся полушубком. Охватило тихим, теплым покоем. Один из офицеров озлобленно рассказывал ординарцу, его голос звучал быстро, прерывая самого себя.

— Мы стояли на фланге третьей армии, около второй. Сзади нас осадная батарея. 19-го числа вдруг узнаем, что ее увезли. Куда? Знаете, куда? В Телин!.. Мы верить не хотели. Их спасали! В начале боя спасали пушки! Страшно, — вдруг достанутся японцам!.. Да что же это такое? Пушки существуют для армии, или армия для пушек?!

Я уже начинал забываться, вдруг сознание сразу воротилось. Мне вспомнилось, — как раз около того времени, при переходе через р. Хуньхе, мы встретили роту борисоглебцев: они провожали мортиры, тоже в Телин.

— Мы дрались три дня, и артиллерии у нас не было. Против японских орудий у нас были только винтовки. Не только осадную батарю, все орудия куда-то убрали!.. У нас считается лучше положить тысячу солдат, чем подвергнуть опасности одну пушку. Телеграфируй, что легла целая дивизия, — честь! Телеграфируй, что потеряли одно орудие, — позор! И все время у нас думали не о том, чтоб

нанести пушками вред японцам, а только о том, как бы они не попали в руки японцев... Да разве позор отдать орудие, если оно сделало все, что можно?

— Да, вот японцы этого не боятся! — отозвался глухой бас. — Нахальнейшим образом вылетают с орудиями вперед без всякого прикрытия и жарят, куда нужно.

— И правильно! Пропала пушка, — черт с нею! Что нужно было, сделала!

Я слушал, и вдруг мне вспомнился один эпизод из итальянского похода Бонапарта. Он осаждал Мантую. Ей не выручку двинулась из Тироля огромная австрийская армия. Тогда Бонапарт бросил под Мантуей свои тяжелые осадные орудия, около двухсот пушек, ринулся навстречу австрийцам и разбил их наголову... Хотелось смеяться при одной мысли, — кто бы у нас посмел бросить двести осадных орудий! Всю бы армию погубили, а уж пушки бы постарались спасти.

Становилось понятным, почему и наши госпитали так поспешно отводились назад в самом начале боя. Везде была безмерная, ждущая самого худшего осторожность.

Не осторожность холодной, все взвешивающей отваги. Осторожность трусости, боязнь риска, боязнь, что скажут там...

Я засыпал. Тот же озлобленный, сам себя прерывающий голос ругал артиллеристов:

— Это нарыв на теле армии, все равно, что генеральный штаб. Дворянчики, в моноклях, французят, в узких брючках и лакированных сапогах... Когда нам пришлось идти в контратаку, оказалось, никакой артиллерии нет, мы взяли деревню без артиллерийской подготовки... А они, голубчики, вот где! Удирают и всех топчут по дороге! Знают, что их орудия — самая большая драгоценность армии!

— Нет, господа, но что же это солдаты наши? — спрашивал другой голос, тихий и грустный. — Где эти прежние львы? Выглянет из-за могилок пара японцев, и целая рота бежит...

— Сволочь-солдат! — сердито прогудел глухой бас. — Эту всю армию только по госпиталям разложить, а чтобы Куропаткин их объезжал и раздавал теплые фуфайки.

— Доктор! Доктор! Проснитесь!

Рука мягко и осторожно трогала меня за плечо. Батальон уходил. Мы встали.

Было все так же темно, везде горели костры; внизу, на дороге, чернели кишевшие обозы. Наши голодные лошади грустно пощипывали по земле остатки прошлогодней травы. Со сна стало еще холоднее, спать хотелось безмерно.

Проходили мимо кучки солдат.

— Не слыхать, далеко японцы?

— За версту отсюда. Сейчас вон за той горой.

Кругом были крутые обрывы. Мы сели верхом, спустились на дорогу и поехали, пробираясь между стоявшими обозами. Проехали с версту. Обозы стояли, как остановившийся на бегу поток. Горели костры.

Загораживая проезд, темнели тяжело нагруженные фуры; дальше перед ними была ровная, пустая дорога. Солдаты дремали на повозках.

— Чего это вы стоите? Сломалось у вас что?

— Никак нет.

— Что ж вы других задерживаете?

Они помолчали.

— Лошадей кормим... Их благородие, господин капитан, легли спать, не велели себя будить.

— Вот негодяй!.. Чего же вы в сторону не съедете? Разве не видите, из-за вас все обозы стоят?!

— Приказано тут стоять, а то потом трудно будет въехать на дорогу.

Услышал наш разговор подъехавший сзади обозный подполковник. Шатаясь и задыхаясь от негодования, он пошел будить капитана.

Мы поехали дальше. Постепенно дорога снова заполнялась обозами, они теперь двигались, и пробираться среди них становилось все труднее. Мы чуть не потеряли Селюкова. А ехать по краю дороги было невозможно... Все равно! Дождемся здесь света, будь, что будет!

На пригорке сидели у костра три солдата-сапера, стояли обозные фурманки. Солдаты потеснились и пустили нас к костру.

— Что, ваше благородие, правду болтают, будто замирение объявлено? — спросил меня один.

— Ну, сейчас где же переговоры вести, не найдешь никого. А мир, конечно, близко. Продолжать войну невозможно, это совсем ясно.

— Где уж там! Пора бы кончать. Сколько времени воюем! — Он помолчал. — А как скажете, платить нам придется японцу?

— Да, вероятно, потребуют и контрибуции.

— Еще больше на крестьянство тягости наложат... Нет, тогда уж лучше дальше воевать.

Сзади раздался в темноте один ружейный выстрел, другой и затрещала пальба. Пальба была не дальше, как за версту. Все насторожились.

— Ого! Не дремлют японцы! — сказал Шанцер, нервно оживляясь, — Гонят без отдыха. Видно, решили действовать иначе, чем прежде. Послушались советов.

— И кто им эти советы дает! — удивился солдат.

— В иностранных газетах все время пишут, что главная ошибка японцев, — разобьют, а преследовать не преследуют.

Солдат почесал за ухом.

— И так разумен, а его еще со всех сторон учат!

Пальба разгоралась, становилась ближе. Внизу мчались по дороге обозы, слышались крики и ругательства. Мимо костра пробегали кучки солдат.

— Что это там, земляки, за пальба?

— Что! Наседает японец, все обозы отбил!

— А прикрытие есть у нас?

— Какое прикрытие! Стрельнут наши раз и бегут...

Пробегали мимо солдаты, и мчались внизу обозы. Саперы поспешно сводили свои фурманки на дорогу.

— Поедем и мы? — спросил Шанцер.

Селюков сидел смертельно усталый, понурив голову.

— Я не поеду. Все равно с лошади свалюсь.

У меня на душе тоже была тупая, ни на что не отзывающаяся усталость. Ну, в плен возьмут, ну, застрелят, — это было так бесконечно безразлично! Спать, спать — одно лишь важно.

— Я тоже спать лягу, — сказал я. — Да и где тут ехать? Все равно обозы затопчут.

Мы стали укладываться у костра. Трещала и перекатывалась пальба, в воздухе осами жужжали пули, — это не волновало души. Занимались к северу пожаром все новые станции, — это были простые факелы, равнодушно и деловито горевшие на горизонте... Мелькнула мысль о далеких, милых людях. Мелькнула, вспыхнула и равнодушно погасла.

Я проснулся на рассвете. Костер давно потух, руки под мышками затекли от полушубка, холод пробирался до костей. У пепла костра, покрытые инеем, спали Шанцер и Селюков. Лошади наши уныло стояли, понурив головы.

На дороге по-прежнему медленно тянулись к северу бесконечные обозы. У края валялись стащенные с дороги два солдатских трупа, истоптанные колесами и копытами, покрытые пылью и кровью. А где же японцы? Их не было. Ночью произошла совершенно беспричинная паника. Кто-

то завопил во сне: «Японцы! Пли!» — и взвился ужас. Повозки мчались в темноте, давили людей, сваливались с обрывов. Солдаты стреляли в темноту и били своих же.

Я разбудил Селюкова и Шанцера, мы сели верхом и поехали. Звезды гасли, разгоралась холодная заря. Мы напоили у реки лошадей.

Светлело все больше. Справа из-за сопок выплыло солнце, в воздухе потянуло теплом. Тело отдохнуло, на душе стало свежо и бодро. Впереди, в сверкающей голубой дымке, виднелся далекий город, изящно рисовались купола кумирен и изогнутые края крыш.

> ...город дальний утром,
> Полный тайны, полный блеска…

Навстречу нам ехал по дороге офицер... Поручик Шестов! Тот ординарец из штаба, который во время боя ездил с нашими госпиталями, так как «не знал, где теперь штаб». Поручик иронически оглядел нас и с высокомерной усмешкой спросил:

— Удираете?

— Удираем.

— А я еду в Мукден.

— В Мукден?

— Да, в Мукден! — значительно подчеркивая, ответил поручик. Как будто в своей храбрости он знал что-то такое, чего мы в своей трусости не хотели знать.

— Счастливого пути!..

Мы въехали в город. Телин это? Нет, до Телина еще верст тридцать... По прямой, узкой улице двигались обозы и батареи, проходили толпы солдат. Под веселым утренним солнцем медленно лился чуждый поток через тихую, свою жизнь китайского городка. Из труб вились дымки, такие обычно-мирные. У харчевни, под серебряной рыбой на

красном столбе, толпились китайцы. Перебегали через улицу ребята с черными косичками на темени. Сквозь разрывы бумажных окон любопытно блестели девичьи глаза.

Миновали город, местность становилась холмистее. Перед мостом столпилось море повозок. Казаки работали нагайками, расчищая путь какому-то обозу.

— Куда прете, сукины дети?! Ждите своей очереди!

— Станет тебе командующий армией ждать!.. Сворачивай!

Казаки, наклоняясь с седел, хватали обозных лошадей под уздцы. Свистели нагайки. Мимо проносился обоз штаба третьей армии. Проехал в коляске какой-то важный генерал. Солдаты, злобно посмеиваясь, смотрели вслед.

— Чтой-то в бой так они не спешили, не просили дороги! А теперь ишь как гонит!..

— Где ж ему ждать! У него большое дело позади!..

Местность делалась все выше, вокруг теснились тяжелые сопки. Стало холодно, ветер поднимал тучи пыли. Обозы по-прежнему ссорились и старались перерезать один другой у узких мест дороги. Дисциплина на глазах падала.

— Я тебя, мерзавец, шашкой! — кричал офицер.

— А я тебя штыком! — кричал в ответ солдат. — Храбер ныне стал! А где в бою был?.. За могилками лежали, а нас вперед посылали?..

Рассказывались страшные вещи про расправы солдат с офицерами. Рассказывали про какого-то полковника: вдали показались казаки-забайкальцы; по желтым околышам и лампасам их приняли за японцев; вспыхнула паника; солдаты рубили постромки, бестолково стреляли в своих. Полковник бросился к ним, стал грозно кричать, хотел припугнуть и два раза выстрелил на воздух из револьвера. Солдаты сомкнулись вокруг него.

— Ты кто такой? Как смеешь по своим стрелять?

Дали по нему несколько выстрелов из винтовок и подняли на штыки. Все это оказалось правдою. Фамилия полковника была Тимофеев. Он не был убит насмерть, а недели через три умер от ран в Гунчжулине.

Днем мы встретились с частью нашего обоза, при которой были д-р Гречихин и помощник смотрителя Брук. Дальше мы пошли вместе. Где главный врач и смотритель, никто не знал.

К вечеру вдали показалась огромная гора, увенчанная укреплениями. За горой лежал Телин. Дорога расходилась в две стороны. У ее разделения стоял офицер и кричал:

— Шестой и шестнадцатый корпусы — направо, первый и десятый — налево!

В первый раз за этот долгий путь, полный бестолочи и безначалия, кто-то распоряжался, кто-то хоть о чем-нибудь подумал... Мы подошли к подножию горы. Тянулись бывшие огороды, обнесенные невысокими глиняными оградами. Густо стояли биваки, равнина дымилась кострами. Мы тоже стали.

Здесь же были уже все три другие госпиталя нашего корпуса. Желтый и совершенно больной Султанов лежал в четырехконной повозке, предназначенной для сестер. Новицкая, с черными, запекшимися губами и пыльным лицом, сердито и звонко, как хозяйка-помещица, кричала на солдат. Прохожие солдаты с изумлением смотрели на этого невиданного командира.

— Что это над вами баба командует? — с усмешкой спрашивали они султановских солдат.

Султановцы угрюмо молчали и отворачивались.

Подошла к нам Зинаида Аркадьевна.

— Нет, будет, будет! — говорила она, в красивом изнеможении роняя руки. — Довольно ужасов насмотрелись, прощайте! Мы уезжаем в Харбин по железной дороге!..

А вы знаете, бедная Варвара Федоровна! Она отбилась от нас и всю дорогу ехала совсем одна в своем шарабане, а в ногах у нее — скорченный, полуразложившийся труп ее мужа... Приехала сюда, хотела на здешнем вокзале сдать на поезд труп, — не принимают. Наконец, в ней принял участие какой-то генерал, — такой милый! Велел труп зашить в рогожи и сдал на поезд как груз. Она поехала вместе с трупом...

Мы устроились в убогом глиняном сарайчике. Заходили знакомые офицеры, врачи.

— Нашему корпусному командиру приказано выставить дивизию на позиции перед Телином, а в штабе не знают, где полки. Все растеряли.

— Будет бой под Телином?

— Бог весть! Так, арьергардный пустячок какой-нибудь... Войск не соберешь, да и боевых припасов нет: все склады были сейчас за позициями, — часть расстреляли, часть взорвали на воздух, чтоб не достались японцам.

— Да, господи!.. Что же это такое вышло?..

Молодой ординарец с простреленной рукой рассказывал:

— С утра ищу штаб нашего корпуса, никто не знает, где он. Говорят мне: «Вон поезд главнокомандующего, спросите там». Пошел, спрашиваю. «Обратитесь в операционное отделение, вон в том вагоне». Вхожу. На столе разложены карты, полковник генерального штаба водит пальцем по карте и вполголоса говорит двум генералам: «У нас 360 батальонов, а у японцев только 270. И вот я вас спрашиваю: как же все это случилось?» Неловко, — как будто подслушиваю. Я кашлянул. — «Что вам угодно?» — «Мне нужно знать, где штаб десятого корпуса». Полковник юмористически посмотрел на меня. «Да-а. Где штаб десятого корпуса!» — рассмеялся и ушел...

На телинском вокзале была масса народу. Пили водку и чай, ужинали. Рядом со мной сидел сухой интендантский

чиновник с погонами статского советника. Он рассказывал своему соседу, обозному подполковнику, как они нигде не могут найти перевозочных средств, как жгут склады. Интимно наклонившись к собеседнику, он громким полушепотом прибавлял:

— Теперь каждый день дает нам доходу по полторы, по две тысячи рубликов!..

Мы укладывались спать в нашем сарайчике. Из штаба принесли приказ: завтра на заре идти на станцию Каюань, в тридцати пяти верстах севернее Телина. Воротился с вокзала засидевшийся там Брук и сообщил, что на вокзале паника: снимают почтовые ящики и телеграфные аппараты, все бегут; японцы подступают к Телину.

IX. Скитания

На рассвете мы поднялись и стали собираться. Все были возбуждены и нервны. Чувствовалась надвигающаяся с юга угроза. Проходили роты и батальоны.

— Откуда?

— С позиций.

— Давно пришли?

— Только сейчас.

— А японцы далеко?

— Верст десять.

Солнце встало и светило сквозь мутную дымку. Было тепло. Обоз за обозом снимался с места и вливался на дорогу в общий поток обозов. Опять ехавшие по дороге не пускали новых, опять повсюду свистели кнуты и слышались ругательства. Офицеры кричали на солдат, солдаты совсем так же кричали на офицеров.

Что-то все больше распадалось. Рушились преграды, которые, казалось, были крепче стали. Толстый генерал, вышедши из коляски, сердито кричал на поручика. Поручик возражал. Спор разгорался. Вокруг стояла кучка офицеров. Я подъехал. Поручик, бледный и взволнованный, задыхаясь, говорил:

— Я вас не хочу и слушать! Я служу не вашему превосходительству, а России и государю! И все офицеры кругом всколыхнулись и теснее сдвинулись вокруг генерала.

— А позвольте, ваше превосходительство, узнать, где вы были во время боя? — крикнул худой, загорелый капитан с блестящими глазами. — Я пять месяцев пробыл на позициях и не видел ни одного генерала. Где вы были при отступлении? Все красные штаны попрятались, как клопы в щели, мы пробивались одни! Каждый пробивался, как

знал, а вы удирали!.. А теперь, позади, все повылезли из щелей! Все хотят командовать!

— Бегуны! Красноштанники! — кричали офицеры.

Побледневший генерал поспешно вышел из толпы, сел в свою коляску и покатил.

— Мер-рзавцы!.. Продали Россию! — неслось ему вслед.

Около вокзала, вокруг вагонов, кишели толпы пьяных солдат. Летели на землю какие-то картонки, тюки, деревянные ящики. Это были вагоны офицерского экономического общества. Солдаты грабили их на глазах у всех. Вскрывали ящики, насыпали в карманы сахар, разбирали бутылки с коньяком и ромом, пачки с дорогим табаком.

— Эй, ты, ваше благородие! Гляди! — кричал мне пьяный солдат, грозя бутылкой рома. — Попировал ваш брат, будет! Дай и нам!

Другой сыпал в грязь сверкавшие, как снег, куски сахару и исступленно топтал их сапогами.

— Вот тебе твой сахар!.. Сами по пятиалтынному покупали, а солдат плати сорок!.. Разбогател солдат, сорок три с половиной копейки жалованья ему идет!.. На, ешь сахар свой!

То, что он говорил про сахар, было верно. Я уж писал об этом; в офицерских экономических обществах товары отпускались только офицерам; солдатам приходилось платить за все двойную-тройную цену в вольных греческих и армянских лавочках.

— Вот! Выпиваю! — вызывающе говорил первый солдат. Он остановился перед мордой моей лошади и демонстративно стал пить из горлышка ром. Потом оторвался от бутылки, взглянул на меня. — Ставь под ружье, ну!.. С-сукины дети!.. Сами, как черти, пьяные. «Где водку достал? Не продавать нижнему чину водки!.. Под ружье на четыре часа!..» Ну, ставь под ружье! Ставь, что ли!

С налившимся кровью лицом солдат наступал на меня. Я поехал прочь. Он кричал мне вслед ругательства.

Наш обоз медленно двигался по узким улицам Телина. Пьяные солдаты грабили китайские, армянские и русские магазины, торговцы бегали, кричали и суетились. С трудом останавливали грабеж в одном месте, он вспыхивал в другом...

Застревая в узких улицах, беспорядочным потоком двигались обозы и батареи; брели толпы солдат с болтающимися на плечах винтовками...

Мы вышли из города. Дорогу пересекала широкая, замерзшая река Ляохе. Слева прозрачно серел над рекой чудный, ажурный, как будто сотканный из паутины железнодорожный мост. Через два-три дня он был взорван на воздух перед наступавшими японцами.

Обозы переходили реку по льду. Лед был уже очень плохой, он трещал и гнулся под тяжестью повозок; из дыр, бурля, выступала вода и растекалась мутными лужами. Слева от нас тянулась по льду грязная дорога, обрывавшаяся на большой полынье: утром здесь подломился лед под обозами.

Я ехал верхом. Лошадь по колена в воде боязливо ступала на потрескивавший лед. Жутко было подумать, — что, если бы бой разыгрался всего хоть на неделю позже? Тогда была бы Березина.

В сотне шагов от реки поднимался на той стороне крутой, высокий вал. Должно быть, китайская дамба, предохранявшая поля от разливов Ляохе. Лошади и люди выбивались из сил, втаскивая повозки на этот крутой вал. И опять странно было смотреть: два десятка солдат в полчаса проложили бы сквозь вал прекрасную, ровную дорогу. Но никто этого не делал, распорядиться было некому. В армии существовало целое ведомство «военных сообщений», но где теперь

находились представители этого ведомства, что они делали, — знал только один Вездесущий.

Мы перебрались через дамбу, свернули влево и пошли по «колонной» дороге вдоль железнодорожного пути.

По рельсам, обгоняя нас, мчались на север поезда, груженные спасаемым добром. Картина была невиданная: каждый вагон, как кусок сахару — мухами, был густо облеплен беглыми солдатами. Солдаты сидели на крышах вагонов, на буферах, на приступочках, на тормозах, на тендере...

Обозы прежним густым потоком двигались по широкой колонной дороге. Эта дорога была заблаговременно проложена русскими, но была проложена так заблаговременно, что ко дню отступления добрая половина мостов сгнила и провалилась; обозы шли мимо мостов, накатывая дороги прямо через русла замерзших ручьев. Если бы была грязь, если бы были дожди?..

То и дело от потока обозов отделялось несколько повозок и направлялось к лежавшим в стороне китайским деревням. Было видно, как солдаты стояли на скирдах и бросали в повозки снопы каоляна и чумизы...

А на станциях высились огромные склады фуража и провианта. Рядами тянулись огромные «бунты» чумизной и рисовой соломы, по тридцать тысяч пудов каждый; желтели горы жмыхов, блестели циновки зернохранилищ, доверху наполненных ячменем, каоляном и чумизою. Но получить оттуда что-нибудь было очень нелегко. Мне рассказывал один офицер-стрелок. Он дрожал от бешенства и тряс сжатыми кулаками.

— Послал я в интендантство за консервами и ячменем, — не выдали, нужно требование. Написал требование, послал, — возвращаются люди ни с чем: требование должно быть написано чернилами, а не карандашом!..

Ну, скажите, где тут достать чернил?! Слава богу, нашелся огрызок карандаша!.. Так и ушли без всего, а назавтра все склады пожгли!

До самого последнего часа выдача каждого пуда ячменя или соломы была обставлена неодолимыми формальностями. Когда указывалось на то, что ведь все же равно придется все сжигать, начальство грозно хмурило брови и в негодовании возражало:

— Что вы такое говорите?! Об этом не может быть и речи!

А уж вдалеке гремели пушки, и трещал пачечный огонь японцев. Тогда вдруг дело менялось. Бери всякий без всяких требований, сколько хочешь и можешь, склады поливались керосином и пылали.

— И везде, везде эта тайна, глупая, никому не нужная! — измученным голосом говорил седой артиллерийский полковник. — До последней минуты все от всех скрывают, а потом дымом пускают на воздух миллионы!

Какой-то встречный генерал отдал распоряжение: «Главнокомандующий приказал гнать подводы рысью. На ночевки не останавливаться!» Но вследствие плохих мостов и тесноты происходили постоянные остановки, мы шли медленно. За день прошли всего четырнадцать верст и остановились на ночлег в китайской деревне.

При нас была только часть из нашего уцелевшего обоза. Не было также ни главного врача, ни смотрителя. Власть главного врача перешла к старшему ординатору Гречихину, власть смотрителя — к его помощнику Бруку. И только оттого, что не было с нами тех двух людей, кругом стало чистоплотно и просторно. Команде нашей мы объявили, что применим самые строгие меры к тому, кто стащит что-нибудь у китайцев. А чтоб им не было в этом нужды, мы купили им у китайцев для топлива каоляновой соломы, условились с хозяевами, сколько заплатим за ночевку в их

фанзах. И угрюмые китайцы вдруг стали к нам предупредительны и радушны. Вошел в фанзу трясущийся от дряхлости старик с редкой бородой и, улыбаясь, поставил на стол две зажженных толстых красных свечки.

— Капытана шибко шанго! — говорили китайцы, кивали головами и в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы...

Утром мы пошли дальше, к вечеру пришли в Каюань. Там скопилась масса обозов и войсковых частей. Мы ночевали в фанзе рядом с уральскими казаками. Они ругали пехоту, рассказывали, как дикими толпами пехотинцы бежали вдоль железной дороги; Куропаткин послал уральцев преградить им отступление, — солдаты стали стрелять в казаков.

Мы уж привыкли, — теперь все ругали друг друга. Кавалерия ругала пехоту и артиллерию, пехота — кавалерию и артиллерию и т. д. Солдаты ругали офицеров и генералов, офицеры — генералов и солдат, генералы — офицеров и солдат.

Об окончании войны уральцы не хотели и слышать.

— Как войну кончать! Никогда еще этого с Россией не было. Стыдно домой ворочаться, бабы засмеют, не будут слушаться.

На юге гремели пушки. Пришел новый приказ — идти дальше на север, в Чантафу. В дороге мы узнали, что Телин взят и японцы продолжают наседать.

При переезде через какую-то речку мы нагнали уцелевшую другую часть нашего обоза. При нем были главный врач и смотритель, были также две сестры (остальные сестры были с нами).

Главный врач охотно и долго рассказывал о своих скитаниях вместе с смотрителем, о лишениях, испытанных ими в дороге. А приехавшие с ними сестры сообщали о них странные вещи. После обстрела, которому подвергся наш обоз,

главный врач и смотритель исчезли, и никто их уж не встречал. Сестры ехали с частью обоза, где был и денежный ящик. Офицерского чина не было, командовал обозом унтер-офицер Сметанников. Он распоряжался умело и энергично, сестры встретили с его стороны столько заботливости, сколько никогда не видели от главного врача и смотрителя. Приехали в Телин, стали биваком. Вдруг узнают, что главный врач и смотритель здесь же, в Телине, ужинают на вокзале. Команда ужасно обрадовалась, Сметанников поскакал на вокзал. Но главный врач к обозу не поехал; он только велел Сметанникову стоять и без его распоряжения не уходить, хотя бы всем грозил плен. Переночевал обоз. На юге гремели пушки, японцы наступали. Главный врач и смотритель опять исчезли.

Сметанников не знал, что делать. Солдаты угрожающе наседали на него.

— Душегуб! Чего нам тут стоять? Видишь, все уходят!.. Старшему-то врачу хорошо говорить, его в плен возьмут, а нас раньше плена всех перережут.

А тут еще подвернулся проезжий казак.

— Дурье, чего стоите? Уходите, сейчас тут японец будет.

Посоветовался Сметанников с сестрами и решил ехать. Через полтора суток к ним, наконец, присоединились главный врач и смотритель. Сестры боялись, как бы Сметанникову не пришлось отвечать за самовольный уход. Они сказали главному врачу:

— Это мы виноваты, что обоз ушел из Телина, мы велели Сметанникову.

Давыдов равнодушно ответил:

— Конечно, так и нужно было... Чего ж там было стоять?

Догадываясь и боясь верить своей догадке, сестры осторожно оглядывались и шепотом сообщали:

— Вы знаете, у нас получилось такое впечатление, — главному врачу очень хотелось, чтоб денежный ящик попал в руки японцев...

Пахнуло таким душевным смрадом, какого не хотелось ждать даже от Давыдова. И я вспомнил: еще в самом начале отступления главный врач мельком сказал, что для верности переложит деньги из денежного ящика себе в карман... Уу, воронье!..

И сколько такого воронья, — наглого, хищного и тупожадного, — кружилось над отступавшею, измученной армией и над многострадальным маньчжурским краем!

Наш обоз остановился: впереди образовался обычный затор обозов. С главным врачом разговаривал чистенький артиллерийский подполковник, начальник парковой бригады. Он только неделю назад прибыл из России и ужасно огорчался, что, по общему мнению, войне конец. Расспрашивал Давыдова, давно ли он на войне, много ли «заработал».

— Хороша у вас пара лошадок, — говорил главный врач, большой любитель лошадей.

— А что, правда, недурненькие?

— Собственные?

— Да. Купил по сорок рублей пару бракованных лошадей, их отдал в часть, а оттуда выбрал вот эту парочку. Хороши?..

Мы простояли в Чантафу двое суток. Пришла весть, что Куропаткин смещен и отозван в Петербург. Вечером наши госпитали получили приказ от начальника санитарной части третьей армии, генерала Четыркина. Нашему госпиталю предписывалось идти на север, остановиться у разъезда № 86, раскинуть там шатер и стоять до 8 марта, а тогда, в двенадцать часов дня (вот как точно!), не ожидая приказания, идти в Гунчжулин.

Но мы при отступлении потеряли половину обоза, функционировать в качестве госпиталя не имели возможности, и об этом, конечно, своевременно было сообщено генералу. Однако, приказание нужно было исполнить.

Выступили мы. Опять по обеим сторонам железнодорожного пути тянулись на север бесконечные обозы и отступавшие части. Рассказывали, что японцы уже взяли Каюань, что уже подожжен разъезд за Каюанем. Опять нас обгоняли поезда, и опять все вагоны были густо облеплены беглыми солдатами. Передавали, что в Гунчжулине задержано больше сорока тысяч беглых, что пятьдесят офицеров отдано под суд, что идут беспощадные расстрелы.

Часа в четыре дня мы пришли на назначенный разъезд. Полная пустыня, — ни одной деревеньки вблизи, ни реки, ни деревьев; только один маленький колодезь, в котором воды хватало на десяток лошадей, не больше. Главный врач телеграфировал Четыркину, что на разъезде нет ни дров, ни фуража, ни воды, что госпиталь функционировать здесь не может, и просил разрешения стать где-нибудь на другом месте.

Переночевали. Ответа на телеграмму не было. Но теперь, с расшатавшеюся спайкой, все делалось очень легко и просто. Мы снялись без разрешения и пошли к Сыпингаю.

Сыпингай кишел войсками и учреждениями. У станции стоял роскошный поезд нового главнокомандующего, Леневича. Поезд сверкал зеркальными стеклами, в вагоне-кухне работали повара. По платформе расхаживали штабные, — чистенькие, нарядные, откормленные, — и странно было видеть их среди проходивших мимо изнуренных, покрытых пылью офицеров и солдат. Рождалась злоба и вражда.

Шли и расползались волнующие, зловещие слухи: японцы уже в двадцати верстах от Сыпингая; Ноги с шестидесятитысячной армией подходит с тыла к Гирину; японцы захватили часть обоза Куропаткина, и в их руки попали планы обороны Владивостока. Общее впечатление было, что продолжать войну совершенно немыслимо, что войска

деморализованы до крайней степени. У всех на устах было одно слово — «Седан». А между тем сообщали, что в Петербурге решено продолжать войну во что бы то ни стало, что главнокомандующим, «для подъема духа армии», назначается великий князь Николай Николаевич...

Все вокруг давало впечатление безмерной, всеобщей растерянности и непроходимой бестолочи. Встретил я знакомого офицера из штаба нашей армии. Он рассказал, что, по слухам, параллельно нашим войскам, за пятнадцать верст от железной дороги, идет японская колонна.

— Но ведь это же можно верно установить разведками! — с недоумением возразил я.

— Э, вы не можете себе представить, что сейчас делается в штабах! Это сказка какая-то, которой свежий человек не поверит. Казалось бы, чего уж горячей время, чем теперь, штабы должны бы работать день и ночь. А все сидят сложа руки. Я себе выдумал дело, чтоб не видеть, что кругом... И только один горячий, поднимающий интерес у всех — к наградам. Только о наградах везде и говорят.

Рассказывали много анекдотов про осведомленность японцев.

К нашему генералу приводят пленного японского офицера. Генерал в это время отдает приказание ординарцу:

— Поезжайте сейчас же к командиру N-ского полка и передайте ему то-то.

— А где, ваше превосходительство, стоит полк?

— Где?.. Как ее, деревню эту?

Генерал припоминает и беспомощно щелкает пальцами. Японец предупредительно приходит ему на помощь.

— N-ский полк, ваше превосходительство, стоит в деревне Z.

Другой анекдот:

Казак доставляет в штаб человека в русской офицерской форме и докладывает, что поймал переодетого японского шпиона.

— Да это русский офицер!

— Никак нет, японец.

— Да русский же. Что ты говоришь?

— Японец, верно говорю: первое — больно хорошо по-русски говорит, а главное, — великолепно знает расположение наших войск.

Мы простояли в Сыпингае несколько дней и 8-го марта, в 12 часов. дня, исполняя предписание генерала Четыркина, выступили в Гунчжулин.

Теперь дороги были просторны и пусты, большинство обозов уже ушло на север. Носились слухи, что вокруг рыщут шайки хунхузов и нападают на отдельно идущие части. По вечерам, когда мы шли в темноте по горам, на отрогах сопок загадочно загоралась сухая прошлогодняя трава, и длинные ленты огня ползли мимо нас, а кругом была тишина и безлюдье...

Кое-где в встречных деревнях стояли сторожевые охранения в одну или две роты. Однажды утром проехали мы такую деревню, спускаемся на равнину. По лощине, сломя голову, мчалось штук пять черных китайских свиней, а за ними, широко вытянувшись по равнине, бежали солдаты с винтовками. Иногда то тот, то другой солдат приседал, делал что-то непонятное и бежал дальше. Наша команда с жадным, сочувственным интересом следила за происходившим.

— О, здорово! Попал... Кувыркнулась!

— Нет, мимо. Ранил только... Опять побежала.

— «Побежала»! Где ж побежала? Вон штыком прикалывает.

Солдаты стреляли по свиньям; ветер дул от нас, и выстрелов не было слышно, только слабо сверкали огоньки у дул винтовок.

Четыре солдата бежали свиньям наперерез. Один присел, выстрелил с колена — мимо. Пуля, ноя, пронеслась над нашими головами. Солдаты, как маленькие ребята, все забыли, увлекшись охотою. Мелькали огоньки выстрелов, свистели пули...

Не верилось глазам: это — в двух шагах от японцев, это — в то время, когда ложная боевая тревога может повести к неисчислимым бедствиям!

Из-за горки показались три осторожно вглядывающихся казака с пиками. Солдаты с торжеством тащили к деревне убитых свиней.

В облегченном оживлении от отсутствия жданной опасности, казаки подскакали к солдатам и стали их ругать. Возмущенный главный врач кричал:

— Эй, казаки! Арестовать их!.. Веди их сюда!

Казаки подвели двух испуганных солдат с белыми, как известка, лицами. Один был молодой, безусый парень, другой — с черной бородкой, лет за тридцать. Казаки рассказывали:

— Шла наша сотня вдоль пути, вдруг слышим, — пальба, над головами зазыкали пули. Командир послал нас разведать, а это они, подлецы!

— Отверни штыки! — распоряжался главный врач. — Посмотреть, заряжены ли у них винтовки!.. Ах-х, вы, сукины дети, а? Под суд без разговоров!.. Иди за нами!

Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно ворочая широко открытыми глазами, бледные от неожиданно свалившейся беды. Наши солдаты сочувственно заговаривали с ними.

На берегу реки, под откосом, лежал, понурив голову, отставший от гурта вол. У главного врача разгорелись глаза. Он остановил обоз, спустился к реке, велел прирезать быка и взять с собой его мясо. Новый барыш ему рублей в сотню. Солдаты ворчали и говорили:

— Может, он больной какой! Все равно, не станем его есть!

Главный врач притворялся, что не слышит ворчаний, тыкал пальцем в окровавленное легкое и говорил:

— Э!.. Совсем здоровый! Прямо грех столько мяса бросать на дороге!

К арестованным не было приставлено караула. Они воспользовались отвлеченным от них вниманием и скрылись.

Пришли мы в Гунчжулин. Он тоже весь был переполнен войсками. Помощник смотрителя Брук с частью обоза стоял здесь уже дней пять. Главный врач отправил его сюда с лишним имуществом с разъезда, на который мы были назначены генералом Четыркиным. Брук рассказывал: приехав, он обратился в местное интендантство за ячменем. Лошади уже с неделю ели одну солому. В интендантстве его спросили:

— Ваш госпиталь откуда?

— Из-под Мукдена.

— А, из-под Мукдена! Нет вам ячменю: мы беглым не даем!

И не дали... Здесь сказался тот удивительный «патриотизм», которым так блистал в эту войну тыл, ни разу не нюхавший пороху. Все время, до самого мира, этот тыл из своего безопасного далека горел воинственным азартом, обливал презрением истекавшую кровью армию и взывал к «чести и славе России».

Но нужно и то сказать: героизм, отвага, самопожертвование были там, позади; а здесь больше всего бросалась в глаза человеческая трусость, бесстыдство, моральная

грязь, — все темные отбросы, которые в первую очередь выплеснула из себя гигантская волна отступавшей армии.

В буфете встретил я офицерика одного из наших полков: командир его роты был убит в самом начале боя, и командование перешло к нему.

— Вы как здесь?

Он весело ответил.

— Да вот, заболел! Ревматизм в ногах. Обращался в госпиталь, не принимают.

— И давно вы здесь?

— Недели полторы.

— Кто же вашей ротой командует?

— Там у нас зауряд-прапорщик один есть.

— А что же вы тут делаете?

— Поджидаю наш полк.

Он его здесь поджидает!.. И сам — весело-беззаботный, жизнерадостный, даже не понимающий позора своего поступка.

На поездах, шедших на север, все проезжали беглые солдаты. Были командированы специальные офицеры ловить их. Сидит такой офицер в вагоне-теплушке. В вагоне темно, снаружи ярко светит месяц. Вырисовывается фигура лезущего в вагон солдата с винтовкой.

— Эй, борода, куда?

— Ничего, землячок, я один!

— Ты куда едешь-то?

— Да повка своего ищу.

— Это ты в Харбин едешь «повка» своего искать?

И солдата арестовывали.

Знакомый врач, заведовавший дезинфекционным поездом, рассказывал мне. При отступлении от Мукдена в свободный вагон-теплушку набились раненые офицеры.

Приехал поезд в Куачендзы. Вдруг многие из «раненых» скинули с себя повязки, вылезли из вагона и спокойно разошлись в разные стороны. Повязки были наложены на здоровое тело!.. Один подполковник, с густо забинтованным глазом, сообщил доктору, что он ранен снарядом в роговую оболочку. Доктор снял повязку, ожидая увидеть огромную рану. Глаз совсем здоровый.

— Куда же вы ранены?

— Я не ранен, а этого... Как это называется? Близко, знаете, пролетел снаряд... Контузия... Я контужен в роговую оболочку.

Теперь был полный простор для деятельности главного инспектора госпиталей Езерского, о котором я уже немало рассказывал. Бывший полицмейстер попал в свою сферу. Он рыскал по станциям, рыскал по поездам, устраивал форменные обыски и облавы. Рассказывали, что он нашел в поезде двух офицеров, спрятавшихся от него под пустой котел на вагоне-платформе. Но генерал Езерский не ограничивался ловлей беглых в товарных и пассажирских поездах. То же самое он проделывал и в поездах санитарных. Проверял и отменял диагнозы врачей, высаживал больных, которых признавал здоровыми. По-видимому, деятельность его, наконец, обратила на себя внимание; его перевели куда-то в тыл, кажется, во Владивосток.

Наступление японцев остановилось. Понемножку все начинало приходить в порядок. Связи между частями восстанавливались.

Ходили слухи, что разъезды наши нигде не могут найти японцев. Все они куда-то бесследно исчезли. Говорили, что они идут обходом по обе стороны железной дороги, что одна армия подходит с востока к Гирину, другая с запада к Бодунэ.

Поздно вечером 14 марта наши два и еще шесть других подвижных госпиталей получили от генерала Четыркина

новое предписание, — завтра, к 12 часам дня, выступить и идти в деревню Лидиатунь. К приказу были приложены кроки местности с обозначением главных деревень по пути. Нужно было идти тридцать верст на север вдоль железной дороги до станции Фанцзятунь, а оттуда верст двадцать на запад.

Все наши войсковые части стояли здесь, в Гунчжулине. Для чего же нам было идти туда, какая цель? Но не наше дело рассуждать. Отправились.

Погода изменилась. Было хмуро, холодно и ветрено. К вечеру засеял мелкий дождь, а в сумерках пошел мокрый снег. Мы переночевали у разъезда в крепости пограничников, утром двинулись дальше. По данной схеме пора было сворачивать влево, вдали виднелась станция Фанцзятунь. Мы спрашивали встречных китайцев, где деревня Лидиатунь. Все дружно указывали на восток от железной дороги. А наша схема указывала на запад. Тогда мы стали спрашивать о попутных деревнях, нанесенных на нашу схему, — Дава, Хуньшимиоза. Их китайцы указывали на запад.

Главный врач нанял китайца-проводника, но, по своей торгашеской привычке, не условился предварительно о цене, а просто сказал, что «моя тебе плати чен (деньги)». Китаец повел нас. Снег все падал, было холодно и мокро.

Продвигались мы вперед медленно. К ночи остановились в большой деревне за семь верст от железной дороги.

Кругом ни намека на присутствие русских войск, ни одного солдата, ни одного казака. Только китайцы. Проехали мимо другие госпитали, отправленные вместе с нами. Все недоумевали, все ругали Четыркина.

— Куда же это он нас посылает? Куда-то в глубь Китая, совсем одних! Что мы там будем делать?

— Просто, должно быть, ткнул перстом в карту, куда попало: направить мои госпитали вот сюда! А начальство будет видеть, что он не сидит без дела, чем-то занят, что-то распределяет...

Мы ночевали в большой богатой фанзе у старика-китайца с серьезным, интеллигентным лицом. Главный врач, как он всегда делал на остановках, успокоительно потрепал хозяина по плечу и сказал, чтоб он не беспокоился, что за все ему будет заплачено.

Снег все падал, — мелкий, медленный, без ветра. К утру его напало с четверть аршина, и кругом был совсем зимний вид. Главный врач решил переждать здесь день, чтобы дать отдохнуть лошадям. Было скучно и тоскливо...

Наутро мы собрались уезжать. Главного врача обступили китайцы, у которых он брал фураж, дрова, у которых в фанзах ночевали нижние чины. Главный врач, как будто занятый каким-то делом, нетерпеливо говорил:

— Да подождите вы! Потом!

Обоз был готов, главному врачу подвели верховую лошадь.

— Ну, получите! — торопливо сказал главный врач и стал оделять обступивших его китайцев. Кому дал полтинник, кому рубль. Нашему хозяину дал пятирублевку.

Китайцы загалдели, стали через нашего проводника-переводчика высчитывать, сколько у них солдаты пожгли дров и каоляновой соломы, сколько взяли для лошадей чумизы. Наш хозяин ничего не говорил. Он только держал в руках пятирублевку и грустно, как будто стыдясь за Давыдова, смотрел на него.

— Ничего вам больше не будет! Вот мошенники, а? — сердито говорил главный врач...

Мы негодующе вмешались:

— Отчего вы в таком случае не сговариваетесь с ними заранее насчет цены? Нужен каолян, нужна чумиза, — купите

и заплатите деньги. А вы берете просто, не торгуетесь, даже не контролируете, сколько забирают солдаты.

— Это такие подлецы, рады шкуру содрать!

— Не знаю, мы без вас, когда ехали, всегда отлично устраивались с китайцами, и никаких у нас недоразумений не бывало.

— Довольно! Цуба (прочь)! — крикнул Давыдов на китайцев и сел на свою лошадь. — Едем!.. Ходя (приятель), веди! — обратился он к проводнику.

Проводник смотрел на него негодующими глазами.

— Моя не хочет! — заявил он.

Главный врач опешил.

— Я тебе два рубля заплачу, — лянга рубли! — сказал он, подняв кверху два пальца.

Проводник мотнул головой и пошел прочь,

Мы поехали без проводника. В соседней деревне Давыдов нанял другого китайца вести нас в Лидиатунь.

Новый проводник был здоровенный парень с обмотанной вокруг макушки толстой косою, с наглыми, чему-то смеющимися глазами. Он шел впереди обоза, опираясь на длинную палку, ступая по снегу своими китайскими броднями с характерными ушками на тыле стопы. Было морозно, снег блестел под солнцем. Дороги были какие-то глухие, мало наезженные. Далеко позади осталась железная дорога, по снегу чуть слышно доносились свистки и грохот проходящих поездов. Наконец, и эти звуки утонули в снежной тишине.

Мы шли и шли дальше. Нигде ни одного русского лица. Деревень здесь почти не было, были отдельные густо рассеянные хутора по три, по четыре фанзы вместе. Китайцы у ворот внимательно и по-обычному молчаливо-бесстрастно провожали нас взглядами.

Сияло солнце, сверкал снег. Солдаты инстинктивно жались ближе к повозкам. Проводник в меховом треухе молча

шагал впереди обоза, опираясь на длинную палку и все смеясь чему-то своими наглыми, выпуклыми глазами.

— Ваше благородие, это что же, — китайский Сусанин нас ведет? — спросил меня каптенармус.

Было очень похоже на то...

Дошли мы наконец до деревни Хуньшимиоза. Здесь окончательно узнали, что никакой Лидиатуни в округе нет, есть деревни Лидиу и Лидиафань. Вдали виднелись стоянки раньше пришедших госпиталей. Они расположились в большой деревне Лидиафань. Все фанзы были заняты, нам не осталось ни одной. И здесь у всех было ощущение недоумения и заброшенности. Один из госпиталей ночевал вчера в деревне, где накануне, по словам китайцев, провел ночь большой отряд хорошо вооруженных хунхузов.

Наш госпиталь стал в небольшом хуторе версты за две от Лидиафани.

Китайцы поспешно уносили на коромыслах куда-то вдаль корзины и мешки с имуществом. Наши хозяева любезно разговаривали с нами, любезно улыбались и в то же время озабоченно и быстро переговаривались между собою, поглядывая на расхищаемые солдатами стожки каоляна. Смотритель всегда равнодушно и лениво допускал грабеж. Но теперь он вдруг набросился на солдат и грозно заявил, что, если кто-нибудь хоть хворостину возьмет у китайцев без его разрешения, он того сейчас же отдаст под суд.

Теперь, когда кругом запахло опасностью, смотритель резко изменился. Стал скромен и задумчив, вдруг вспомнил о своих правах и начал сам, помимо главного врача, закупать провиант и фураж, за все платя наличными деньгами. Главный врач хмурился и ссорился с ним, но смотритель был теперь тверд и решителен. Китайцы нашли в нем себе горячего защитника. За командой своей он строго следил, чтоб не грабили. Повеяло маленькой

опасностью, маленькой возможностью отпора, — и вдруг так легко оказалось устраиваться с китайцами, не обижая их!

Мы простояли день, другой. На имя главного врача одного из госпиталей пришел новый приказ Четыркина, — всем госпиталям развернуться, и такому-то госпиталю принимать тяжелораненых, такому-то — заразных больных и т. д. Нашему госпиталю предписывалось принимать «легкобольных и легкораненых, до излечения». Все хохотали. Конечно, ни один из госпиталей не развернулся, потому что принимать было некого.

Снег понемножку таял. Стояла холодная черно-белая слякоть. Ночи были непроглядно-темные. Вокруг хутора у нас ходил патруль, на дворе и у ворот стояло по часовому. Но в двух шагах не было ничего видно, и хунхузы легко могли подойти без выстрела к самому хутору, а они были теперь вооружены японскими винтовками, обучены строю и производили наступление по всем правилам тактики.

Однажды поздно вечером, когда мы уже ложились спать, по дороге, а затем на дворе нашей фанзы раздался частый, дробный топот скачущей лошади. Вошел чужой, бледный солдат и подал смотрителю записку. Она была от смотрителя соседнего госпиталя.

«По дошедшим слухам, этой ночью большая партия хунхузов собирается произвести нападение на наши госпитали, о чем сообщаю Вам для сведения».

По всем душам пронеслась тревога. Смотритель побледнел и послал денщика за фельдфебелем.

— У вас там, кажется, есть охранная рота? — спросил он солдата, привезшего записку.

— Так точно.

Смотритель послал с ним записку, в которой просил, ввиду нашего отдаленного нахождения, прислать нам в подмогу взвод из охранной роты.

Своих штыков у нас было восемьдесят пять, считая денщиков и кашеваров. Сорок солдат оцепили со всех сторон наш хутор, остальным приказано было спать одетыми, с заряженными винтовками под рукою. На дворе было темно, как в погребе. Мы и фельдшера осматривали свои револьверы...

Час шел, другой. Охранного взвода не прислали. Смотритель, обвешанный поверх шинели оружием, сидел и чутко прислушивался. Остальные дремали. Как глупо! Как все глупо!.. Сидим здесь, — без толку, без цели. Может быть, сейчас придется драться до последнего вздоха, чтобы живьем не попасть в руки людей, которых мы же озлобили до озверения. И для чего все?

На столе лежала книжка «Buch der Lieder». Гречихин, практикуясь в немецком языке, читал ее. Открыл я книжку...

Am Ganges duftet's und leuchtet's.
Und Riesenbäume blühn,
Und schöne, stille Menschen
Voi Lotosblumen knien.

Старые, знакомые, прекрасные звуки... Раскрылось перед душой что-то важное, чистое и светлое. И так это было удивительно-далеко от всей окружающей темноты, слякоти, близости ненужной крови...

Нападения в эту ночь не было. Вероятно, китайцы сообщили хунхузам, что мы предупреждены и приготовились к нападению.

Наутро мы решили перебраться в деревню, где стояли остальные госпитали, чтобы быть вместе. Главный врач уезжал в казначейство на станцию Куанчендзы и написал письмо старшему в чине главному врачу; в письме он просил потесниться и дать в деревне место нашему госпиталю,

так как, на основании приказа начальника санитарной части третьей армии, мы тоже должны стоять в этой деревне. Шанцер и я поехали с письмом.

Нас принял высокий, сухой старичок с седенькой бородкой, с погонами статского советника. Он медленно и методически перечитал письмо Давыдова. Один раз, потом другой, третий.

— Тут написано: «на основании приказа»... Какого приказа? — спросил он.

— Как какого? Да этот приказ был переслан нам за вашею же подписью.

— Ах, этого... Но ведь тут нет места, все занято. Чем же вам там плохо?

Мы объяснили, что стоим одиноко и, в случае нападения хунхузов, окажемся совсем беспомощными.

— Хунхузов боитесь? — с усмешечкой спросил старичок. — Но ведь у вас же есть команда, она вооружена винтовками.

— У вас здесь в деревне семь команд и целая охранная рота, и то сегодня ночью вы не дали нам даже взвода.

— Гм! — Старичок замолчал, как будто не слышал нашего возражения.

— А здесь все расположились очень широко, — продолжал Шанцер. — В вашем госпитале, например, отдельная большая фанза отведена под канцелярию, отдельная — под аптеку. Это чрезмерная роскошь.

Старичок задумчиво смотрел на письмо, потом взглянул на наши погоны.

— Вы ведь младшие ординаторы?

— Да.

— Ну, с вами я, во всяком случае, решать этот вопрос никак не считаю возможным. Я пришлю сегодня вашему главному врачу письмо с предложением пожаловать ко мне

завтра в десять часов утра, мы с ним дело и обсудим... Больше ничем не могу служить?

Мы пили чай у младших врачей его госпиталя. И у них было, как почти везде: младшие врачи с гадливым отвращением говорили о своем главном враче и держались с ним холодно-официально. Он был когда-то старшим врачом полка, потом долго служил делопроизводителем при одном крупном военном госпитале и оттуда попал на войну в главные врачи. Медицину давно перезабыл и живет только бумагою. Врачи расхохотались, когда узнали, что Шанцер нашел излишним отдельное большое помещение для канцелярии.

— Да ведь в ней для него вся душа госпиталя! Врачи, аптека, палаты, — это только неважные придатки к канцелярии! Бедняга-письмоводитель работает у нас по двадцать часов в сутки, — пишет, пишет... Мы живем с главным врачом в соседних фанзах, встречаемся десяток раз в день, а ежедневно получаем от него бумаги с «предписаниями»... Посмотрели бы вы его приказы по госпиталю, — это целые фолианты!

Сам старичок, оказалось, ужасно перетрусил, узнав о готовящемся нападении хунхузов, и слышать не хотел, чтоб послать нам на помощь хоть одного солдата.

Зашли мы с врачами еще в другой госпиталь. Там главный врач оказался человеком, но его госпиталь и сам помещался очень тесно: все помещения захватил старичок статский советник. Как раз вошел и сам старичок.

— Вот-с, слышали? Они хунхузов боятся! — с усмешечкой сообщил он.

— Да понятное дело! Какой же смысл там оставаться? — возразил главный врач, у которого мы сидели. — Загнали нас сюда к черту на кулички, — разумеется, нужно держаться всем вместе!

— И что это за удивительное распоряжение Четыркина! — засмеялся Шанцер. — Какой был смысл загнать нас сюда?

— Это не наше дело рассуждать! — строго и сухо заметил старичок. — Вы сами, может быть, еще хуже распорядились бы.

— Ну, хуже уж, кажется, трудно! — усмехнулся один из его врачей.

Заговорили о мукденском разгроме, о видах на мир.

— И когда вся эта грязная история кончится! — вздохнул кто-то.

Старичок широко и недоумевающе раскрыл глаза.

— Какая грязная история? О чем вы говорите?..

Назавтра мы перебрались в их деревню, а через два дня пришел новый приказ Четыркина, — всем сняться и идти в город Маймакай, за девяносто верст к югу. Маршрут был расписан с обычной точностью: в первый день остановиться там-то, — переход 18 верст, во второй день остановиться там-то, — переход 35 верст, и т. д. Вечером 25 марта быть в Маймакае. Как мы убедились, все это было расписано без всякого знания качества дороги, и шли мы, конечно, не руководствуясь данным маршрутом.

От привезшего приказ офицера мы узнали приятную весть: наш корпус переводится из третьей армии во вторую. Значит, мы уходим из-под попечительной власти генерала Четыркина.

Утром мы выступили в поход.

Снег стаял, дороги были еще грязные, но начинало обсыхать. На полях виднелись работающие китайцы. Они выворачивали мотыками из гряд каоляновые корни, вывозили на поля кучи перегною...

Через три дня мы пришли в Маймакай. Город был битком набит войсками и бежавшими из деревень жителями.

Жутко было войти в фанзу, занятую китайцами. Как разлагающийся кусок мяса — червями, она кишела сбитыми в кучу людьми. В вони и грязи копошились мужчины, женщины и дети, здоровые и больные.

В штабе и лазарете говорили о возможности близкого отступления. Рассказывали, что впереди на восемьдесят верст нигде не находят японцев, что они где-то глубоким обходом идут на север. Рассказывали, что японцы прислали нам приглашение разговеться у них на пасху в Харбине. Вспоминали, как они недавно приглашали нас на блины в Мукден... Решено, как передавали, бросить сыпингайские позиции и отступить за Сунгари, к Харбину.

X. В ожидании мира

Нас поставили за несколько верст к северу от Маймакая, близ Мандаринской дороги.

Днем дул сильный ветер. К вечеру он затих, заря нежно алела. Недалеко от нашей стоянки, у колодца, столпилась кучка солдат-артиллеристов, я подошел. На земле, вытянув морду, неподвижно лежала лошадь, она медленно открывала и закрывала глаза. Около стоял артиллерийский штабс-капитан. Мы откозыряли друг другу.

— Что это, больна лошадь? — спросил я.

— Да... Все время еле ходила. А сейчас напоили, она вот упала и не может встать. Зад отнялся... Все — следствие 25 февраля, — прибавил капитан, понизив голос, чтобы не слышали солдаты. — Масса лошадей надорвалась за отступление, дохнут теперь, как мухи.

— Вы здесь, поблизости стоите?

— Да, вон в том хуторе на ночевку остановились. Завтра опять идем.

— Куда?

— Куда! Конечно, на север! — с усмешкой ответил капитан.

— А что слышно про японцев?

— Говорят, уже под Гирином. — Мы пошли с ним прочь от колодца. — А вы слышали? С 18 марта ведутся мирные переговоры.

— Да что вы?

— Сегодня в штабе армии нашей получено известие: государь созвал земский собор, объявил, что война оказалась для нас неудачной и что приходится заключить мир.

Пришел я домой, рассказал нашим. Никого из нижних чинов в фанзе не было. Но уж через пять минут по всем дворам, по всем фанзам, везде оживленно разговаривали солдаты, слышались радостные расспросы, смех.

И везде звучало:

— Восемнадцатого марта... Восемнадцатого марта...

На тихом небе, над закатом, светился узкий серп молодого месяца. На душе было светло и радостно, хотелось говорить, говорить с каждым встречным о том, что кончилось кровавое безумие, хотелось верить самому и уверить других. И везде звучало:

— Восемнадцатого марта... Восемнадцатого марта...

Ко мне подошли два солдата.

— Ваше благородие, правду говорят, замирение будет?

— Говорят.

— А скажите, как, — придется ему платить?

— Вероятно, придется.

Они печально задумались.

— Нет, тогда лучше дальше воевать, а то что же?

— И чего это царь думал, когда войну зачинал! — вздохнул другой.

Только что произошел невероятный, небывалый в нашей истории разгром русской армии. А повсюду все говорили только об одном, — о наградах. Штабы кишели бесчисленными представлениями к наградам, награды посыпались, как из рога изобилия.

Наблюдалось то же самое, что и после боя на Шахе, после Ляоянского боя, после всех предыдущих боев. Чуть не ежедневно в приказах по армиям появлялись длиннейшие списки лиц, награжденных боевыми отличиями. Если бы подсчитать все эти тысячи Станиславов, Анн и Владимиров с мечами, этих бесчисленных солдатских Георгиев, то можно бы подумать, что была победоноснейшая из всех войн, увенчавшая нашу армию славнейшими лаврами. Как будто этим ливнем из крестов армия хотела скрыть от себя и других тот стыд, который тайно грыз ее; как будто хотела показать, сказать всему миру: да, почему-то нас упорно пре-

следуют беспросветные неудачи, но каждый генерал, каждый офицер, каждый солдат оказывает чудеса мужества, это сплошь — выдающиеся герои.

Офицеры, бывшие на русско-турецкой войне, поражались этим обилием наград. В то время, по их словам, не было ничего необычайного, что офицер, участвовавший в двух-трех крупных боях, не имел ни одной награды. Красный анненский темляк «за храбрость», какой-нибудь маленький орден с мечами были уже ценными отличиями. Теперь же красный темляк, — в офицерском просторечии именуемый «клюквою» или «брусникою», — почти сделался простым ярлыком, свидетельствовавшим только, что данный офицер участвовал в бою. В штабах прямо говорили, что уж две-то «очередных» награды за войну получит каждый. Командир 10 армейского корпуса, известный К. В. Церпицкий, — один из немногих генералов, оказавшихся достойными своего поста, — был вынужден издать по своему корпусу следующий странный приказ:

> В будущем строго воспрещаю представлять к наградам всех офицеров поголовно (!), а представлять только заслуживающих наград своей храбростью, мужеством, распорядительностью и истинным исполнением лежащих на них обязанностей. (Приказ войскам 10 армейского корпуса, 1905, № 39).

Как-то встретил я одного артиллерийского офицера-неудачника, не получившего за всю войну ни одной награды. Он острил: «Пошлю свою карточку в “Новое Время”: офицер, не получивший на театре войны ни одной награды». И это, действительно, было такой редкостью, что карточка вполне заслуживала помещения в газете.

Боевые награды, ордена с мечами, получали интенданты, контролеры, тыловые врачи. Такая крупная награда, как Владимир с мечами, давалась штабным офицерам

за «разновременные отличия в делах против японцев». Станислава второй степени с мечами, также «за отличие в разновременных делах с японцами», получил от Куропаткина... «корреспондент, потомственный дворянин Немирович-Данченко»! (Приказ главнокомандующего, 1904, № 755).

Особенно щедро награждались штабные, и против них в армии было сильное озлобление. Налетавшие в штабы из столиц офицеры со связями откровенно называли свои поездки в армию «крестовым походом». Передавали, — конечно, анекдотическое, но очень характерное, — рассуждение такого офицера: «Вполне понятно, что офицер на передовых позициях получает красный темляк, а я Владимира. Ведь он при этом сразу имеет две награды: во-первых, — темляк, во-вторых, — то, что остался жив; а что может быть выше этой награды? Мне же и вся-то награда только в ордене».

Уважение к орденам в армии сильно пало. В России, увидев обвешанного боевыми отличиями офицера, люди могли почтительно поглядывать на него, как на героя. Здесь, при виде такого офицера, прежде всего каждому приходила мысль:

— Охлопота-ал!..

Столь же щедро и бестолково сыпались награды и на нижние чины. Высшее начальство, обходя госпитали, по собственной воле вешало георгиевские кресты тем, кому хотело. Разумеется, боевых заслуг раненых начальство не знало, — и кресты вешались тем, кто попадался на глаза, кто умел хорошо ответить начальству, кто возбуждал сожаление тяжестью своих поранений. Рассказывали, — и если даже это неправда, то характерна самая возможность таких рассказов, — будто Линевич, обходя госпиталь, повесил георгиевский крест на грудь тяжело раненному солдату, солдата же этого, как оказалось, пристрелил его собственный

ротный командир за отказ идти в атаку. В Мозысани у нас лежал один солдат, которому пришлось ампутировать руку: полк был на отдыхе далеко за позициями, залетел шальной 6-дюймовый снаряд и оторвал солдату кисть руки. Случайно его увидел у нас его корпусный командир и «из жалости» выхлопотал солдату георгиевский крест. За солдата было очень приятно, но какой же это являлось профанацией «боевой» награды! Вместе с солдатом тем же снарядом было ранено несколько волов из порционного гурта. Ведь эти волы ничуть не в меньшей мере заслуживали георгиевского креста, чем солдат.

Быть на глазах начальства, тереться около начальства — это было весьма важно для получения награды. В приложении к приказу главнокомандующего (Линевича) от 19 сентября 1905 года за № 2011 объявлено, что награждаются серебряной медалью с надписью «за усердие» на Станиславской ленте «за труды и отлично-усердную службу» прислуга поезда главнокомандующего, — проводники вагонов такие-то (семь человек) и смазчик такой-то. Я нисколько не сомневаюсь, что все эти лица «отлично-усердно» несли свою легкую службу в поезде главнокомандующего, стоявшем целыми неделями на одном месте. Но вообще приказы были очень небогаты награждениями поездной прислуги. А я видел, как «отлично-усердно» несли свою крайне-тяжелую службу проводники и смазчики воинских и санитарных поездов.

Если даже признать вообще пользу отличий и орденов, то все-таки совершенно неоспоримо, что так, как награждения были поставлены в нашей армии, они приносили только вред. Странно награждать за простое исполнение долга, — ведь за неисполнение долга жестоко наказывают. Предполагается (всякий профан так именно и смотрит на боевой орден), что награжденный совершил что-то особенное, исключительное, из ряда выходящее. Но ведь таких

на всю армию могут быть только десятки, ну сотня-другая. Слава их подвигов должна греметь по всему миру, имена их должны быть известны всякому. У нас же награжденных были многие тысячи, и о «подвигах» большинства можно было узнать только из наградных списков.

Понятно, что только о наградах везде и говорили, только о наградах и думали. Они мелькали кругом, маня и дразня, такие доступные, такие малотребовательные. Человек был в бою, вокруг него падали убитые и раненые, он, однако, не убежал, — как же не претендовать на награду?

Подобно офицерам, и солдаты каждый свой шаг начинали считать достойным награды. В конце года, уже после заключения мира, наши госпитали были расформированы, и команды отправлены в полки. Солдаты уходили, сильно пьяные, был жестокий мороз, один свалился на дороге и заснул. Его товарищ воротился за полверсты назад и сказал, чтобы пьяного подобрали. Назавтра он является к главному врачу и требует, чтоб его представили к медали «за спасение погибавшего».

— Ты с ума сошел?!

— Никак нет! Я вас покорнейше прошу, как я его спас, то желаю медали... Как вам будет угодно!

— Да, дурья голова, пойми ты! Медаль дается, когда человека спасают с опасностью жизни. А ты что, — версту лишнюю прошел, и за это требуешь медали!

— Как вам будет угодно! Не представите, буду жаловаться... За что обижаете?

Мы, младшие врачи госпиталя, были уже представлены главным врачом к Станиславу третьей степени и получили его за полное ничегонеделание в бой на Шахе. Теперь, после мукденского боя, главный врач представил нас к Анне третьей степени с мечами. Сестер он представил к золотым медалям на анненской ленте, а старшую сестру, уже имев-

шую золотую медаль, — к серебряной медали на георгиевской ленте. В мотивировке представления было сказано, что мы перевязывали раненых под огнем неприятеля. Мы смеялись и возражали, что перевязывать мы уж потому не могли, что у нас не было даже перевязочного материала. Только старшая сестра, которой для службы в ее общине очень была важна георгиевская ленточка, упорно, под всеобщими улыбками, утверждала, что она перевязывала под огнем. Главный врач всех нас в душе ненавидел, мы, не стесняясь, смеялись при нем над наградами, но он все-таки представлял нас к орденам, потому что это было выгодно; если отличились все его подчиненные, — ясно, и сам он заслуживал награды.

В Султановском госпитале дело было поставлено еще шире. Султанов представил Новицкую к золотой медали на георгиевской ленте, остальных сестер — к серебряным медалям на георгиевской ленте. Обо всех, разумеется, также было написано, что они перевязывали раненых под огнем неприятеля и что при этом особенно отличилась своей самоотверженностью сестра Новицкая.

Но начальник дивизии был у нас теперь другой. Еще к новому году прежний начальник дивизии, вялый и покладистый старик, расстроился нервами и эвакуировался в Россию. На его место попал генерал умный, энергичный и самостоятельный. В конце мукденского боя, во время всеобщей паники, он в порядке привел свою дивизию с левого фланга к железной дороге и задержал наседавших японцев. Рассказывали, что Куропаткин сказал ему: «встречаю первого генерала, который не потерял головы». Этот генерал совсем не хотел считаться с особенными симпатиями, которые питал корпусный командир к султановскому госпиталю. За неделю до мукденского боя он делал инспекторский смотр обоим нашим госпиталям, нашел у Султанова людей плохо устроенными, лошадей худыми,

изнуренными, отчетность запущенной и в приказе по дивизии сделал всемогущему Султанову резкий выговор.

Теперь начальник дивизии запротестовал против султановского представления сестер к наградам. Он не находил никаких оснований выделять Новицкую из других сестер: если она, действительно, заслуживает золотой медали, то одинаково заслуживают ее и другие сестры. Заносчивая Новицкая ужасно этим возмущалась. Султанов давал обед. За одним столом сидела «знать», — корпусный командир, начальник штаба, Новицкая и Султанов, за другим — остальные сестры и штабные чином помельче. Адъютант сообщил сестрам, что всех их собираются представить к золотым медалям. Новицкая услышала это и громко заявила:

— Мне будет очень, очень неприятно, если меня сравняют со всеми!

После этого корпусный стал еще сильнее настаивать перед начальником дивизии, чтоб остальным сестрам были даны серебряные медали. Начальник дивизии решительно ответил:

— Вот в наградном листе графа для замечаний вашего высокопревосходительства, можете там написать, что хотите. А я своего отзыва не изменю.

Сам Султанов получил за мукденский бой очень крупную награду. Однажды, в апреле месяце, корпусный приехал на обед к Султанову и за обедом торжественно повесил ему на шею Анну второй степени с мечами.

Нас передвинули верст на пять еще к северу, в деревню Тай-пинь-шань. Мы стали за полверсты от Мандаринской дороги, в просторной усадьбе, обнесенной глиняными стенами с бойницами и башнями. Богатые усадьбы все здесь укреплены на случай нападения хунхузов. Хозяина не было: он со своей семьей уехал в Маймакай. В этой же усадьбе стоял обоз одного пехотного полка.

Наступала весна. Почки набухали, пробивались веселые стрелки молодой травы, желтоватые луговины получали зеленоватый отсвет. Однажды под вечер на дворе появился полный старик-китаец в меховом треухе, с рябым, безусым лицом. У него была старчески-добрая улыбка; он ковылял на больных ногах, опираясь на длинную, тонкую палку. Китайцы-работники, почтительно глядя на него, сообщали нам:

— Бульсой, бульсой (большой) капитан!.. Тхун-тхун хажаин!

И показывали руками кругом: хозяин надо всем.

Ковыляя на своих ножках, старик ходил по двору и осматривал его, добродушно-любезно улыбался нам, попросил у нас разрешения войти в свою фанзу. Ему позволили. Он вошел, осмотрелся. Видимо, остался очень доволен, что ничего не сломано.

— Шанго (хорошо)! — сказал он.

— Ломайло мэ ю (ломать, портить ничего не будем)! — успокоительно говорили ему.

— Шанго! — повторил он.

Сел на дворе на ящик, посасывая свой аршинный чубук. Из боковой фанзы с поднятыми верхними рамами окон доносились возгласы и пение, — у нас служили всенощную. Слышны были странные моления о страждущих, о мире всего мира... Старик с любопытством прислушивался.

Поместиться ему в своей усадьбе было негде: все было занято нами и нашей командою. К ночи старик уехал обратно в Маймакай.

Китайцы выезжали на поля. Начинался сев. Начальников русских частей объезжали два китайских чиновника с шариками на шляпах, со свитой из пестрых китайских полицейских с длинными палками. Чиновники предъявляли бумагу, в которой власти просили русских начальников не препятствовать китайцам в обработке полей. Русские

начальники прочитывали бумагу, великодушно кивали головами и заявляли чиновникам, что, конечно, конечно... какой тут даже может быть разговор...

Однажды утром я услышал в отдалении странные китайские крики, какой-то рыдающий вой... Я вышел. На втором, боковом дворе, где помещался полковой обоз, толпился народ, — солдаты и китайцы; стоял ряд пустых арб, запряженных низкорослыми китайскими лошадьми и мулами. Около пустой ямы, выложенной циновками, качаясь на больных ногах, рыдал рябой старик-хозяин. Он выл, странно поднимал руки к небу, хватался за голову и наклонялся и заглядывал в яму.

В этой яме, под набросанными сверху каолиновыми корешками, у старика было зарыто четыреста пудов каолинового зерна. Сегодня утром с арбами и с рабочими он приехал, чтоб взять семена для сева, разрыл яму, — она была пуста.

Начальник обоза, флегматический капитан с рыжими, отвисшими усами, был здесь. Он с равнодушным любопытством следил за стариком, на вопросы переводчика удивленно пожимал плечами и говорил, что каоляна никто не брал.

— Николай Сергеевич, вы не знаете, — может быть, кто из наших солдат взял? — спрашивал он прапорщика. В его голосе было что-то притворное и неестественное.

— Нет!

— Брал кто из вас, ребята, его каолян? — обращался капитан к команде.

— Никак нет! — неохотно отвечали солдаты, глядя в сторону.

Старик прыгнул в яму. Он валялся на дне, корчился в конвульсивных рыданиях и что-то кричал по-китайски. Переводчик объяснил: старик просит закопать его в яме, потому что теперь ему, все равно, остается умирать с голоду.

Солдаты, хмурые и угрюмые, молча расходились.

Вечером денщики рассказали нам: недели полторы назад обозные солдаты случайно наткнулись на зарытый каолян и сообщили о нем своему командиру. Капитан дал каждому по три рубля, чтоб никому не говорили, и глухой ночью, когда все спали, перетаскал с этими солдатами каолян в свои амбары.

Я потом расспрашивал об этом обозных солдат. Они со злобою, с презрением рассказали то же самое и вовсе не хотели ничего скрывать

— Мы что ж! Что нам прикажут, то солдат и должен делать. А грех на командире.

Только конюх Михеев, откопавший каолян и сообщивший о нем капитану, говорил:

— Зачем я это сделал? Последнего Китай лишился. Мне за это бог отплатит.

Старик-хозяин исчез, и больше мы его уж не видели.

Апрель месяц мы без дела простояли в деревне Тайпинь-шань. В начале мая нас на то же безделье передвинули верст на десять севернее и поставили недалеко от станции Годзядань. Султановский госпиталь, как и прежде, все время стоял недалеко от штаба корпуса.

Деревья и поля уж густо зеленели, наступили жары. Повсюду на случай отступления прокладывались и окапывались дороги, наводились мосты.

Мимо нас проводили с позиций на станцию партии пленных японцев и хунхузов. Вместе с ними под конвоем шли и обезоруженные русские солдаты. Мы спрашивали конвойных:

— Эти за что арестованы?

— За что нашего брата арестуют? Офицеров ругали, — угрюмо и неохотно отвечали конвойные.

Получено было секретное предписание тщательно вскрывать и просматривать письма, приходящие из России

на имя солдат, так как в большом количестве присылались прокламации противоправительственного содержания.

Приходили вести о волнениях в России, о забастовках, о громадных демонстрациях. Офицеры острили:

— Вы слышали? В России забастовали все грудные младенцы. Требуют свободы слова и... свободы действий...

— Да, и в Россию теперь возвращаться плохо, и там дела неважные...

— Ничего! Приедем — усмирим!

— Нет, господа, как мы приедем? Ведь на улицу не показывайся. Читали, как в Петербурге зимой избили одного генерала?

— А как нас провожали, когда мы сюда ехали! Как «ура» кричали!

— Д-да... А теперь сторонкой, переулочком проходи, а то изобьют.

— Так это же чернь!

— Да, да! Та самая, которая «ура» кричала!

— Черт возьми! Нет, уж лучше бы наш корпус оставили в Сибири, а потом, когда все забудется, и воротиться.

Мрачный поручик с красным носом решительно махал рукою:

— Это что уж говорить! Воротимся домой, — будут нас студенты бить по морде!

— Ну, это еще посмотрим, кто кого!..

И глаза зловеще загорались.

С 17 мая по армии пошли глухие слухи, что где-то около Японии балтийская эскадра разбита адмиралом Того. Слухи с каждым днем росли, становились настойчивее, определеннее — и все невероятнее. Рассказывали, что эскадра совершенно уничтожена, лучшие броненосцы потоплены, остальные захвачены японцами, Рождественский и Небогатое в плену, во Владивосток прорвался только

один крейсер; японский же флот не понес никаких потерь. Самые крайние пессимисты со смехом передавали эти «преувеличенные» слухи. Но день шел за днем, — невероятное оказывалось верным: грозный флот, который так восхваляли, веру в который так усиленно старались вселить в армию, — флот этот, словно игрушечный, разлетелся в куски под дальнобойными орудиями Того, не принесши японцам никакого вреда. Оказывалось, балтийская эскадра была новой огромной глиняной пушкою, которая только должна была пугать японцев своим видом.

Отчаяние, ужас, негодование царили в армии. Как все это могло случиться? Солдаты упорно отказывались верить в гибель эскадры.

— Может, это так себе в газетах написано, врут!

У всех их было глубокое, все возраставшее недоумение, — откуда у этого японца, о котором до войны даже не слыхал никто, — откуда у него эта волшебная непобедимость и сила?

— Ну, теперь уж мир несомненен! — говорили все с уверенностью. — Перейдены все пределы безумия!

Слухи ползли, клубились и разрастались. Рассказывали, что японцы только и ждали морского боя, и теперь всеми силами собираются ударить на нас, подготовились они грандиозно, и если произойдет бой, то вся наша армия будет прямо сметена с лица земли.

На ухо передавали друг другу известия, что в Петербурге, когда пришла весть о гибели эскадры, произошли громадные народные волнения, убито четырнадцать тысяч человек.

Слухи о мире становились настойчивее. Сообщали, что японцы уж начали было наступление — и вдруг остановили его. Солдаты ждали мира с каким-то почти болезненным напряжением и тоской. Глаза их мрачно загорались. Они говорили:

— Как скотину, послали нас сюда на убой, неведомо, на что!

Наконец, 1 июня появилось правительственное сообщение, что президент Рузвельт предложил русскому правительству свое посредничество для ведения мирных переговоров с Японией, и что русское правительство приняло предложение Рузвельта.

И началась пытка. Эта пытка тянулась все лето, около двух с половиной месяцев.

Жадно ловились все известия из Вашингтона. Солдаты ежедневно ходили на станции покупать номера «Вестника Маньчжурских Армий». Посредничество Рузвельта принято, уполномоченные России и Японии собираются съехаться... И вдруг приказ Линевича, в котором он приводит царскую к нему телеграмму: «Твердо надеюсь на доблестные свои войска, что в конце концов они с помощью божией одолеют все препятствия и приведут войну к благополучному для России окончанию».

И опять: местом встречи уполномоченных назначен Вашингтон, но уполномоченные съедутся только в августе, через два месяца! Почему так долго? А в других телеграммах сообщалось, что Ояма перешел в стремительное наступление. С позиций приходили слухи, что начинается генеральный бой. Японцы высадились на Сахалине, заняли Корсаковский пост и быстро продвинулись в глубь острова.

Стояли жары, и шли дожди. В воздухе непрерывно парило. Слухи о предстоящем бое становились все настойчивее, слухи о мирных переговорах и о перемирии все глуше. Солдаты говорили:

— Лучше бы уж не писали ничего, а то телеграммами этими только тиранят сердце каждого человека. Читает сегодня солдат газету, радуется: «замирение!» А завтра откроешь газету, — такая могила, и не глядел бы! Как не думали, не ждали, лучше было. А теперь — днем мухи не дают спать, ночью — мысли. Раньше солдат целый котелок

борща съедал один, а теперь четверо из котелка едят и остается. Никому и есть-то неохота.

Появилась в «Вестнике Маньчжурских Армий» телеграмма, отправленная главнокомандующим царю. В этой телеграмме Линевич заявлял, что армия с огорчением слышит о начинающихся мирных переговорах и вся, как один человек, горит желанием сразиться с врагом.

Солдаты читали телеграмму и враждебно смеялись:

— Видно, мало денег нагреб себе, потому так и пишет.

По двенадцать тысяч рублей в месяц получает, — чего ему?

— И чего врет царю? Опрашивал нас, что ли?

— Ну, а кабы опросил, разве бы кто сказал?.. У нас раз было на опросе претензий. Спрашивает нас генерал: «Всем довольны?» — Так точно, ваше превосходительство! — «Пищу хорошую получаете?» — Так точно! — «Кофей сегодня все пили?» — Так точно! — Генерал смотрит, смеется: «Какой же это вы сегодня кофей пили?» Известное дело, солдат на все: «так точно!» — больше ничего.

Настроение солдат быстро, на глазах, менялось. Они неохотно отдавали честь офицерам; то и дело происходили столкновения. Комментарии к приходившим из России вестям были зловещие.

— Вот, в газетах писано, бунты везде идут у нас... дай, мы приедем, то ли еще будет! Из дому пишут, — ничего не родилось, — ни ржи, ни овса, ни сена. А барину за землю 27 рублей все-таки заплати. Не будет нам прирезки, все равно, землю у помещиков отберем, нам без той земли невозможно.

В середине июля Витте поехал в Вашингтон, и все облегченно вздохнули; теперь уж дело верное! Но вдруг распространился слух, что его отозвали с дороги обратно.

Патриотические газеты писали против мира, Хабаровская дума во всеподданнейшем адресе умоляла царя не принимать мира, если японцы будут требовать контрибуции или «хоть пяди русской земли». Царская резолюция на адресе гласила: «Вполне разделяю чувства, одушевляющие Хабаровскую думу». Ходатайства разных неведомых местечек встречали такой же прием. Может быть, все это лишь для того, чтобы сделать японцев поуступчивее? А если решение вполне серьезно! Уж не было веры хоть в какие-нибудь пределы безумия и ослепления: не остановились после Шахе, не остановились после Мукдена, — почему остановятся после Цусимы?

А утомление войной у всех было полное. Не хотелось крови, не хотелось ненужных смертей. На передовых позициях то и дело повторялись случаи вроде такого: казачий разъезд, как в мешок, попадает в ущелье, со всех сторон занятое японцами. Раньше никто бы из казаков не вышел живым. Теперь на горке появляется японский офицер, с улыбкой козыряет начальнику разъезда и указывает на выход. И казаки спокойно уезжают.

Слухи об отозвании Витте оказались неверными. Он прибыл в Вашингтон, начались переговоры. С жадным вниманием все следили за ходом переговоров. «Вестник Маньчжурских Армий» брался с бою. А здешнее начальство все старалось «поддержать дух» в войсках. Командир одного из наших полков заявил солдатам, что мира желают только жиды и студенты.

Недавно приехавший в армию генерал Батьянов в своей речи к солдатам говорил:

— Если кто вам скажет, что заключен мир, бей того прямо в морду!

«Вестник Маньчжурских Армий» печатал стихи «От солдат» в таком роде:

Веди нас, отец наш, в решительный бой,
Веди нас на дерзких врагов!
Мы грозной тучей пойдем за тобой,
Сразимся с врагами мы вновь.
Мы кровью своей омоем позор
За прежние тяжкие дни,
Нам больно услышать отчизны укор.
Веди нас, отец наш, — веди!

Телеграммы шли все самые противоречивые: одна — за мир, другая — за войну. Окончательное заседание постоянно отсрочивалось. Вдруг приносилась весть: «Мир заключен!» Оказывалось, неправда. Наконец, полетели черные, зловещие телеграммы: Витте не соглашается ни на какие уступки, ему уже взято место на пароходе, консультант профессор Мартенс упаковывает свои чемоданы... Прошел слух, что командующие армиями съехались к Линевичу на военный совет, что на днях готовится наступление.

Никогда в свою жизнь я не видел такой всеобщей, глубокой душевной подавленности. Офицеры сидели, мрачные и задумчивые, изредка перекидываясь замечаниями:

— Какое безумие!.. Идут на гибель и не понимают. Это прямо историческая Немезида!

— Да... Горизонты мрачные!.. Не сами только на погибель идут, а нас посылают.

— Страшно, что теперь самые лучшие полки могут прямо положить оружие, — слишком уж все сжились с мыслью о мире... С этаким духом вести в бой!

Солдаты были угрюмы и злы. Они продавали китайцам последние собственные рубашки.

— Чего их теперь беречь? Лучше выпьем! Думали мир будет, а теперь пусть казна заботится.

— А уж если теперь отступать придется, — никто из этих верховых бегунов от нас не уйдет. В красных лампасах, которые как бой, так за пять верст от позиции. А отступать: все впереди мчатся, верхами да в колясках... Им что! Сами миллионы наживают, а царю телеграммы шлют, что солдат войны просит.

XI. Мир

— Ура-а! — повсюду гремело в напоенном солнцем воздухе.

По дороге ехали в фурманке два солдата-артиллериста, высоко поднимали развевавшийся по ветру полулист «Вестника» и кричали:

— Мир! Мир!

— Ура-а! —неслось в ответ.

Солдаты бросали в воздух фуражки, обнимались, пожимали друг Другу руки. Все жадно читали телеграмму Витте к царю:

Япония приняла Ваши требования относительно мирных условий, и таким образом мир будет восстановлен, благодаря мудрым и твердым решениям Вашим...

И опять, и опять перечитывали. За телеграммой шла передовая статья редакции в обычном напыщенном фальшивом стиле:

Ближайшая вероятность заключения мира смутит в некоторой степени наших воинов, кои ожидали боев грядущих, дабы победой снять тяжесть бывших боевых неудач. Всем этим достойным воинам Русской Земли да будет ведомо, что в силу настойчивого их стремления к победе для России создалась возможность, как и до днесь, оставаться Великой державой на Дальнем Востоке.

И опять глаза перебегали к драгоценной телеграмме. Везде было ликование, слышался веселый смех, «ура». «Вестник» с телеграммой Витте рвали друг у друга из рук, в Маймакае платили за номер по полтиннику.

Рассказывают, когда в Харбине была получена телеграмма о мире, шел дождь. В одном ресторане офицер обратился к присутствовавшим, указывая на густо сыпавшиеся с неба капли:

— Господа, посмотрите! Вы думаете, это идет дождь? Нет, это не дождь идет, это льются слезы интендантов, генералов и штабных!

Закончилась великая борьба Христова воинства с «драконом». Ханжи-публицисты могли и теперь еще говорить о святом подвиге, взятом на себя Россией, — солдаты качество этого подвига оценивали совсем иначе. Они облегченно говорили:

— Буде по полям шататься, греха копить. А то, слава богу, сколько греха накоплено!

Ждали ратификации договора. Перемирия заключено не было. На передовых позициях все продолжались стычки, каждый день приходили вести об убитых. Для чего теперь эти ненужные жертвы? Офицеры в ответ посмеивались:

— Спешат все дополучить награды, которых не успели получить. Как только мир будет ратификован, — конец: командующие армиями теряют право собственной властью давать ордена... Вы бы посмотрели, что делается, — ни одного теперь генерала не застанешь дома, все торчат на передовых позициях.

Штабы осаждались офицерами, приезжавшими отовсюду хлопотать об утверждении наград.

Были утверждены и медали наших сестер. Младшие сестры получили золотые медали на анненских лентах «за высокополезную и самоотверженную службу по уходу за ранеными и эвакуацию с 12–20 февраля с. г.». Старшая сестра получила серебряную медаль с надписью «за храб-

рость» на желанной георгиевской ленте, — «за самоотверженную работу по уходу за ранеными под огнем неприятеля в феврале месяце 1905 года».

Сестры сияли, все поздравляли их. Солдаты нашей команды с удивлением спрашивали меня:

— Ваше благородие! За что это им медали? Уж по второй медали выдают. Что они, больше фельдшеров, что ли, работали? За что это им так?

Работали они, действительно, никак уж не больше фельдшеров. Работали сестры добросовестно, но работа фельдшеров была гораздо труднее. Притом, в походе сестры ехали в повозке, фельдшера, как нижние чины, шли пешком. Сестры на всем готовом получали рублей по восемьдесят в месяц, фельдшера, как унтер-офицеры, получали рубля по три.

Главный врач представил к медалям человек восемь фельдшеров и госпитальных надзирателей. Ему ответили, что на каждый госпиталь для нижних чинов будет выдано только по две медали. Награды здесь были оптовые и равномерные, — по две на госпиталь. У нас медали получили фельдфебель и старший фельдшер.

Сестры... Я ничего не имею сказать против них. Они были на войне небесполезны, в тыловых госпиталях были даже очень полезны. Но они служили необходимым украшением боевой сцены, были «белыми ангелами, утоляющими муки раненых воинов». Как таким «ангелам», им пелись всеобщие хвалы, каждый уж заранее был готов умиляться перед ними, их осыпали наградами. Сколько я знаю, ни одна сестра не воротилась с войны без одной или двух медалей; достаточно было, чтобы за сотню сажен прожужжала пуля или лопнула шрапнель, — и сестру награждали георгиевской ленточкой. Сестрам же, имевшим знакомство в верхах, не нужно было и этого: они получали георгиевские

ленточки просто за знакомство с власть имущими. Так получили, например, эти ценные ленточки Новицкая и другие сестры султановского госпиталя, ни разу не бывшие под огнем Пускай бы все это! Пускай бы русская публика, глядя на оранжево-черные ленточки и на медали с надписью «за храбрость», думала, что перед ней — самоотверженные героини, бестрепетно работавшие под тучами пуль, шимоз и шрапнелей. Истинному героизму противны ярлыки. Если публика этого не понимает, то и пусть ее дух питается фальшивым героизмом, украшенным пышными ярлыками.

Но невольно является желание умерить эти вздутые восторги, когда вспоминаешь о тысячах безвестных, действительно героических тружениках, — о фельдшерах, невидно тонувших в бескрайном, сером солдатском море. Им никто не пел хвалений, они не украшали собой ярких боевых декораций. Не обращая на себя ничьего внимания, они скромно шагали следом за ротами с своими перевязочными сумками; мерзли вместе с солдатами в окопах; работали, действительно, под тучами пуль и шрапнелей, бесстрашно ползали под огнем, перевязывая валяющихся раненых. Об этих героях с действительным восторгом и уважением отзывались все боевые офицеры. За свою работу в госпитале я тоже с особенно теплым чувством вспоминаю не о сестрах, хотя ничего не могу сказать против них, а о фельдшерах и палатных служителях, так удивительно добросовестно исполнявших свое дело, так тепло и товарищески участливо относившихся к раненым и больным.

Скажу, кстати, вообще о сестрах в эту войну.

Сравнительно лишь очень небольшую часть их составляли профессиональные сестры, уже в России работавшие в качестве сестер. Большинство, по крайней мере, из виденных мною, были волонтерки, наскоро обучившиеся уходу за ранеными перед самым отъездом на войну. Что влекло

их на войну? Шедших из «идеи» было, по-видимому, очень мало. Эта война не знала сестер-подвижниц, которые таким ореолом окружили самый образ сестры милосердия. И это понятно. Слишком сама-то война была безыдейная. В русско-турецкую войну могли идти в строй добровольце, мисолдатами такие люди, как Гаршин, — естественно, что и среди сестер были такие девушки, как баронесса Вревская, воспетая Тургеневым и Полонским. Теперь для каждой женщины, горевшей жаждой подвига и самопожертвования, было достаточно дела и внутри России, — на работе революционной.

Большинство сестер было из среды тех девушек, которых так много во всех углах Руси: кончили учиться, — а дальше что? Живи у родителей, давай уроки, чтобы иметь деньги на карманные расходы, тупо скучай и жди случая выйти замуж. В двадцать лет жизнь как будто окончена. И вдруг вдали открывается яркий, жутко-манящий просвет, где все так необычно, просторно и нескучно. Шли также вдовы и мужние жены, задыхавшиеся в тупой скуке и однообразии жизни. Шли просто авантюристки. Шли женщины, которым была противна безопасная жизнь, без бурь и гроз, — женщины с соколиной душою, но со слабой головою. Такова была мелькнувшая в нашем госпитале «сестра-мальчик», у которой глаза загорались хищным огнем, как только надвигалась опасность. Но опасностей было мало, жизнь и здесь текла скучно, серо, и сестра-мальчик вскоре, еще до мукденского боя, уехала обратно в Россию.

Может быть, в армии были и «идейные» сестры разных типов, но я лично их не встречал.

Далее, немало было сестер из аристократических семей, с большими связями. За немногими исключениями, сестры эти являлись истинными бичами тех врачебных учреждений, где они служили. К обязанностям сестры они были

приспособлены очень мало, исполняли только те назначения врачей, какие им было угодно, самих врачей не ставили ни в грош и вертели всем учреждением, как хотели. Всю свою деятельность здесь они превращали в один сплошной, веселый и оригинальный пикник с штабными генералами и офицерами.

Не меньшее зло представляли собой и сестры, жены офицеров, находившихся в строю. Во время боя, когда сестры наиболее нужны, они были ни на что не годны. Естественно, все их помыслы в это время были только о муже, — где он, жив ли? Приходила весть, что муж убит или ранен, — и сестре совсем уж было не до окружающих. Отдельные из таких сестер могли очень добросовестно относиться к своим обязанностям, но главное, что шли-то они в сестры вовсе не по влечению, а только для того, чтобы быть поближе к мужьям. Менее культурные из них были чрезвычайно обидчивы, замечание по поводу их неисправности в уходе за больными принимали за оскорбление, и работать с ними было крайне трудно. Естественно было желание жен находиться поближе к мужьям, шедшим в ад этих ужасных боев. Но было совершенно неестественно, что государство платило сравнительно очень немалое жалованье (рублей восемьдесят в месяц на всем готовом) женам за их пребывание поблизости от мужей.

Сестры были единственным женским элементом в огромном скопище здоровых, крепких, лишенных женщин мужчин. Как всегда, в армиях на войне, голод по женщине был громадный. Простая возможность побыть полчаса в женском обществе ценилась офицерами чрезвычайно высоко. Полковой праздник никому был не в праздник, если не удавалось пригласить на него хоть двух-трех сестер. Сестры, которых по их развитию и общественному положению еле удостоил бы в России своим знакомством какой-нибудь захудалый поручик,

здесь настойчиво приглашались на обеды командующими армиями, знакомства с ними добивались блестящие гвардейцы. Нашей сестре, недурненькой собой, пришлось однажды поехать в штаб одного из наших полков, где был зубной врач. Во всем полку поднялся переполох, офицеры смотрели в щелки дверей, чтоб увидеть сестру. Один из них с недоумевающим смехом рассказывал мне:

— Ей-богу, я человек вовсе не застенчивый, с дамами имел весьма много дел. А тут — поверите ли? — предложили мне познакомиться с этой сестрою, так пять минут за дверью стоял, волновался и не смел войти! Так отвык от дамского пола!

Когда летом мы гуляли по проезжим дорогам с нашими сестрами, все встречные оборачивались на них, оглядывали. Уедут уж далеко, а все смотрят назад, того и гляди, вывихнут себе шею.

Была уже половина сентября. Мы ждали ратификации мирного договора, чтобы идти на зимние стоянки за Куанчензы. Еще в начале августа нас придвинули к позициям, мы развернули госпиталь и работали.

Чумиза на полях была сжата, повсюду снимали каолян. Поля обнажались. Дни стояли солнечные и теплые, но ночи были очень холодные, часто с заморозками. Солдаты же имели только летние рубашки и шинели. Суконные мундиры и полушубки еще весной были отвезены на хранение в Харбин.

А жили солдаты в палатках. Они сильно мерзли по ночам, ходили с угрюмыми, застуженными лицами. У кого были деньги, те отправлялись в Маймакай и покупали себе китайские ватные одеяла. Но спрос на одеяла был громадный, и цена их доходила до восьми рублей.

Наш каптенармус поехал в Харбин за сданными на хранение теплыми вещами. Через день после его отъезда пришла бумага из войскового склада, что наши вещи переданы из этого склада в другой, № такой-то. А через неделю воротился каптенармус без вещей. Он доложил:

— Не выдали вещей. Бумага написана не на этот склад.

— Так ты бы заявил в прежнем складе! Пусть бы пометили на нашей бумаге, что вещи переданы в другой склад.

— Заявил. Отказали. Вам, говорят, об этом была послана бумага.

Пришлось писать новую бумагу, снова посылать в Харбин. Еще через неделю вещи, наконец, пришли.

Многие мундиры, полушубки и валенки были уж так заношены, что совершенно не годились в дело. Написали требование на новые вещи. И тут открылось поразительное обстоятельство: запаса теплой одежды в армии больше не было!

На инспекторском смотру начальник дивизии говорил солдатам:

— Имейте, братцы, в виду: когда мы домой поедем, еще неизвестно. Зима здесь шибко лютая, а запасов теплой одежды нет. Берегите всякую теплую тряпку, ничего не бросайте, — сами потом пожалеете!

Слушал я генерала — и, холодя душу, встал передо мной вопрос: ну, а если бы японцы не приняли последнего ультиматума Витте, и война бы продолжалась?

Вспомнились мне рассказы офицеров, приезжавших летом из Владивостока. Они изумлялись, как вяло и медленно идет укрепление Владивостока; как будто и Владивосток, подобно Порт-Артуру, ждет, когда его обложат японцы, чтобы начать укрепляться энергично.

Да, здесь всему, всему приходилось верить!

История султановского госпиталя закончилась крупным скандалом. Однажды, собираясь ехать в гости к корпусному, д-р Султанов зашел к своим младшим врачам выяснить какие-то недоразумения, которые постоянно возникали в их госпитале. Во время их объяснения старший ординатор Васильев, говоря о Новицкой, назвал ее «сестра Новицкая».

Султанов вспыхнул. Он затопал ногами и закричал:

— Не сметь Аглаю Алексеевну называть сестрой Новицкой!

Васильев изумленно вытаращил глаза:

— Позвольте, а кто же она? Она — сестра милосердия, и ее фамилия — Новицкая.

Султанов в бешенстве замахнулся на Васильева плеткой.

— Если вы еще раз посмеете назвать Аглаю Алексеевну сестрой Новицкой, я вас изобью нагайкой! — крикнул он и вышел из фанзы.

Дело было при многочисленных свидетелях. Васильев подал рапорт по начальству с изложением всего происшедшего. Начальник дивизии назначил расследование. Васильев, кроме того, поехал в Гунчжулин к уполномоченному Красного Креста, рассказал о происшедшем и ему. Уполномоченный со своей стороны прислал посланца исследовать дело. Заварилась каша. Уполномоченный Красного Креста сместил Новицкую с должности старшей сестры и прислал на ее место сестру-старушку. Начальник дивизии потребовал удаления Султанова и заявил корпусному, что больше не потерпит присутствия Султанова в своей дивизии. Корпусный командир прилагал все силы, чтобы затушить дело, но начальник дивизии стоял на своем. Он заявил корпусному:

— Когда я, ваше высокопревосходительство, принимал дивизию, то вы меня не предупредили, что я буду ограничен в своих правах начальника дивизии.

Султанову пришлось подать рапорт о болезни, и он вместе с Новицкого уехал в Харбин. Через месяц Султанов воротился обратно в качестве главного врача госпиталя другой дивизии нашего корпуса. С этих пор рядом со штабом корпуса стали ставить этот госпиталь. Что касается д-ра Васильева, то корпусный командир устроил так, что его перевели из его корпуса куда-то в другой.

На место Султанова был назначен новый главный врач, суетливый, болтливый и совершенно ничтожный старик. Султановские традиции остались при нем в полной целости, Граф Зарайский продолжал ездить к своей сестре, госпитальное начальство лебезило перед графом. У его сестры был отдельный денщик. Она завела себе корову, — был назначен солдат пасти корову. Солдат заявил сестре:

— Ищите себе другого человека, я вашу корову стеречь не хочу!

За такую наглость солдат был поставлен под ружье.

Султановская команда оказалась вообще чрезвычайно «распущенной». Однажды сестры приказали солдатам вытащить матрацы из госпитального шатра. Солдаты ответили:

— Мы не ломовики, чтобы матрацы таскать!

Солдаты не имели права так ответить, но... шатер очищался для бала, который сестры давали штабным офицерам.

Наш солдат, сколько мне пришлось наблюдать его за войну, чрезвычайно добросовестен в исполнении того, что он считает себя обязанным делать. Будет и коров стеречь, и матрацы таскать, но лишь в том случае, когда видит, что это — служба государству, «казне». У нас же усматривали вопиющее нарушение дисциплины в том, что солдаты отказывались исполнять вопиюще-беззаконные требования начальства.

Однажды, когда граф Зарайский сидел у своей сестры, его вестовой доложил ему, что фуражир госпиталя выдал их лошадям совсем гнилое сено. (Между прочим, госпиталь вовсе не был обязан кормить на свой счет лошадей чуть не ежедневно бывавшего в госпитале графа.) Граф сам пошел к фуражиру и велел дать хорошего сена. Фуражир ответил, что сено поставлено интендантством, и оно все такое. Тогда граф велел выдать своим лошадям ячменю. Фуражир отказал:

— Я не имею права. Потрудитесь представить записку от смотрителя...

Граф страшно оскорбился и избил фуражира стэком по лицу. Потом воротился, сказал смотрителю.

— Я сейчас о морду вашего фуражира изломал свой стэк!

И уехал из госпиталя.

Все лицо и голова солдата были в красных полосах и кровоподтеках. Солдат был чрезвычайно дельный, честный и дисциплинированный. Мера терпения смотрителя переполнилась. Он возмутился и подал на графа рапорт с изложением всех обстоятельств. Заварилась новая каша, было назначено расследование. Граф смеялся в глаза смотрителю и говорил:

— Дело кончится тем, что я еще раз изобью вашего фуражира, только на этот раз поосновательнее!

Дознание раскрыло полную корректность в поведении солдата и полную виновность графа. Ждали, что графу будет, по крайней мере, выговор в приказе по корпусу. Но дело кончилось «словесным выговором» графу. Что это значит? Корпусный командир призвал его и сказал:

— Зачем вы, граф, бьете солдат? Вы ведь знаете, что это запрещено.

Граф заявил в госпитале, чтоб фуражир не попадался ему на глаза, а то он спустит с него всю шкуру. Знакомым же своим, весело посмеиваясь, рассказывал:

— Вы знаете, я недавно получил от корпусного командира выговор за то, что причинил зубную боль одному нижнему чину.

Мир был ратификован. В середине октября войска пошли на север, на зимние стоянки. Наш корпус стал около станции Куанчендзы.

Когда же домой? Всех томил этот вопрос, все жадно рвались в Россию. Солдатам дело казалось очень простым: мир заключен, садись в вагоны и поезжай. Между тем день шел за днем, неделя за неделею. Сверху было полное молчание. Никто в армии не знал, когда его отправят домой. Распространился слух, что первым идет назад только что пришедший из России тринадцатый корпус... Почему он? Где же справедливость? Естественно было ждать, что назад повезут в той же очереди, в какой войска приходили сюда.

Наконец вышел приказ главнокомандующего, в нем устанавливалась очередь отправки корпусов. Очередь была самая фантастическая. Первым, действительно, уходил только что прибывший тринадцатый корпус, за ним следовали — девятый, несколько мелких частей и первый армейский корпус. На этом пока очередь заканчивалась. Когда пойдут другие корпуса, в какую, по крайней мере, очередь, — приказ не считал нужным сообщить.

Настроение солдат было негодующее и грозное.

А в России и Сибири все железные дороги уже стали. В Харбине выдавались билеты только до станции Маньчжурия. Вскоре прекратилось и телеграфное сообщение с Россией. Была в полном разгаре великая октябрьская забастовка. Слухи доходили смутные и неопределенные. Рассказывали, что во всех городах идет резня, что Петербург горит, что уже подписана конституция.

Наконец в армии был получен манифест 17-го октября. Наш смотритель списал манифест в штабе и привез его. Стал нам читать. В фанзу вошли два денщика, копошились у кроватей, как будто что-то убирали, и прислушивались.

Смотритель опасливо покосился на них.

— Что вам тут нужно? Ступайте вон! — строго крикнул он. Денщики ушли.

Мы расхохотались.

— Да вы понимаете ли, Аркадий Николаевич, что вы читаете? Ведь это не прокламация, это манифест, высочайший манифест! Его в праве знать всякий.

— Так-то так, а все-таки!.. Не к чему им это!

Все военное начальство от мала до велика было очень смущено манифестом. «Незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей...» До сих пор все это писалось только в подпольных прокламациях, за отдаленные намеки на это конфисковались письма, приходившие солдатам с родины. А тут вдруг!..

В приказах главнокомандующего манифест не печатался, солдатам его не читали. Но солдаты, конечно, и сами сумели тотчас же ознакомиться с манифестом. С невинным видом они спрашивали своих офицеров:

— Ваше благородие, правду говорят, манифест какой-то от царя вышел?

Офицеры бегали глазами и уклончиво отвечали:

— Да, говорят, вышел какой-то... Сам я не читал...

Солдаты почтительно выслушивали, а глаза их смеялись. Между собой солдаты говорили:

— Спрятать от нас хотят, хотят, чтобы солдат не знал! На дураков напали! Солдат раньше главнокомандующего все узнает!

Сам собой родился и пополз слух, что начальство скрывает еще два царских манифеста: один, конечно, о земле, другой о том, чтобы все накопившиеся за войну экономические суммы были поделены поровну между солдатами.

Офицеры, за немногими исключениями, относились к совершавшимся в России событиям либо вполне равнодушно, либо с насмешливой враждебностью. Было в этой враждебности что-то бесконечно-тупое и легкомысленное, она шла из глубины нутра и неспособна была даже элементарно обосновать себя. То, что, казалось бы, могло быть достоянием только лабазников и сидельцев холодных лавок, здесь с апломбом высказывалось капитанами и полковниками:

— Это все жиды!

В громадных, невиданных в истории муках нарождалась на родине новая жизнь, совершалось историческое событие, колебавшее самую глубокую подпочву страны, миллионы людей боролись и рвали на себе цепи. Здесь отношение было одно:

— Все жиды! Все на жидовские деньги делается!

Шанцер, смеясь, возражал:

— Господа, мне очень лестно то, что вы говорите о евреях, но, право, вы нам делаете уж слишком много чести: и свободу-то вам, оказывается, дали евреи, и на это-то у вас не хватило собственных способностей!

Армии стояли на зимних квартирах, изнывали в безделье. Шло непрерывное, жестокое пьянство. Солдаты на последние деньги покупали у китайцев местную сивуху, —

ханьшин. Продажа крепких напитков в районе стоянки армий была строго запрещена, китайцев арестовывали, но, конечно, ханьшину было сколько угодно.

Все томились одним неотвязным, жадно ждавшим ответа вопросом: когда же, наконец, домой? Но сверху было все то же равнодушное молчание. В солдатах кипело глухое, злобное раздражение, им хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы заставить, наконец, поскорее везти их домой. Они грозили «забастовкой». Но какая забастовка могла быть там, где люди все равно ничего не делали?.. Она могла выразиться только в одном, — в избиении офицеров. И этим пахло в воздухе. А тут еще пошли слухи, что правительство боится везти домой возмущенную неудачами и непорядками армию, что решено всю ее оставить здесь. Солдаты зловеще посмеивались и говорили:

— Держат тут, боятся, — домой приедем, бунт устроим. Сколько ни держи, а домой, все одно, приедем, свое дело сделаем.

Линевич назначил смотр войскам нашей армии. Солдаты оживились, они считали дни до смотра. Все ждали, что Линевич объявит, когда домой. Смотр произошел. Линевич благодарил войска за «молодецкий вид» и сказал речь. Солдаты жадно, с горящими глазами, вслушивались, ловили неясные, шамкающие слова. Но перед взорами главнокомандующего были не живые массы измученных, истосковавшихся по родине людей, а официально-молодецкие полки «воинов, кои, ожидая боев грядущих» и т. д. И Линевич говорил, что не понимает, зачем батюшка-царь заключил мир; с такими молодцами он, Линевич, погнал бы японцев от Сыпингая, как зайцев...

После смотра Линевич дал, для распределения между наиболее отличившимися солдатами, по 800 Георгиев на каждый корпус. Шутники объясняли это пожалование

тем, что Линевич не ждал мира, заказал двадцать тысяч Георгиев и теперь не знает, куда их девать.

— Восемьсот Георгиев за молодецкий вид! — острили офицеры. — Раньше Георгия давали за воинский подвиг, а теперь вот оно как: за молодецкий вид!

Настроение солдат становилось все грознее. Вспыхнул бунт во Владивостоке, матросы сожгли и разграбили город. Ждали бунта в Харбине. Здесь, на позициях, солдаты держались все более вызывающе, они задирали офицеров, намеренно шли на столкновения. В праздники, когда все были пьяны, чувствовалось, что довольно одной искры, — и пойдет всеобщая, бессмысленная резня. Ощущение было жуткое.

Наконец, и начальство увидело положение дел. Пока было тихо, оно не думало о справедливости, высокомерно игнорировало интересы подчиненных. Делалось то же, что и в России. Каждым шагом начальство внушало своим подвластным одно: если ты что-нибудь хочешь от нас получить, то требуй и борись, иначе ничего не дождешься. 10-го ноября вышел приказ главнокомандующего, отменявший прежнюю несправедливую очередь отправки корпусов.

При увольнении в настоящее время запасных от службы на родину предписываю увольнение произвести в строгой справедливости прибытия корпусов на театр войны, а также и по очереди призыва запасных на укомплектование с соблюдением следующего (шло расписание очередей)... Таким образом, — заканчивался приказ, — приняты все меры, чтобы запасных скорее доставить на родину.

Было объявлено также, что для скорейшей перевозки запасных нанят ряд пароходов.

Когда еще в октябре мы шли на зимние стоянки, было уже решено и известно, что наш госпиталь больше не будет

работать и расформировывается. Тем не менее, мы уже месяц стояли здесь без дела, нас не расформировывали и не отпускали. Наконец, вышел приказ главнокомандующего о расформировке целого ряда госпиталей, в том числе и нашего. У нас недоумевали, — расформировывать ли госпиталь на основании этого приказа, или ждать еще специального приказа ближайшего начальства.

Было известно также, что лошадей мы назад не повезем, а они будут продаваться здесь с аукциона. У нас было семьдесят лошадей, содержание их обходилось около 25 руб. в день. Однажды из Харбина приехал извозопромышленник, стал приторговываться к лошадям и давал по 100 руб. за голову. Цена была очень хорошая: китайцы наших крупных лошадей не покупали, и на аукционе они должны были пойти за бесценок.

Смотритель поехал в штаб дивизии спросить, можно ли продать лошадей. Генерал ответил уклончиво:

— Конечно, продавайте. Но, предупреждаю, мое дело сторона. Если выйдут недоразумения с контролем, то разделывайтесь сами, меня это не касается.

Смотритель написал спешную бумагу полевому контролеру нашего корпуса и запросил его. Бумагу отвез письмоводитель и воротился назад с ней же. На обратной стороне бумаги контролер написал карандашом, без своей подписи:

«Возвращается обратно. Ответ передан на словах».

А на словах ответ был: ничего не могу сказать, делайте, как знаете.

Разумеется, махнули рукой и продавать лошадей не стали. А через месяц, поевши еще корму рублей на шестьсот, лошади были проданы с аукциона по пятнадцать рублей.

Железные дороги опять стали, почтово-телеграфное сообщение с Россией прекратилось. Но стачечные комитеты

объявили, что перевозка войск с Дальнего Востока будет производиться правильно. Волею-неволей начальству пришлось вступить в сношения с харбинским стачечным комитетом. И воинские эшелоны шли аккуратно.

Дисциплина в войсках со дня на день падала все больше. В штабах предупреждали офицеров, чтоб они обращались с солдатами как можно мягче, чтоб не вступали в пререкания из-за неотдачи чести. Солдат старались занимать на стоянках гимнастикой, военными прогулками, играми. «Вестник Маньчжурских Армий» пестрел письмами в редакцию разных ефрейторов, фейерверкеров и санитаров. Они писали, что стыдно нам, братцы, огорчать нашего царя-батюшку, нужно нам слушаться начальства, молиться богу, первее же всего — не пить водки, от нее, проклятой, все зло бывает. Конечно, бывают и средь офицеров плохие начальники, но в общем начальство всей душой заботится о нас, и мы должны быть ему благодарны.

Солдат читал, другие слушали и смеялись.

— Кто подписался?

— Афанасий Гуревич.

— Дурак!.. Пиши, Максимка, письмо в редакцию: я, рядовой Максим Прохоров, заявляю, что писаны одни глупости.

— Как откроют бунт большой, вот тогда и держись! — вздыхал другой.

Армия на глазах трещала и разваливалась. Собственно говоря, никакой армии уже не было, — было огромное скопище озлобленных людей, не хотевших признавать над собой никакой власти.

По полкам у солдат отбирали патроны. Велено было строго следить, чтоб в помещениях солдат не было никого посторонних, чтоб даже в соседнюю деревню не отпускать солдат без билетов, делать внезапные поверки и безбилетных арестовывать.

Носились слухи, что где-то в саперном батальоне было собрание солдат-делегатов, что решено в Николин день перебить всех офицеров и поделить между солдатами суммы из денежных ящиков. Несмотря на неоднократные опровержения начальства, среди солдат упорно держался слух, что все войсковые экономические суммы велено поделить между солдатами.

В будни кое-как еще можно было ездить по дорогам, в праздники, когда солдаты были пьяны, это было почти немыслимо.

Верховой офицер обгоняет кучку солдат, вслед ему несутся ругательства.

— Ишь, едет! Давайте, братцы, ссодим его!.. Всех вас, мерзавцев, перестреляем, дай срок! Покуражились над нами, будет.

Однажды я встретил на дороге шедшую под конвоем большую толпу обезоруженных солдат. Все были пьяны и грозны, осыпали ругательствами встречных офицеров. Конвойные, видимо, вполне разделяли настроение своих пленников и нисколько им не препятствовали. Солдаты были из расформированного отряда Мищенко и направлялись в один из наших полков. На разъезде они стали буйствовать, разнесли лавки и перепились. Против них была вызвана рота солдат.

Арестованные рассказывали, что они два дня не ели, не пили, что их обещали отпустить домой в сентябре, а держат до сих пор.

— Мы покажем! Мы еще покажем! — угрожающе твердили они в опьянении от водки и от злобы.

Как -то вечером, в праздник, я гулял с двумя сестрами. Солнце село. По узкой дороге вдоль кустов навстречу нам шел подвыпивший бородатый солдат в коротком полушубке. На околыше его фуражки был номер одного из наших полков.

— Ваше благородие! Как тут пройти в штаб дивизии? — спросил он меня.

— Вон-она деревня, за кустами. Ты не на ту дорогу свернул, нужно было прямо идти.

— Благодарим.

Солдат стоял и загадочно смотрел на меня.

— А ты сам откуда? — спросил я.

— Из штаба дивизии, — поспешно ответил он. Но околыш фуражки показывал, что он говорит неправду. — Ваше благородие, дайте папироску!

Я дал. Мы закурили.

— Когда же, наконец, ваше благородие, мы домой пойдем?

— Не знаю, — вздохнул я. — Говорят, в январе.

— Мы на это несогласны, мы забастовку сделаем! Вон мне жена из дому пишет: лошадь продала, корову; все проела, ничего нет. Нужно все к севу добывать, а это что же? Ноябрь, декабрь, февраль, январь, — эва! Мы несогласны, как вам угодно!

— Голубчик, я-то тут при чем же? Ведь и мне самому так же хочется домой, как и тебе.

— Вам что! Вам какое жалованье идет, — живи и не тужи! Я бы с таким жалованьем десять лет стал ждать! А нам жалованье сорок три с половиной копейки было, да и то теперь, по мирному времени, сократили. Вам ждать— нажива, а нам — разоренье, сума!

Возразить на это было нечего: конечно, получая около двухсот рублей в месяц, ждать было легче.

— Когда же нас отправят? Ваше благородие! — угрожающе приставал солдат.

— Ведь по очереди теперь отправляют, приказ был. Кто раньше пришел, тот раньше и уходит.

— Ви-идишь ты! Это как же так по очереди? Тринадцатый корпус только что пришел из России, ему телеграмма

была от Линевича, чтоб остановился в Чите, — а он до Харбина доехал, а потом назад? Девятый корпус тоже недавно пришел, а уж опять-таки ушел. Это что же такое? Мы несогласны!..

Было ясно, — солдат всячески старался вызвать меня на столкновение.

— Ну, так вот она дорога в штаб! — прервал я его и пошел с сестрами.

— Дорога! Я и без вас ее знал!.. Пойду уж домой. Шел к земляку, да не стоит: поздно.

— Куда домой? — засмеялись сестры.

— В Мценский полк.

— Ты же сказал, ты из штаба!

Солдат усмехнулся, махнул рукой и пошел по полю через каоляновые гряды.

— С путаешься так, иди по дороге, она прямо ведет.

— Э, солдат везде найдет дорогу!..

Он прошел сотни три шагов, потом в сумерках круто повернул к дороге и остановился под деревом у китайской могилы. Мы прошли мимо. Солдат стоял и молча смотрел на нас, потом пошел по дороге следом.

— Да-а... Кто воюет, а кто горюет!.. — вызывающе, с угрозой в голосе, говорил он, и следовали цинические ругательства.

Сестры волновались. Мы замедлили шаг, чтобы пропустить солдата вперед. Он обогнал нас и медленно шел, пошатываясь и все ругаясь. Были уже густые сумерки. Дорогу пересекала поперечная дорога. Чтобы избавиться от нашего спутника, мы тихонько свернули на нее и быстро пошли, не разговаривая. Вдруг наискось по пашне пробежала в сумраке пригнувшаяся фигура и остановилась впереди у дороги, поджидая нас.

Делать было нечего. Мы повернули назад и пошли к деревне. Солдат бегом нагнал нас.

— Так-то вы воюете, а? — задыхаясь, заговорил он. — С сестрами тут по ночам безобразничаете (так-то вас и так-то)?

Я мигнул сестрам, чтоб они шли к деревне, а сам остановился с солдатом.

— Послушай, голубчик, ну, как тебе не стыдно так скандалить?

— Нет, вы что тут такое делали, а?! В одну сторону, в другую, — думали, спрячетесь от меня?.. Се-естры!.. Милосердные!.. Что вы такое делали?

Он напирал на меня левым плечом, отмахнув назад сжатый кулак.

— Вот вы как воюете? Давай пять рублей, с-сукин сын!.. А то сейчас вас раскрою!

— Пяти рублей ты, конечно, не получишь. А отчего мы от тебя уходили, — попробуй-ка, сообрази сам.

— Я зна-аю!.. Я все понимаю!

— Ничего, брат, ты не понимаешь! Отошли мы от тебя потому, что ты пьян.

— Нет, я не пьян!

— Ну, а по совести, — сколько сегодня выпил?

— Действительно, как я именинник, то две чарки ханьжи (ханьшину) выпил, а я не пьян!

— Ну, хочешь вот что: пойдем в деревню, спросим первого встречного, пьян ты или нет. Если скажут нет, я плачу тебе десять рублей.

— Пойдем!

Мы пошли к деревне.

— Бог с вами! Давайте три рубля! — вдруг сказал он.

— Что?.. Нет, пойдем, пойдем; спросим раньше.

— И рублевки не дадите?

— Не дам,

— Ла-адно! — угрожающе произнес солдат. — Недолго погуляешь! Дай время, — со всеми вами разделаемся!

И он свернул в кусты.

То, что уже ясно почувствовалось во время мукденского разгрома, что с каждым месяцем росло все больше, теперь достигло меры, превзойти которую было невозможно.

Всякая спайка исчезла, все преграды рушились. Стояла полная анархия. Что прежде представлялось совершенно немыслимым, теперь оказывалось таким простым и легким! Десятки офицеров против тысяч солдат, — как могли первые властвовать над вторыми, как могли вторые покорно нести эту власть? Рухнуло что-то невидимое, неосязаемое, исчезло какое-то внушение, вскрылась какая-то тайна, — и всем стало очевидно, что тысяча людей сильнее десятка.

Все, что долго и прочно накапливалось в солдатской душе, вырвалось наружу и медленным., жутко-темным, угрожающим вихрем начинало крутиться над армией. Поражающее неравенство в положении офицерства и солдат, голодавшие дома семьи, бившие в глаза неустройства и неурядицы войны, разрушенное обаяние русского оружия, шедшие из России вести о грозных народных движениях, — все это наполняло солдатские души смутною, хаотической злобою, жаждой мести кому-то, желанием что-то бить, что-то разрушать, желанием всю жизнь взмести в одном воющем, грозном, пьяно-вольном урагане.

Восьмого декабря мы, младшие врачи госпиталя, получили бумагу. В ней объявлялось, что мы отчисляемся от госпиталя и командируемся в Россию в распоряжение московского военно-медицинского управления. Собственно говоря, это было увольнение в запас. Но в таком случае нам должны бы были выдать прогонные деньги до места нашего призыва. Чтоб избежать этого, нас здесь не увольняли, а «командировали» в Россию.

Итак, — конец! Скоро опять — свободные люди, скоро опять отношение твое к окружающим будет определяться свободной оценкой, а не видом погонов на плечах, количеством на них полосок и звездочек. Конец!

Почти полтора года пробыли мы в Маньчжурии. Много было лишений, много пережито тяжелого. Являлось желание подвести итог, дать себе отчет, — что же ты тут сделал? Итог получался печальный. Оборудование нашего подвижного госпиталя стоило около полутораста тысяч, ежемесячный бюджет его был в шесть-семь тысяч; сто двадцать пять человек было оторвано от своего дела в России и придано к госпиталю. Что же мы тут делали? В промежутке между боями по целым месяцам стояли свернутыми или принимали единичных больных, чтобы сейчас же отправить их дальше. Когда наступал бой, мы почти в самом начале его свертывались и поспешно уходили назад. Если бы нас здесь не было, если бы наш госпиталь совсем не существовал, решительно никто от этого не пострадал бы, никто бы даже не заметил нашего отсутствия.

XII. Домой

Гречихин, Шанцер и я, мы выехали вместе из Куанчендзы на Харбин. Ехало много офицеров и врачей, также отправлявшихся в Россию. Подвыпившие солдаты входили в купе, садились, не спрашиваясь, рядом с офицерами, закуривали.

Наутро мы приехали в Харбин. Здесь настроение солдат было еще более безначальное, чем на позициях. Они с грозно-выжидающим видом подходили к офицерам, стараясь вызвать их на столкновение. Чести никто не отдавал; если же кто и отдавал, то вызывающе посмеиваясь, — левой рукой. Рассказывали, что чуть не ежедневно находят на улицах подстреленных офицеров. Солдат подходил к офицеру, протягивал ему руку: «Здравствуй! Теперь свобода!» Офицер в ответ руки не протягивал и получал удар кулаком в лицо.

Вспыхивали страшные драмы. Во Владивостоке артиллерийский капитан Новицкий встретился на улице с солдатом: два Георгия на груди, руки в бока, в зубах папироска. Новицкий остановил солдата и сделал ему замечание, что тот не отдал чести. Солдат, ни слова не говоря, с размаху ударил его кулаком в ухо. Новицкий, по обычной офицерский традиции, выхватил шашку и раскроил обидчику голову. Это увидели солдаты, помещавшиеся в чуркинских казармах. Они выбежали из казарм и погнались за Новицким. Новицкий вбежал в офицерское собрание и заперся, солдаты стали ломиться. В собрании было еще несколько офицеров. Новицкий застрелился. Ворвавшиеся солдаты жестоко избили остальных офицеров. Били поленьями и каблуками, преимущественно по голове. Два офицера через несколько дней умерли в госпитале. Об этом тогда было рассказано в газетах.

Мы ждали поезда на вокзале. Стояла толчея. Офицеры приходили, уходили, пили у столиков. Меж столов ходили солдаты, продавали китайские и японские безделушки.

— Сколько веер стоит? — спросил сидевший за стаканом чая полковник.

— Два рубля, ваше высокородие!

— Дорого, — равнодушно сказал полковник и положил веер обратно.

— Дорого?.. Мало жалованья получаете? — возразил солдат, грозно оглядывая его.

Полковник встал и, как будто все равно собирался уйти, направился к выходу,

— До-орого! — вдогонку ему кричал солдат. — Копейку не хочешь дать заработать солдату! Мало деньжищ тут загреб!.. С-су-укин сын!..

В Харбине всем движением по железной дороге заведовал стачечный комитет. На глазах творилось что-то необычное и огромное. Среди царства тупо-высокомерной, неповоротливой и нетерпимой власти, брезгливо пренебрегавшей интересами подвластных, знавшей лишь одно требование: «не рассуждать», вдруг зародилась новая весело-молодая власть, сильная не принуждением, а всеобщим признанием, державшаяся глубоко-проникавшими корнями в вырастившей ее почве. Старая власть с враждебным негодованием косилась на эту нежданную, никакими параграфами не предусмотренную власть; пыталась игнорировать ее, пыталась разыгрывать из себя силу; но вскоре ходом вещей была вынуждена, ломая себя, с кислой улыбкой протянуть руку нечиновному соседу и вступить с ним в переговоры.

Более умные из представителей власти понимали, что единственным выходом из их отчаянного положения было вступить в сношения со стачечным комитетом, заведовавшим перевозкой войск. Вестей из России не было;

рвавшаяся домой армия волновалась все грозней; дисциплинарная связь, как насквозь проеденная ржавчиной цепь, разлеталась по всем звеньям. Первый пьяный праздник, первая вспышка, — и произошел бы еще никогда не виданный взрыв, пошла бы резня офицеров и генералов, части армии стали бы рвать и поедать друг друга, как набитые в тесную банку пауки. Владивосток уже дал первое предостережение. В Чите, в Красноярске войска перешли на сторону восставших.

Более тупые из представителей власти не хотели ничего знать. Они не видели занимавшегося вокруг пожара, не видели гор взрывчатого материала, ждавшего только искры. Эти легковоспламенимые горы они слепо принимали за гранитные скалы и надеялись, опираясь на них, все воротить к старому. Во главе этих представителей власти стоял командующий третьей армией генерал Батьянов, приехавший на театр войны уже после Мукдена. Он настаивал на том, чтоб ни в какие сношения со стачечным комитетом не вступать. Усиленно агитировал в войсках, повторял скверную сплетню о японских миллионах, осыпал клеветами забастовщиков. При первой наступившей возможности, как потом сообщалось в газетах, он послал в Петербург донос на Линевича.

Следом за Батьяновым шли другие. Начальник тыла, генерал Надаров, в своих речах к солдатам тоже старался выставить виновниками всех их бед революционеров и стачечные комитеты, говорил о понятности и законности желания залить кровью творящиеся безобразия. «Недалек, быть может, тот день, когда я всех вас позову за собою, — заявлял генерал. — И тогда никого не пощадим! Я пойду во главе вас и первый буду резать стариков, женщин и детей».

В ответ на эти речи стачечный комитет объявил, что не повезет в Россию генералов Батьянова и Надарова. Со смехом рассказывали, как Надаров, переодевшись в штатское

платье, поехал было инкогнито в Россию, но его узнали на одной из станций и вежливенько привезли назад в Харбин. Ему пришлось, как говорили, на лошадях ехать во Владивосток, чтобы оттуда переправиться в Россию морем.

В приказе главнокомандующего предписывалось, чтоб посадка в вагоны офицерских чинов, едущих в Россию одиночным порядком, производилась в строгой последовательности, по предварительной записи. Но в Харбине мы узнали, что приказ этот, как и столько других, совершенно не соблюдается. Попадает в поезд тот, кто умеет энергично работать локтями. Это было очень неприятно: лучше бы ж подождать день-другой своей очереди, но сесть в вагон наверняка и без боя.

В двенадцатом часу дня подали поезд. Офицеры, врачи, военные чиновники высыпали на платформу. Каждый старался стать впереди другого, чтоб раньше попасть в вагон. Каждый враждебно и внимательно косился на своих соседей.

Поезд подошел и остановился. Мы ринулись к вагонам. Но вагоны были заперты, у каждой двери стояло по жандарму.

— Отпирай двери!

— Когда первый звонок будет, тогда отопрут.

Все теснились к ступенькам вагонов. Каждый старался протиснуться краешком плеча, потом выпрямлял плечо и оказывался впереди.

— Послушайте! Вы же видите, тут стоят! Куда вы лезете?

— Да не толкайтесь, что за безобразие!

Пассажиры крепко цеплялись за ручки и перила, чтоб их не оттиснули. Поручик-сапер заглянул в промежуток между вагонами и увидел, что ведущая в вагон дверь

не заперта. Когда жандарм отвернулся, он быстро вскочил на буфер, перепрыгнул на другой и исчез в вагоне. Высокий военный врач старался поймать сапера за полы и в негодовании кричал:

— Эй, эй, поручик! Куда?!. Какое вы имеете пра...

Но вдруг и сам врач вскочил на буфер и тоже исчез в вагоне.

Из вагона назад вышел поручик.

— Господа! Оказывается, весь вагон уж полон!

— Как полон?!

Жандарм отлетел в сторону. Пассажиры, грубо и озлобленно работая локтями, стали вскакивать на буфера. Толкались, перепрыгивая через упавших. Было противно, но мелькнула мысль: «прозеваешь, — и завтра и послезавтра будет то же самое»! И я ринулся вслед за другими на буфера.

В узком коридорчике вагона теснились, сталкивались, ругались. Около меня немного приотворилась запертая дверь купе. Я быстро сунул ногу в отверстие и протиснулся в Купе. В нем были Шанцер и четыре незнакомых офицера.

— Виноват, тут все уже занято! — встретил меня офицер.

— Будьте покойны, все равно не уйду! — возразил я.

— То есть, как это не уйдете?.. Купе на четыре человека, а нас тут и так шесть!

— Где же шесть? Вас пять.

— Мы заняли место еще для одного товарища, он на платформе при вещах.

— Ну, это меня не касается! Его тут нет, я и сажусь.

Голоса повышались. И по всему вагону, во всех купе и в коридорчике кричали, препирались и ругались. В наше купе ломились новые пассажиры.

— Господа, давайте уж лучше кончим! — предложил я. — Уйти отсюда я, все равно, не уйду, а вы видите, ломятся

новые пассажиры. Давайте лучше заключим общий оборонительный союз, а там как-нибудь устроимся.

Все рассмеялись, и союз был заключен.

Кругом все еще ругались и кричали. Соседнее купе оказалось занятым каким-то негром в блестящем цилиндре, в дорогой меховой шубе, и изящною, накрашенной дамой с подведенными глазами. Эта парочка танцевала в харбинских кафе-шантанах кэк-уок и теперь ехала на гастроли на станцию Маньчжурия.

Штабс-капитан в потертых погонах кричал на жандарма:

— Я тебя спрашиваю, как тут очутилась эта эфиопская харя?! Мы их в толпе не видели, когда у вагонов стояли... С той стороны их впустил, на чаек получил?.. Мы здесь кровь проливали, нам нету места, а они кэк-уок танцевали, им нашлось отдельное купе?!

Наконец, поезд двинулся. Все рассаживались и устраивались на взятых с бою местах. Слава богу! Как-никак, а наконец поехали. Впереди — Россия.

Поезд мчался по пустынным равнинам, занесенным снегом. В поезде было три классных вагона; их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяны. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах первого и второго класса. На офицеров и не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то было странно и необычно.

И во всех эшелонах было то же. Темная, слепая, безначально-бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читой солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сели в вагон сами и ехали, пока не вышли все пары.

Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий, в фуражке с малиновыми

выпушками. Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя, осиянного всемирной славой железнодорожного союза, первым поднявшего на свои плечи великую октябрьскую забастовку. У него были ясные, молодые глаза. Он с недоумевающей улыбкой говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного движения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях.

— А скажите, как у вас, все слушаются стачечных комитетов?

Железнодорожник сдержанно улыбнулся.

— Да, у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета, — и все сразу бросят работу, от инженера до последнего стрелочника.

Он говорил еще, что раньше они требовали реформ; теперь же, когда поведением после 17 октября правительство показало свое вероломство, они уже требуют революции...

На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Маньчжурия. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал. Пришлось ночевать на станции.

Здесь было уже полное царство стачечного комитета. Все выглядело так ново, необычно и невиданно, будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами объявлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое объявление от «Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги». В объявлении сообщалось, что посадка в вагоны возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов будет производиться в строгом порядке записи; записываться там-то; никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет; в вагоны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные; остальные места первого класса, второго и так далее до теплушек заполняются по порядку записи.

В конце заявлялось, что кто не будет подчиняться распоряжениям стачечного комитета, того не повезут совсем.

Мы пошли записываться. В конце платформы, рядом с пустынным, бездеятельным теперь управлением военного коменданта, было небольшое здание, где дежурные агенты производили запись. На стене, среди железнодорожных расписаний и тарифов, на видном месте висела телеграмма из Иркутска; в ней сообщалось, что «войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа». Рядом висела социал-демократическая прокламация. Мы записались на завтра у дежурного агента, вежливо и толково дававшего объяснения на все наши вопросы.

В залах вокзала везде было оживление, лица смотрели светло и празднично. Железнодорожный машинист, окруженный кучкой солдат, читал им требования, предъявленные главнокомандующему читинским гарнизоном:

— Двенадцатое: свобода и неприкосновенность личности, — начальники не должны ругаться и бить солдат, все должны обращаться с солдатом вежливо и говорить ему вы; никто из начальников не должен рыться в сундуках солдата; письма должны с почты отдаваться солдату, не распечатывая... — Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие офицеры молча косились на них.

Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг; они собираются «экспроприировать» буфет и вести его впредь на артельных началах, без хозяина... Вошел радостно-взволнованный рабочий, с черными от железа руками, и крикнул на всю залу:

— Товарищи! Делегаты вести привезли: в России в шестнадцати губерниях войска перешли на сторону народа!

Передавались и другие вести: в Севастополе все броненосцы захвачены восставшими матросами, адмирал Чухнин с офицерами атакует их на миноносцах, крепостные форты разрушены артиллерийским огнем, убито десять тысяч человек...

Был кругом обыкновенный российский большой вокзал. Толкались обычные носильщики, кондуктора, ремонтные рабочие, телеграфисты. Но не видно было обычных тупо-деловых, усталых лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и воззвания, все лица были обвеяны вольным воздухом свободы и борьбы. И были перед нами не одиночные люди, не кучки «совращенных с пути», встречающих кругом темную вражду. Сама стихия шевелилась и вздымалась, полная великой творческой силы.

Что это, — юности лучшие сны?
Вижу — и верить глазам не решаюсь...

Там, в Маньчжурии, я про это читал, но все было далеким, трудновообразимым. Здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чем я читал, вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за два года нашего отсутствия, в России, действительно, родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать. Но, раз рожденная, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно.

Утром подали поезд. Пришли два железнодорожника со списком. Произошла посадка. Агент выкликал по списку фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное ему место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог остаться ждать следующего поезда, — по этой же записи он имел право попасть туда одним из первых.

Толстый, краснолицый капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил:

— Нет, ей-богу молодцы забастовщики!.. Ни толкотни, ни спешки, ни ругани. У каждого свое место... А то, как из

Харбина выезжали: первое, — чуть руку себе не сломал, второе, — спал в коридоре, как собака...

Приехали мы в Читу. Здесь революция царствовала. Читинский губернатор Холщевников был под арестом, городом управлял революционный комитет

На вокзале нам рассказали про курьезный случай, происшедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с тремя генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозил побить его, кричал, что он продался японцам и жидам. Генералы поужинали на вокзале, воротились в свой вагон, пьют чай. Показалось им странно, — что это поезд стоит так долго? Выглянули, — их вагон отцеплен, стоит один; вокруг часовые с винтовками. В вагон входят три офицера без погонов и двое штатских

— Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции, — объявил генералам штатский. — Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне сутки под арестом и поедете дальше. Если не извинитесь, — совсем не поедете.

Мялись, мялись генералы. Нечего делать, пошли, извинились. Отсидели свои сутки и поехали дальше.

До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре объяснилось: к нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на съезд в Иркутск железнодорожные делегаты.

— Ну, слава богу, теперь можно быть спокойным: с начальством едем! —острили офицеры и с иронической почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускается никто посторонний.

На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном разъезде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшийся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих.

Проехали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевом разъезде, когда наш поезд обгонял воинский эшелон, из солдатской теплушки с силой полетел в наш вагон большой камень; оба оконные стекла разлетелись вдребезги, одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мерзли.

В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться в вагоны так, как в Маньчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине. Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в Иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо представить список тому «начальству», какое окажется в Иркутске, — стачечному комитету или коменданту. Все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой, мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб-офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса.

Мы были верст за сорок от Иркутска. В вагон вошел взволнованный кондуктор и сообщил, что на станции Иркутск идет бой, что несколько тысяч черкесов осаждают вокзал.

— Какие такие черкесы? Откуда?

Около Иркутского вокзала расположен поселок, населенный кавказцами, — черкесами, армянами и грузинами. Несколько дней подряд в этом поселке шел погром. Ехавшие с нами два иркутских обывателя рассказывали, что кавказцы поселка—профессиональные грабители; кто вечером зайдет в поселок, исчезает бесследно; полиция боится кавказцев, и все грабежи остаются нераскрытыми. Недавно нашли в поселке труп зарезанного солдата. Солдаты с эшелонов и рабочие бросились громить поселок и избивать черкесов. При разгроме лавок будто бы нашли

массу солдатских шинелей, винтовок и еще теплый труп унтер-офицера. Черкесы созвали из окрестностей своих земляков и напали на вокзал, чтобы отомстить.

В этих рассказах о еще теплых трупах и бесцельных убийствах солдат звучало что-то странное и знакомое, чувствовались за кулисами чьи-то предательские, кровавые руки. Пассажир, несколько дней назад проезжавший через Иркутск, видел самый погром. Он вышел на крыльцо вокзала. Поселок горел, из лавок расхищались товары; на его глазах солдат-погромщик размозжил железной полосой голову бежавшему черкесу. А около вокзала стояла, выстроившись, рота солдат под командой офицера и спокойно смотрела.

Пассажир спросил офицера, отчего он не остановит погрома.

— Мне не приказано вмешиваться. Велено только охранять вокзал.

Поезд мчался. Впереди на черном небе чудился отсвет далекого зарева, сквозь грохот вагонов как будто слышались выстрелы. Все осматривали и заряжали свои револьверы.

Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале все было тихо и спокойно.

Посадкой в вагоны здесь заведовало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы, в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький, худенький офицер с серебряными штабс-капитанскими погонами, с маленькой головкой и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. С безмерным, величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев.

— Виноват! Тут функционирует не стачечный комитет! Никаких списков я принять не могу, каждый должен записываться у меня лично... И затем, — что это за список? Волков, Айзенберг, Филиппов... Кто такой Волков? Что это за Айзенберг?.. Должны писаться чин и звание... Предпочтение при посадке будет отдаваться штаб-офицерам...

— Когда же мы поедем?

— А это как выйдет по записи. Уж на два дня вперед запись заполнена.

Все толпой хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка, выход был один, тот, кто записался, протискивался к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18-го декабря. Первых человек пять комендант записал на 20-е, человек по десять на 21-е и 22-е. На 23-е никого не записал. Я с товарищами попал на 24-е, — почти через неделю!

— Позвольте, что же это за запись такая? По пять, по десять человек на день!..

Комендант, не удостаивая нас ответом, говорил, пуская слова через нос:

— Будьте добры быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать в вагоны... Впрочем, господа, вы, может быть, попадете и раньше записи: многие из записавшихся уехали другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду, может быть, попадете... Тем более, что трудно поручиться, удастся ли уж кому-нибудь вообще-то уехать отсюда дня через три-четыре. Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь собирается тысяч десять. Если сожгут вокзал и перервут сообщение, то запасные с эшелонов все кругом разнесут, нас перебьют, и что вообще будет, трудно сказать...

Мы вышли от коменданта злые и раздраженные. Куда направиться? Поселок у вокзала сожжен, в город попасть

нельзя, потому что по Ангаре идет шуга, и перевоза нет; да и опасно ехать ночью из-за черкесов.

В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т. и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое, — мы решили не ждать и ехать дальше хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего пять солдат, познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь, мы сейчас же залегли спать.

Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба, мы подлетали на своих ложах, как только что обезглавленные цыплята. Наконец, заснули.

Утром проснулись, — бодрые, выспавшиеся. Поезд стоит.

— Однако, что значит привычка! — удивленно заметил Шанцер. — Сначала, как мы только что поехали, я думал, ни за что не засну. А выспался великолепно, даже не слышал тряски.

— И я тоже, — отозвался капитан Т.

Вдруг дверь теплушки с шумом отодвинулась, кто-то крикнул:

— Есть тут кто? Вылезай! Дальше вагоны не пойдут!

— А где мы?

— На станции Иннокентьевской.

На Иннокентьевской... Это всего за семь верст от Иркутска!.. То-то мы так хорошо проспали ночь: поезд все время стоял на месте!

Вылезли мы, пошли отыскивать местного коменданта. В комендантском управлении теснилась большая толпа штаб-и обер-офицеров. Все требовали мест.

— Устройте нас хоть в теплушку в каком-нибудь проходящем эшелоне!

Помощник коменданта бегал, суетился, ежеминутно звонил в телефон, повел всех на одну платформу, на другую. Человек десять он поместил в вагон четвертого класса к персоналу проходящего эшелона, на пятнадцать человек дал теплушку, мы шестеро и еще трое остались за штатом.

— Подождите, господа, полчаса, тогда определится, пойдет ли сегодня № 11, я вам дам в нем теплушку.

Наконец, в только что пришедшем эшелоне нашлась теплушка, из которой солдаты сходили на этой станции. Начальник эшелона обещал нам очистить ее через час. Теплушка была очень грязная и холодная, но нечего делать, спасибо и на том.

Мы пошли на станцию закусить. За длинным столом обедали полный, важный полковник с окладистой бородой и высокий, рыхлый капитан с лицом доброго малого. Гречихин и Шанцер пошли еще поискать чего-нибудь получше данной нам теплушки. Они воротились оживленные и радостные.

— Господа, вот стоит эшелон! Прекрасный пульмановский вагон второго класса, и в нем всего три офицера, а остальные купе заняты солдатами. Начальник эшелона, нам сказали, обедает здесь в зале.

Сидевшие за столом полковник и капитан уткнули носы в тарелки. Мы подошли к полковнику и попросили его приютить нас в его вагоне.

— Да, да! Пожалуйста! Пожалуйста! С удовольствием! — поспешно ответил он.

— Вас шесть человек? — спросил его помощник, рыхлый капитан. — Ведь с вас довольно будет одного купе? Я вам его очищу, солдат переведу в теплушку, а вы им за это дайте по трешнице. Они будут очень рады.

— Конечно! С величайшим удовольствием!

Шесть солдат перешли в теплушку, мы им за это заплатили восемнадцать рублей и разместились в великолепном, просторном купе.

— А те-то все, несчастные! В теплушках едут! — смеялись мы.

Было очень приятно, что мы поладили с солдатами полюбовно, но вот оно, это тщательное отделение даже обер-офицеров от штаб-офицеров!.. Полковники трясутся в грязных, холодных теплушках, а мимо в прекрасных купе проносятся нижние чины!

Впоследствии, в Челябинске, нас нагнало несколько офицеров и врачей, которые в Иркутске сели в поезд по записи коменданта. Они рассказывали, как происходила посадка. Подали поезд, штатские пассажиры устремились в вагоны. Военные стояли и, посмеиваясь, смотрели, как устраивались в вагонах штатские. Преимущество отдавалось военным, — придет сейчас комендант, очистит вагоны и по списку поместит военных, а оставшиеся места предоставит частным пассажирам. Первый звонок. Коменданта нет. Второй звонок. Его все нет. Офицеры бросились в управление.

— Где же комендант?

Коменданта не было. С предыдущим поездом приехала какая-то хорошенькая дама, комендант познакомился с ней и вместе с дамой укатил в город... И пришлось офицерам ехать, сидя на своих чемоданах, спать на полу в проходах.

— Забастовка идет! Гляди, ребята!

— Вот они, красные флаги!

— И где? Это фуражка начальника станции!

— У-у, дура! Фура-ажка!.. Вон трепыхается!..

Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа.

Но мы поднимем гордо и смело Знамя борьбы за рабочее дело...

Порожний паровоз, свистя, промчался мимо и на миг закрыл все.

Толпа окружила поезд, только что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно-бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе.

— Врешь, подлец! — кричали ему.

— Убийца! Каин!

— Кровопийца!.. Насосался христианской крови?

Наш поезд двинулся, угрожающе свистя на кипевшую, взмахивавшую руками толпу.

Проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку. Мы набросились на него с расспросами, — что это было, в чем дело?

— Это ротмистр приехал с пассажирским поездом из Нижнеудинска. Там по его приказу была стрельба. Двадцать рабочих пострелял. Вот мы и хотели посмотреть, что это за человек, который в людей стреляет. И у нас есть ротмистр и в Чите, а нигде в народ не стреляли.

— Что же они, бить его пришли?

— Не бить, а сделать ему позор.

Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные лица, как будто совсем люди были из другой породы, чем два года назад?

Эшелон, с которым мы теперь ехали, вез из Владивостока запасных сибиряков. На каждой большой станции с поезда сходило по нескольку десятков человек. В купе полковника, начальника эшелона, все время толпились солдаты, которым он производил денежный расчет.

По всем вагонам шло беспросветное пьянство. На распоряжения своих офицеров солдаты не обращали никакого внимания. Полковник, такой важный и внушительный на вид, на деле был вялой тряпкой. Бросалось в глаза, как сильно он трусил перед своими подчиненными. Много солдат уже сошло на станциях, в теплушках было просторно, а поезд был огромный, паровоз с трудом тащил вереницу вагонов. Полковник распорядился перевести солдат из задних теплушек в передние, чтоб можно было отцепить несколько вагонов. Пришел фельдфебель и доложил:

— Ваше высокоблагородие! Солдаты не хотят переходить!

Полковник делал вид, что занят своими бумагами. Он на минуту оторвался от них и нетерпеливо ответил:

— Что такое?.. Хорошо, подожди! Потом!

«Потом» ничего не последовало. Солдаты так и остались в своих теплушках.

При солдатах, наполнявших коридор вагона, полковник громко говорил нам:

— Что с ними поделаешь? Сейчас все разнесут! Ведь это такой народ...

И все-таки он продолжал играть с солдатами роль важного начальника, даже не допускавшего мысли о неповиновении. Всего, что делалось кругом, он словно не замечал и думал, что и все убеждены, будто он вправду не замечает.

Его помощник, рыхлый, рыжебородый капитан с лицом доброго малого, держался другой тактики: он изо всех сил лебезил перед солдатами, фамильярничал с ними, угощал папиросами.

Наш спутник, капитан Т., смотрел на все это и покусывал редкие усы. Это был боевой офицер, с большим рубцом на шее от японской пули. Ни в каких взглядах мы с ним не сходились, но все-таки он мне ужасно нравился; чувствовался цельный человек, с настоящим мужеством в груди, с

достоинством, которое ни перед чем не сломится. Во всем, что он говорил, чуялась искренность и, главное, искание.

На станциях все были новые, необычные картины. Везде был праздник очнувшегося раба, почувствовавшего себя полноценным человеком. На станции Зима мы сошли пообедать. В зале I–II класса сидели за столом ремонтные рабочие с грубыми, мозолистыми руками. Они обедали, пили водку. Все стулья были заняты. Рабочие украдкой следили смеющимися глазами, как мы оглядывали зал, ища свободных стульев.

Я и рыхлый капитан спросили себе в буфете рябчиков. Сесть было негде, мы стояли у стола и ели. Вдруг я услышал, — кто-то нам что-то говорит. За столом, наискось от нас, стоял старик с крючковатым носом, с седой, курчавой бородой. Он смотрел на нас и, простирая руку, говорил:

— Господа! Объясните мне, пожалуйста, почему рябчики летают у нас только для господ офицеров и буржуазии?.. Почему мы, трудовые люди, не можем есть рябчиков? Я работал сорок лет, трудился потом и кровью, а вот, посмотрите, — кроме мозолей на руках ничего не нажил. Разве вы трудились в жизни больше, нежели я? А вот вы едите рябчиков, а я не имею возможности... Почему это так случилось, господа офицеры? Может быть, вы мне объясните!..

Другие рабочие выжидающе поглядывали на нас и чуть заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустив глаза, и доедали своих рябчиков.

Старик подошел к стоявшему у окна прапорщику.

— Скажите, пожалуйста, почему вот вы, напр., стали офицером? У ваших родителей были средства, и они вам дали образование...

Молодой прапорщик слушал, сконфуженно улыбаясь, и старался выразить на лице, что ему весело и интересно наблюдать старика.

— А если бы у меня родители были богатые, я бы, может, был бы теперь генералом, — продолжал старик, — Может, был бы много умнее вас. Вы бы передо мной во фронт стояли... Почему так, позвольте узнать?.. Сколько с меня полагается драть шкур?

— Одну, — уверенно ответил прапорщик, чуть-чуть улыбаясь.

— Одну? — Старик подумал. — Верно, одну!.. А почему с меня одну шкуру дерет казна, другую инженеры, третью купец? Можно все это терпеть или нет?

Старик весь до краев был полон тем неожиданно-новым и светлым, что раскрылось перед ним в последние месяцы. Как будто живой водой вспрыснуло его ссохшуюся, старческую душу, она горела молодым, восторженным пламенем, и этот пламень безудержно рвался наружу.

— Не желаете ли сесть с нами?

Старик острыми глазами смотрел на прапорщика и указывал ему на столик у окна.

— Отчего же? С удовольствием.

За столиком сидели три рабочих и унтер-офицер из нашего эшелона.

— Садитесь, пожалуйста! — вежливо пригласил старик и испытующе ждал, сядет ли офицер за один стол с солдатом.

Прапорщик сел.

— Вот! Это так! Хорошо! — детски-радостно воскликнул старик. — Вас можно уважать! Он вот — солдат, вы — офицер. На службе он вам обязан дисциплиной, а тут вы оба люди, больше ничего. И никакого от этого вреда нету! Вон у японцев солдаты вместе с офицерами сидят, вместе курят, — а ка-ак они вас лупили!..

Мы возвращались в вагон с рыхлым капитаном. Он негодовал и возмущался.

— Черт знает, — какое холуйство! Сидят, развалились, пьянствуют в первом классе, а пассажирам негде сесть. Раз они рабочие, передовые люди, то должны бы понимать, что мы здесь не офицеры, не буржуазия, а просто проезжие... Извольте видеть, — вот какая у нас революция!

На платформе стояла древняя, трясущаяся старуха. Падал снег. Старуха опиралась на палку, укоризненно смотрела на нас и шамкала:

— С чем назад-то едете?.. Стыда нету!.. А как мы вас провожа-али!..

Что делается в России, никто не знал. Газеты содержали только местные сведения. Встречные пассажиры, ехавшие из России, рассказывали, что вся Москва покрыта баррикадами, что на улицах идет непрерывная артиллерийская стрельба.

В солдатских вагонах нашего эшелона продолжалось все то же беспробудное пьянство. Солдаты держались грозно и вызывающе, жутко было выходить из вагона. У всех было нервное, прислушивающееся настроение. Темной ночью выйдешь на остановке погулять вдоль поезда, — вдруг с шумом откатится дверь теплушки, выглянет пьяный солдат:

— Эй, ты, горнист!.. Чего ясные погоны на плечи нацепил?.. Иди сюда, дай, я тебе в шею накладу... У-у, с-су-кин сын!.. Фью-у-у!..

На станциях солдаты прямо шли в зал первого-второго класса, рассаживались за столами, пили у буфета водку. Продажа водки нижним: чинам, сколько я знаю, была запрещена, но буфетчики с торопливой готовностью отпускали солдатам водки, сколько они ни требовали. Иначе дело кончалось плохо: солдаты громили буфет и все кругом разносили вдребезги. Мы проехали целый ряд станций, где уж ничего нельзя было достать: буфеты разгромлены, вся мебель в зале переломана, в разбитые окна несет сибирским морозом.

Офицеры украдкой шмыгали мимо сидевших за столами солдат, торопливо выпивали у стойки рюмку водки и исчезали. На моих глазах пьяный ефрейтор, развалившись за столом, ругал русскими ругательствами стоявшего в пяти шагах коменданта станции. Комендант смотрел в сторону и притворялся, что не слышит.

— Что, брат, рыло воротишь? Эй, ты, ваше благородие!.. Тебе говорю!

И он дергал офицера за рукав.

Рассказывались страшные вещи. Где-то под Красноярском солдат толкнул офицера в плечо, офицер в ответ ударил его в ухо. Солдаты бросились на офицера, он пустился бежать в тайгу, солдаты с винтовками за ним. Через полчаса солдаты воротились с окровавленными штыками. Офицер не воротился.

По великому сибирскому пути, на протяжении тысяч верст, медленно двигался огромный, мутно-пьяный, безначально-бунтовской поток. Поток этот, полный слепой и дикой жажды разрушения, двигался в берегах какого-то совсем другого мира. В этом другом мире тоже была великая жажда разрушения, но над ней царила светлая мысль, она питалась широкими, творческими целями. Был ясно сознанный враг, был героический душевный подъем.

Обе эти стихии были глубоко чужды друг другу, понимания между ними не было. Солдаты жили одной безмерной своей злобою, и для злобы этой все были равны. Били офицеров, — били железнодорожников; разносили казенные здания, — разносили и толпы демонстрантов, приветствовавших войска дружественными кликами.

Один солдат с благодушной улыбкой рассказывал мне, как под Иркутском они проломили голову помощнику начальника станции.

— За что?

— Да так. Не знаю... Все били.

Здесь, на возвращавшихся войсках, можно было видеть, что такое подлинная анархия. Была война против всех и друг против друга. Солдаты рвались домой, и на станциях происходили жестокие побоища из-за паровозов и из-за права ехать вперед первым. На одной станции мы нагнали эшелон; у него был один паровоз, и он двигался медленно. У нас было два паровоза. Солдаты с того эшелона стали отцеплять у нас один паровоз для себя. Увидели это наши солдаты и бросились на защиту. Наших было больше, они отбили свой паровоз, и мы с криками «ура!» покатили вперед.

На одной большой станции в купе к начальнику нашего эшелона вошел жандарм.

— Ваше высокоблагородие! Солдаты вашего эшелона избили железнодорожного агента!

Полковник сердито и взволнованно закричал в ответ:

— Они и всю станцию вашу разнесут!.. И вашу станцию разнесут и всех перебьют, если вы нас тут будете держать!.. Сейчас же отправляйте нас дальше, сейчас же!..

И наш поезд, действительно, не в очередь был пущен вперед при негодующих криках и ругательствах других эшелонов.

И солдаты пили, пили. Вываливались на ходу из поезда и замерзали в тайге; вскакивали в двигавшиеся вагоны, срывались, и колеса резали их надвое.

Однажды под вечер к полковнику явился старший по вагону № 4 и доложил, что один солдат у них сильно напился пьян, бунтует, выбросил из вагона железную печку.

Полковник накричал на старшего:

— Вас там двадцать человек трезвых, — как же вы не смогли ему помешать, чего вы его не связали? Что ж, сам я, старик, пойду его вязать?.. Поделом, езжайте теперь в холодном вагоне!

На следующей остановке в наш вагон ворвался окровавленный, пьяный солдат, — босой, голый по пояс, плачущий.

— Ваше благородие! Меня там избили, сейчас убьют.

Капитан сплавил его в соседнее купе, занятое солдатами.

— Иди сюда, проспись! Завтра я разберу!

Солдаты в купе очень мало обрадовались нежданному гостю. Они стояли в коридоре и говорили громко, чтоб слышали полковник и капитан:

— Это что же? Нам, значит, тоже ждать, чтоб он и нас всех, как печку, из вагона повыбросил?

— Самого бы его выбросить вон. Пусть замерзает, пьяная собака!

В купе два солдата поучающим голосом говорили пьяному:

— Ты погляди на себя, что ты есть такое? Тебя дома жена ждет, дети, а ты пьянствуешь.

— Дай, господи, тебе всегда так пьянствовать, как я пьянствую! — возражал пьяный. — Дай руку!.. Дай тебе, господи, всегда так пьянствовать!.. Ну, дай же, тебе говорят, — давай руку сюда!

— Ну, вот тебе рука.

— Вот!.. Дай, я говорю, тебе, господи, так пьянствовать, как я пьянствую!.. Сукин ты сын, проклятый человек! А я не так, чтоб желал бы утопить тебя, уязвить тебя, чтоб ты пропал вечно!..

— Не кричи!

— Имею право кричать! Я имею право кричать! Я супротив японца сражался, я пять раз ранен!

— Ладно, молчи! Авось, и мы не за японца сражались.

Пьяный долго бушевал в купе.

— Ничего я не боюсь, ни огня, ни пламя! — кричал он зловеще-воющим голосом, и была в этом голосе угроза и

какая-то дикая, шедшая из темных глубин скорбь. — Я ничего не боюсь, погоди, что еще будет!.. Что во Владивостоке было, — по всей Сибири пойдет, по всей Рассее пойдет!.. Всю Рассею полымем пустим!

Утром, когда солдат проспался, его перевели назад в теплушку. Но он тотчас же напился снова. А после обеда старший по вагону пришел доложить, что этот самый солдат на полном ходу поезда открыл дверь теплушки и голый выскочил наружу. Было 32° мороза; если и не разбился, то все равно замерзнет.

Глаза старшего, когда он докладывал, были странные, и он избегал взглядов. И у всех мелькнула одна мысль: солдат не сам выскочил, а его выбросили спутники, наскучив его буйством...

Жизнь человеческая стала не дороже гнилой картошки.

Верст за десять до Красноярска мы увидели на станции несколько воинских поездов необычного вида. Пьяных не было, везде расхаживали часовые с винтовками; на вагонах-платформах высовывали свои тонкие дула снаряженные пулеметы и как будто молчаливо выжидали. На станции собирался шедший из Маньчжурии Красноярский полк; поджидали остальных эшелонов, чтобы тогда всем полком пешим порядком двинуться на мятежный Красноярск.

Приехали мы в Красноярск. Местный гарнизон вместе с народом демонстрировал на улицах с красными флагами; по городу, в сопровождении двух казаков, разъезжал новый революционный губернатор, прапорщик Козьмин; шли выборы в городскую думу на основе четырехчленной формулы. На вокзале, разграбленном запасными матросами, продавались номера социал-демократической газеты «Красноярский Рабочий», печатанные в губернской типографии. Еще держалось светлое опьянение свободы,

но черные тяжелые тучи уже заволакивали горизонт. Все знали о стягивающихся под городом правительственных войсках.

Здесь же мы впервые подробно узнали о подавленном московском восстании, о разрушенных снарядами кварталах и о сковавшем Москву военном положении.

Бастовавший телеграф опять начал действовать. Со станции Обь мы послали домой телеграммы с извещением, что едем.

Настал сочельник. По-прежнему в эшелоне шло пьянство. На станции солдаты избивали начальников станций и машинистов, сами переговаривались по телефону об очистке пути, требовали жезла и, если не получали, заставляли машиниста ехать без жезла. Мы жестоко мерзли в нашем пульмановском вагоне. Накануне ночью, когда на дворе было 38° морозу, мальчик-истопник заснул, трубы водяного отопления замерзли и полопались. Другого вагона мы нигде не могли получить.

Рыхлый капитан, помощник начальника эшелона, был задумчив и вздыхал.

— Изобьют завтра солдаты нашего полковника! Мне сегодня говорили нижние чины. Действительно, тоже и их положение! Полковнику выданы деньги на удовлетворение солдат только за проезд по железной дороге, остальное они должны получить у местного воинского начальника. А от станции до воинского начальника двести верст! Они и говорят: «что же, пешком нам идти двести верст по этакому морозу? Снегом, что ли, питаться?..» Ведь правильно все!.. Я им объясняю, что полковник в этом не виноват, — откуда же он возьмет денег, если ему не выдали? «Мы это понимаем, а все-таки его изобьем... Что же это за порядки!..» Ну, что с ними поделаешь? — Рыхлый капитан задумался. — Меня-то они не тронут. Меня они любят...

Наш спутник, капитан Т., быстро поднял голову и пристально взглянул в глаза рыхлому капитану.

— То есть позвольте! — резко и значительно произнес он. — Вы ведь, я думаю, знаете обязанности офицера? Если полковника тронут хоть пальцем, мы с вами, как офицеры, обязаны заступиться за товарища!

— Ну, да, да! Конечно! Как же иначе? — поспешно согласился рыхлый капитан и успокоительно прибавил — Бить они его не будут, только поругают.

Но в разговоре он неожиданно все задумывался и замолкал. Нечаянно он выдал свою тайную думу:

— Напрасно я вчера дал жене телеграмму, что приеду. Может быть, еще убьют завтра...

Рано утром, только что стало светать, рыхлый капитан собрал свои вещи, и денщик понес их вон из вагона.

— Куда это вы?

— Невозможно, господа, у вас тут спать, такой морозище! Перехожу к солдатам в теплушку!

Но было ясно, — храбрый капитан уходит от неприятной истории и спасает свою шкуру...

К счастью, истории никакой не вышло. Солдаты не тронули полковника. Вскоре нам дали новый вагон, и капитан перешел к нам обратно.

Поезд наш был громадный, в тридцать восемь вагонов. Он шел теперь почти пустой, в каждой теплушке ехало не больше пяти-шести солдат. Хотели было отцепить вагонов пятнадцать, чтоб облегчить поезд, но опять никто из солдат не соглашался уходить из своей теплушки. Уговаривали, убеждали, — напрасно. И почти пустые вагоны продолжали бежать тысячи верст. А там, позади, они были нужны для тех же товарищей-солдат.

От Каинска мы всю ночь бешено мчались почти без остановок. К утру были уже в Омске. Наш капитан гордо потирал руки.

— Меня, господа, благодарите! Это я такого хорошего машиниста достал. Смотрите, как гонит.

Утром мы узнали, что капитан наш здесь совсем ни при чем. Вчера вечером на паровоз взобрались три сильно пьяных солдата и заявили машинисту, чтобы он гнал вовсю, иначе они его сбросят с паровоза. Проехав три пролета, солдаты озябли и ушли к себе в теплушку. Но, уходя, сказали машинисту, что если он будет ехать медленнее, чем сейчас, то они опять явятся и проломят ему поленом голову.

И во всех эшелонах делалось так же. Один машинист, под угрозой смерти от пьяных солдат, был принужден выехать со станции без жезла, на верное столкновение со встречным поездом, должен был гнать поезд во всю мочь. И столкновение произошло. Ряд теплушек разбился вдребезги, десятки солдат были перебиты и перекалечены.

Вообще, то и дело происходили крушения от самых разнообразных причин.

В самом конце декабря мы, наконец, приехали в Челябинск. Тут только в первый раз почувствовалось, что желанная, далекая Россия, до которой, казалось, никогда не доберешься, — уж близко, сейчас здесь, за Уральским хребтом!

Дальше мы поехали с почтовым поездом. Но двигался поезд не быстрее товарного, совсем не по расписанию. Впереди нас шел воинский эшелон, и солдаты зорко следили за тем, чтоб мы не ушли вперед их. На каждой станции поднимался шум, споры. Станционное начальство доказывало солдатам, что почтовый поезд нисколько их не задержит. Солдаты ничего не хотели слушать.

— Пускай все ровно идут. Чтоб по справедливости!

Они клали шпалы перед нашим поездом, отцепляли паровоз, взбирались к машинисту и грозили бросить его в

топку, если он двинет поезд. Офицеры эшелона посмеивались и тайно поощряли своих солдат. Препирательства тянулись полчаса, час. В конце концов их поезд, при победном «ура!» солдат, двигался вперед первым. На следующей остановке повторялось то же самое.

От военного начальника дороги пришла грозная телеграмма с требованием, чтоб почтовый поезд шел точно по расписанию. Но телеграмма, конечно, ничего не изменила. До самой Самары мы ехали следом за воинским эшелоном, и только у Самары эшелон обманным образом отвезли на боковую ветку, арестовали офицеров эшелона и очистили путь почтовому поезду.

Мы переехали Волгу и ехали уже по самой настоящей, подлинной России.

На одной станции сходил с поезда денщик капитана Т. Капитан Т. вышел на платформу и, прощаясь, горячо расцеловался с денщиком. Толпившимся на платформе солдатам это очень понравилось.

— Ваше благородие! Позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!

— Лучше под колеса его! — послышалось из толпы.

Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда. Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы.

Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны.

1906–1907

Оглавление

Вересаев Викентий Викентьевич

На японской войне

Записки

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *О. Зотова*

Подписано в печать 13.01.2022
Формат 60x90/16. Усл. печ. *л.* 21, 75
Тираж 500. Заказ № 22-01-13

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru